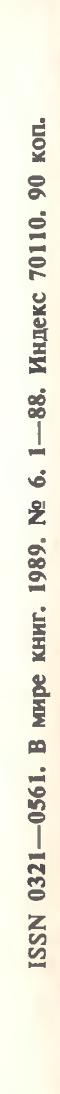


Ян Кулих. Скульптурная композиция «Кирилл и Мефодий». 1963 год (см. стр. 80).


ISSN 0321—0561. В мире книг. 1989. № 6. 1—88. Индекс 70110. 90 коп.

ISSN 0321—0561

СЛОВО

В МИРЕ КНИГ 6 89



Этот номер
мы посвящаем
190-летию со дня
рождения великого
поэта
**Александра Сергеевича
Пушкина.**



Произведения
А. С. Пушкина
издавались в нашей стране свыше
3200 раз!
Общий тираж — более
400 миллионов
экземпляров.
Его книги переведены
на 71 язык народов
СССР и на 35 языков
народов зарубежных
стран.

На обложке:
Именно так, по свидетельству современников, выглядел А. С. Пушкин вскоре после женитьбы. Редко воспроизводимый акварельный портрет поэта выполнен неизвестным художником 13 июня 1831 года.
Он находится в экспозиции Музея-дачи в г. Пушкине.

ПОЭТИЧЕСКИЙ ВЕНОК



Анна АХМАТОВА

МУЗА

Когда я ночью жду ее прихода,
Жизнь, кажется, висит на волоске.
Что́ почести, что́ юность, что́ свобода
Пред милой гостьей с дудочкой в руке.
И вот вошла. Откинув покрывало,
Внимательно взглянула на меня.
Ей говорю: «Ты ль Данту диктовала
Страницы Ада?» Отвечает: «Я».

1924

МУЖЕСТВО

Мы знаем, что́ ныне лежит на весах
И что́ совершается ныне.
Час мужества пробил на наших часах.
И мужество нас не покинет.
Не страшно под пулями мертвыми лечь,
Не горько остаться без крова, —
И мы сохраним тебя, русская речь,
Великое русское слово.
Свободным и чистым тебя пронесем,
И внукам дадим, и от плена спасем
Навеки!

Февраль 1942

ПУШКИН

Кто знает, что такое слава!
Какой ценой купил он право,
Возможность или благодать
Над всем так мудро и лукаво
Шутить, таинственно молчать
И ногу ножкой называть?..

1943

Сто лет назад, 23 июня, родилась Анна Андреевна Ахматова. Ее юбилей занесен в Календарь знаменательных дат ЮНЕСКО. Анна Андреевна трепетно, нежно и благоговейно относилась к Пушкину. Ее поэтическим венком мы открываем юбилейный номер.

РОДНАЯ ЗЕМЛЯ

И в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас.
1922

В заветных ладанках не носим на груди,
О ней стихи навзрыд не сочиняем,
Наш горький сон она не бередит,
Не кажется обетованным раем.
Не делаем ее в душе своей
Предметом купли и продажи,
Хворая, бедствуя, немотствуя на ней,
О ней не вспоминая даже.
Да, для нас это грязь на калошах,
Да, для нас это хруст на зубах.
И мы мелем, и месим, и крошим
Тот ни в чем не замешанный прах.
Но ложимся в нее и становимся ею,
Оттого и зовем так свободно — своею.

Ленинград 1961

НАСЛЕДНИЦА

От царскосельских лип...
Пушкин

Казалось мне, что песня спета
Средь этих опустелых зал.
О, кто бы мне тогда сказал,
Что я наследую все это:
Фелицу, лебедя, мосты
И все китайские затеи,
Дворца сквозные галереи
И липы дивной красоты.
И даже собственную тень,
Всю искаженную от страха,
И покаянную рубаху,
И замогильную сирень.

1958

СЛОВО № 6 июнь 1989
В мире книг
Литературно-художественный
ежемесячник Госкомиздатов СССР и РСФСР
Издается с сентября 1936 года

Андрей ЧЕРКАШИН

ПРЕДКИ И ПОТОМКИ

В настоящей работе я попытался впервые выявить родословные связи на фоне российской истории не только с царствующими домами России, Визвнтии, Англии, Германии, но и с такими выдающимися лицами, как с Владимиром I «Красно Солнышко», Александром Невским, Юрием Долгоруким, Дмитрием Пожарским, Кутузовым, свойстве с Суворовым и др. В родственном отношении с А. С. Пушкиным определились семь святых, а самый выдающийся святой — митрополит Алексий в свойстве с великим поэтом. На схеме представлены родственные связи поэта с Гоголем, Веневитиновым, Толстым, Мятлевым, Бутурлиным, братьями Жемчужниковыми и другими деятелями отечественной литературы.

Я отдаю себе отчет в том, что работв моя, может быть, не вполне совершенна и требует многих уточнений, особенно древней части Руси. Именно поэтому я представляю ее на всеобщее рассмотрение, так как надеюсь, что отклики историков, ученых-пушкинистов, краеведов и многих энтузиастов российской словесности дополнят, уточнят, продолжат схему генеалогического древа. Заранее приношу свою благодарность всем, кто выскажет свои критические замечания и поможет усовершенствовать сей труд.

Выношу на суд читателей журнала результат многолетней работы — часть схемы полного родословия «Прямые предки и потомки Александра Сергеевича Пушкина».

Род Пушкина — многоколенный, разветвленный, уходит своими корнями в седую древность и продолжается сегодня в многочисленных потомках — нвших современниках.

Выдающийся пушкинист-исследователь Б. Л. Модзалевский за год до своей кончины с горечью говорил, что современники Александра Сергеевича Пушкина мало оставили воспоминаний о нем, а самое главное, не успели создать полное генеалогическое древо его рода, которое дало бы новый материал для освещения и понимания духовного облика величайшего в истории русской культуры поэта и человека.

Мне кажется, что сейчас, когда в нашей стране восстанавливается история России и возрождается одна из древнейших исторических дисциплин — генеалогия, полное родословие Пушкина могло бы занять в ней основополагающее место своего рода «базовой системы координат», от которой можно было бы вести родоописание всех остальных исторических фамилий.



Андрей Андреевич ЧЕРКАШИН не является профессиональным исследователем и по обрвзованию — военный (не историк!), тем не менее он создал уникальный труд, не во всем, может быть, бесспорный, однвко дающий возможность двигаться дальше, дальше, дальше... Черкашинской генеалогией рода Пушкиных заинтересовались издатели ФРГ и Японии, ряда других стран. Рвбота его произвела большое впечатление на посетителей пушкинской юбилейной выставки, состоявшейся в год 150-летия со дня смерти великого поэта.
Предлагаем читателям часть карты полного родословия «Прямые предки и потомки Александра Сергеевича Пушкина» (см. стр. 4—19).
Учитывая ее громвдное уменьшение при перепечатке (оригинал равен семи с лишним метрам), советуем при чтении пользоваться лупой.
Родословную следует разрезать
и склеить по прилагаемой схеме.
При перепечатке карты ссылка на журнал обязательна.



ФОТО В. ВОЛКОВА

1-й ряд (слева направо) (сидят): Сергей Евгеньевич Клименко — праправнук А. С. Пушкина, Марита Джорджина Филлипс — праправнучка поэта, Саша Галин — прапраправнук поэта, Александрина Филлипс, герцогиня — прапраправнучка поэта, Миша Галин — прапраправнук, Фиона Марсидес Филлипс — прапраправнучка А. С. Пушкина.
2-й ряд (слева направо): Андрей Григорьевич Свавидзе — прапрапраправнук А. С. Пушкина, Вера Владимировна Воронцова, мать Андрея Свавидзе — прапраправнучка поэта, Григорий Григорьевич Пушкин — правнук поэта, Георгий Александрович Галин — праправнук поэта, Ольга Александровна Копогривова — прапраправнучка поэта, Галицкий, князь — в дальнем родстве с потомками поэта.

МНЕНИЕ УЧЕНЫХ

«Родословная схема предков и потомков А. С. Пушкина, составленная А. А. Черкашиным, — итог огромного и самоотверженного труда. Она уникальна по обилию прослеженных родственных линий и основана на хорошем знании литературы вопроса...»

С. А. ФОМИЧЕВ,
ученый секретарь Пушкинской комиссии АН СССР, доктор филологических наук

«...Этот труд А. А. Черкашина — творческий подвиг всей его жизни, освещенный гением великого поэта. Проведенное исследование имеет большое научное значение для изучения жизни и творчества поэта. Оно раскрывает как для специалистов, так и для всех тех, кто любит русскую литературу, в сжатом и наглядном обозрении историю отечественной культуры.

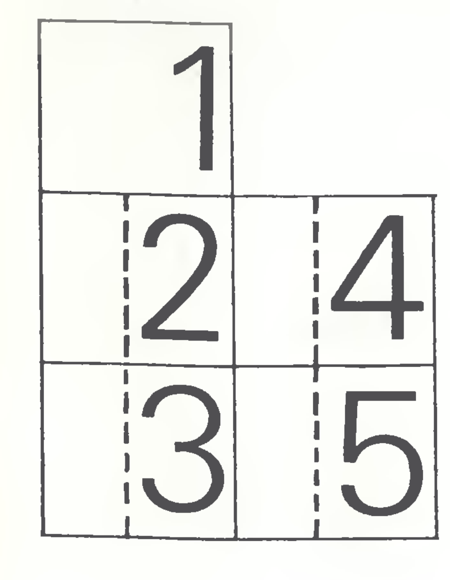
Глубоко убежден, что родословная схема предков и потомков А. С. Пушкина должна быть опубликована в печати».

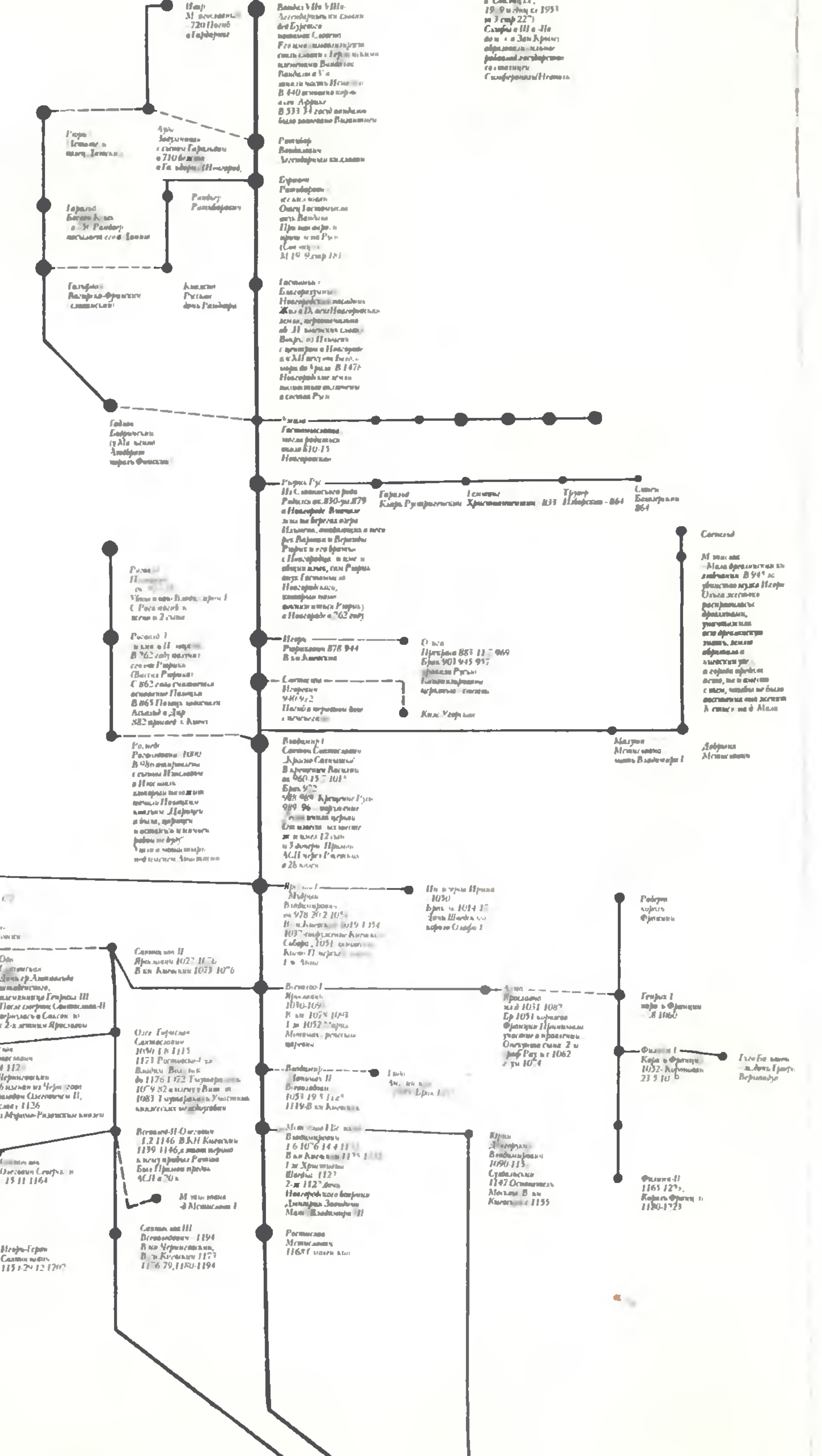
В. П. ВОМПЕРСКИЙ,
заместитель директора Института русского языка АН СССР, доктор филологических наук, профессор, заместитель председателя Советского комитета славистов

«Интерес, который представит эта работа для исследователей жизни и творчества А. С. Пушкина, а также для самых широких кругов читателей — бесспорен... Генеалогическая таблица явится помимо того ценной сама по себе, углубляя и конкретизируя наши сведения об истории Руси. Поэтому Институт русской литературы АН СССР всемерно поддерживает идею о необходимости такого издания...»

Н. Н. СКАТОВ,
директор Института русской литературы (Пушкинский дом) Академии наук СССР, доктор филологических наук

ПРЯМЫЕ ПРЕДКИ И ПОТОМКИ А. С. ПУШКИНА





РУССКАЯ МЫСЛЬ И ПОЭТ



И по сей день остаются справедливыми слова Достоевского о «великой тайне» Пушкина, которую «мы теперь без него... разгадываем». Но уже давно и хорошо мы поняли, что Пушкин, как сказалось у Аполлона Григорьева, — «наше все»!

Но сами, сами-то — что на сегодня знаем о Пушкине! Много! Мало!

На такого рода вопросы предстоит ответить уникальной сорокатомной «Пушкинской библиотеке», выпуск которой предпринимает издательство «Книга».

В шестнадцати томах ее основного ядра в хронологическом порядке можно будет прочитать все вышедшее из-под пера поэта, а также познакомиться с материалами, показывающими его в жизненном и творческом движении.

В состав «Библиотеки» войдут и «издания-спутники» главной серии. Это и свод первоисточников по жизни Пушкина, и собрание исследовательских работ, помогающих углубленному чтению и духовному освоению его произведений.

Особый интерес вызывает сборник «Пушкин в русской философской критике». Он включил работы около двадцати авторов, и хронологически он охватывает последнюю четверть XIX — первую половину XX веков. Впервые в нашей стране в читательский оборот войдут эссе о Пушкине представителей русского философского зарубежья. Это — С. Булгаков («Жребий Пушкина»), П. Струве («Дух и слово Пушкина», «Растущий и живой», «Заветы Пушкина»), Г. Федотов («Певец империи и свободы», «О гуманизме Пушкина»), Н. Ильин («Пророческое призвание Пушкина»), С. Франк (книга «Этюды о Пушкине»).

Мы предлагаем вниманию читателей статью известного русского философа и литературного критика Льва Шестова (1866—1938) «А. С. Пушкин», написанную в 1899 году и оставшуюся тогда в рукописи. Опубликована она впервые в 1960 году в Нью-Йорке, в альманахе «Воздушные пути».

Лев ШЕСТОВ

НАШ ИСЦЕЛИТЕЛЬ*

Через месяц без малого, сегодня, исполняется ровно сто лет со дня рождения Александра Сергеевича Пушкина — и, к сожалению — исполнилось 62 года со дня его смерти. Он прожил всего одну треть человеческого века; он едва достиг возраста предельной человеческой зрелости и в 37 лет — был вырван из жизни не знающей пощады рукой смерти. И как он умер! Не болезнь, не случай положил конец его дням: его убил такой же, как и он, смертный человек, в раздражении оскорбленного самолюбия, забывший, может, еще проще того, даже никогда и не знавший, на какую драгоценную жизнь посягает он. Века сохранили нам имя Герострата, уничтожившего храм Дианы Эфесской. На земле человеческие руки не создали еще храма, который мог бы сравниться по красоте своей с великой душой Пушкина. И, если бы у несчастного Дантеса было честолюбие греческого безумца — он мог бы быть вполне удовлетворен. До тех пор, пока будет существовать русский народ, до тех пор, пока сохранится в истории память о нем — новые поколения, узнавая о своем великом поэте, будут вспоминать и об его убийце. И немудрено! Если за свою короткую жизнь Пушкин успел столько сделать для своего народа, то какими сокровищами поэзии и красоты подарил бы он, если бы не был подкошен в расцвете своих сил бессмысленной пулей пустого человека. Заметьте удивительное — но вместе с тем любопытное совпадение. У нас Пушкин умер в 37 лет. В Англии другой великий мировой гений с 38 лет начинает создавать лучшие свои трагедии, те трагедии, которые окружили его имя чудным ореолом и дали ему право на имя Гомера новой истории. Я говорю о Шекспире: его «Гамлет» появился около 1602 года, когда поэт перешел за возраст 37 лет. А вслед за этими двумя пьесами — стали следовать одна за другой величайшие создания искусства — Макбет, Отелло, Король Лир, Кориолан, Антоний и Клеопатра и т. д. Если бы Шекспир умер в возрасте Пушкина, мы не знали бы ни «Гамлета», ни «Лира» — и вместе с ними во всемирной литературе погиб бы еще целый ряд вдохновенных дивных произведений, внушенных их авторам бессмертным гением великого английского поэта. А Пушкин умер в 37 лет! Какого «Гамлета», какого «Макбета» унес он с собой в могилу и что было бы с русской литературой, если бы Пушкин прожил столько же, сколько Шекспир? Я уже не говорю о таких долговечных гениях, как Гете или Виктор Гюго, успевших «вполне отдышаться» здешней жизнью и ушедших из этого мира после того, как ими было все исполнено, что они могли только сделать. Да, 62 года прошло с тех пор, как Пушкин умер, пора бы, кажется, примириться с печальным фактом его безвременной гибели, но каждый раз, когда приходится вспоминать об ужасном событии, нет возможности подавить рвущийся из груди невольный вздох. Мы не можем простить судьбе и ее орудию, Дантесу, их жестокости. Кто возместит нам эту страшную утрату? Но — не нужно быть слишком неблагодарными судьбе. Пушкина у нас нет, Пушкина у нас отняли, вместе с ним ушли навсегда в могилу бесценнейшие перлы художественного творчества. Но — Пушкин у нас был, и от него осталось великое наследие, которое уже никакими силами не может быть вырвано у нас. Это наследие — вся русская литература. Когда-то, не так давно еще, при слове «литература» наша мысль невольно обращалась к Западу. Там, думали мы, есть все, чем может похвалиться творческая человеческая душа. Там, там Данте, Шекспир, Гете. Теперь не то: теперь люди западной культуры с удивлением и недоумением идут к нам, своим вечным ученикам, и с жадной радостью прислушиваются к новым словам, раздающимся в русской литературе. Давно ли еще

* Заголовок дан редакцией.

Всеволод III Юрьевич „Большое гнездо" 1154 1212 В.кн.Владимирский с 1176

Ярослав II Всеволодович 1191 1246 Отравлен в Орде В.кн.Владимирский

Ярослав III Ярославич Тверской 1223 1272

Ксения Юрьевна Одоевская 2 ж. с 1264

Андрей II Ярославич

Анна Дмитриевна Ростовская 1327

Михаил II Ярославич Тверской Святой 1272 1318 Убит слугами Юрия III Московского в Орде

Дмитрий Михайлович Тверской „Грозные очи" 1299 1326 В.кн.Владимирский с 1323. Убил своего троюродного брата Юрия Московского

Александр Михайлович Тверской 1301-1339 В.кн.Владимирский

Всеволод Александрович Холмский 1365 Родоначальник Холмских

Юрий Всеволодович Холмский 1408 Умер в Орде

Дмитрий Юрьевич Холмский

Даниил Дмитриевич Холмский

Анна Даниловна Холмская

Ратша

Якун Ратшич 1206, боярин Новгородский

Алексей Якунович (Гориславич) 1231-65, боярин Новгородский 1191 основал Хутынский монастырь

Гавриил Алексич 1241

Прямой предок АСП в 17 колене

Иван Гаврилович Морхиня До 1339-воевода у Ивана Калиты

Александр Иванович Морхинин 1340 воевода у Ивана Калиты и с 1340 у Семена Гордого

Григорий Пушка Александрович ум 1380 Родоначальник Пушкиных

Константин Григорьевич Пушкин

Гавриил Константинович Пушкин

Иван Гаврилович Пушкин

Михаил Иванович Пушкин

Семен Михайлович Пушкин ум.1573 опричник

Тимофей Семенович Пушкин 1618 воевода в Ивангороде

Петр Тимофеевич Пушкин Чернец 1633

Никита Сумбулов

Григорий Никитович Сумбулов

Евдокия Григорьевна Сумбулова, брак 1619

Василий

Дмитрий Васильевич, боярин

Мария Дмитриевна

Федор Константинович Добрынский I, боярин Василия II

Степан Васильевич Ховра, выехал в Москву с сыном Григорием из Крыма в 1391

Григорий Степанович Ховра от него пошли Головины Третьяковы, Грязные

Владимир Григорьевич Ховрин 1481, казначей Василия I В 1453 построил в Кремле каменную церковь Воздвижения Христова

Иван Владимирович Головин 1509, казначей Василия II

Василиса Ивановна Всеволожская

Василий Данилович Холмский-1508 Боярин

Семен Юрьевич Одоевский, родоначальник

Иван Семенович Сухорук Одоевский

Василий Семенович Ш. кн Одоевский, боярин 1534

Роман Иванович Одоевский 1536

Мария Васильевна Одоевская

Петр Иванович Головин 1525, казначей все его потомки нос фам Головины

Владимир Глебович кн Рязанский

Игорь Глебович 1195 Первый из кн Рязанских с 1178

Глеб Владимирович кн Рязанский 1217

Ингвар Игоревич 1235 кн Рязанский с 1217

Феодосия Игоревна - 1246 Ж. Ярослава-II с 1218 Мать Александра Невского

Всеволод Святославич Чермный- 1215 кн Черниговский

Михаил Всеволодович Святой 1180-95 - 20.09 1246. В.кн Киевский. Убит татарами в Орде

Юрий Михайлович Одоевский кн Тарусский

Ксения Юрьевна Одоевская 1313

Давыд Ростиславич 1140-1197

Мстислав Давыдович 1193 1230 кн.Смоленский

Ростислав Мстиславич Смоленский кн.Киевский 1233-39

Глеб Ростиславич 1277 кн.Смоленский

Святослав Глебович 1310 кн.Смоленский

Глеб Святославич 1340 кн.Смоленский

Александр Глебович Всеволож 1260, кн Смоленский

Дмитрий Александрович-1392

Александра Брячиславна Витебская - 1264 Брак 1239

Александр Ярославич Невский 1220-1263 Святой

Андрей III Александрович Городецкий 1254 1304 В.кн Ростовский

Михаил Андреевич Суздальский

Василий Михайлович Суздальский 1309

Константин Васильевич Суздальский 1355

Дмитрий III Константинович Старший Суздальский 1323 1383

Даниил Александрович 1261 1303 Первый кн.Московский

Юрий III Даниилович Московский 1280 1325, в.кн Владим.с 1317 1323

Иван I Калита Даниилович кн Московский 1297 1340 В.кн с 1328

Иван II Иванович Красный 1326 1359

Андрей Иванович 1327 1353

Александра Васильевна Вельяминова 1364 Брак 1345

Дмитрий IV Иванович Донской 1350 1389

Василий I Дмитриевич 1371-1425 В.кн 1389 Ж. Софья Витовтовна Литовская

Юрий Дмитриевич 1374 1434 В.кн 1433 1434

Евдокия Дмитриевна Суздальская Брак 1366

Мария Дмитриевна Суздальская

Иван Дмитриевич Всеволожский 1434 Первый боярин Василия II Ослеплен и умер

Василий II Васильевич 1415 1462 В.кн с 1425 Ослеплен в 1446 Ж. Мария Ярославна Серпуховская. Брак 1433

Василий Юрьевич Косой 1421/1436 В.кн Владимирский ослеплен в 1436

Владимир Андреевич Храбрый 1353 1410 кн Серпуховский

Ярослав Владимирович Серпуховской Ж. Мария Федоровна Голтяева. Брак 1407

Андреевна, брак 1433

Елена Ивановна Всеволожская

Иван Иванович Всеволожский

Ивановна Всеволожская невеста Василия II

Василиса Ивановна Всеволожская

Иван III Васильевич Великий 1440-1505

Мария Борисовна Тверская 1450-1467

Стефан IV Великий, молдавский господарь 1457-1504

Софья Фоминична Палеолог- 103 Вторая жена 1472

Иван Иванович Молодой 1458 1490. В.кн Тверской

Елена Стефановна Молдавская 1505 Бр. 1475 Умерла в заточении

Василий III Иванович 1479-1533

Дмитрий Иванович 1476-1509 В 1498 коронован

Елена Васильевна Глинская 1509-1538 Великая княгиня с 1533

Иван IV Васильевич Грозный Царь 1530-1584 Коронован 1547

Анастасия Романовна 1569, царица

Федор Иванович 1557 1598 Конец династии Рюриковичей

Илья Евстафьевич Глебов

Евстафий Федорович Глебов

Глеб Михайлович Сорокоумов

Илья Глебович Сорокоумов

Михаил Юрьевич Сорокоумов примерно основатель Рода в 8-10 кол

Юрий

Жорж Санд и Виктор Гюго были неограниченными властителями и повелителями в международном государстве всемирной литературы? Прислушайтесь теперь: у кого учатся? У графа Толстого, каждое новое произведение которого передается чуть ли не по телеграфу в близкие и отдаленные страны, у Достоевского, которому твк тщательно, хотя и безуспешно подражают и французские, и немецкие, и английские, и итальянские романисты. А гр. Толстой и Достоевский — это духовные дети Пушкина; их произведения — принадлежат им наполовину; другая половина — принята ими, как готовое наследство, созданное и сохраненное их великим отцом. Достоевский в своей знаменитой речи, к сожалению, неправильно понятой многими и потому приведшей к ожесточенной и неприятной полемике, сам почти говорит это. Гр. Толстой, правда, отрекается от Пушкина и даже выразил в своей книге «Что такое искусство» удивление по поводу того, что Пушкину в 80-х годах воздвигли в Москве памятник. Но от этого дело нисколько не изменяет своего характера. Что бы ни говорил Толстой — все мы знаем, что им в настоящий момент руководит не беспристрастная справедливость историка-судьи, а посторонние соображения, потребности минуты. Сейчас он занят проповедью: все, что может содействовать целям этой проповеди, он хвалит; все, что вредит им — он порицает. Он отрекся от Пушкина, но он не отрекся от «Войны и мира» и «Анны Карениной». Он в обоих случаях был равно прав. Но мы, которые в великих толстовских романах видим наиболее полное выражение творческой русской мысли, мы знаем, от кого эта мысль получила начало, мы знаем тот единый, бездонный и глубочайший источник, из которого на веки вечные будут брать начало все течения нашей литературы. Иностранцы, восхищающиеся теперь Толстым и Достоевским, — в сущности отдают дань Пушкину. Пушкин им недоступен, т. к. русского языка они не знают, а в переводе стихотворные произведения совершенно теряются. Но преемники Пушкина не сказали больше, чем их родоначальник. И именно тем велики они, что умели держаться раз указанного им пути.

В чем же состояло наследие, завещанное великим учителем многочисленным ученикам своим? Я говорю многочисленным, ибо граф Толстой и Достоевский были раньше названы мною лишь как наиболее крупные, талантливые и типические выразители пушкинского духа. За ними есть еще огромная масса писателей, с большими или меньшими дарованиями. Не только такой писатель, как Тургенев, или такие таланты, как Писемский и Гончаров — все почти, хоть сколько-нибудь выдающиеся в литературе писатели — носят на себе печать влияния Пушкина. Посмотрите для примера хотя бы на Гаршина и Надсона, которые отцвели не успевши расцвесть — и в них вы увидите верных учеников Пушкина. Не только художники, — все лучшие русские писатели имели на знамени своем одну вечную надпись ad majorem gloriam Пушкина. Так всеобъемлющ был гений нашего великого поэта.

Белинский сказал о Пушкине, что его поэзия учила людей гуманности. Это высокая похвала, в устах Белинского много значившая. Великий критик хотел этими словами сказать о поэте то, что Гамлет говорил о своем отце: «Человек он был во всем значении этого слова — другого равного ему не найти во всем мире». И, вслед за Пушкиным, по его примеру и ему в подражание, вся русская литература от начала настоящего столетия до наших дней сохраняла и сохраняет один девиз: учить людей человечности. Задача эта гораздо сложнее, гораздо глубже и труднее, чем может показаться с первого раза. Поэт — не проповедник. Он не может ограничиться подбором страстных и сильных слов, волнующих сердца слушателей. С него спрашивается больше. С него прежде всего требуют правдивости, от него ждут, чтобы он изображал жизнь такой, какой она бывает на самом деле. Но мы знаем, что на самом деле жизнь менее всего учит гуманности. Действительность беспощадна, жестока. Ее закон: падение и гибель слабого и возвышение сильного. Как же может поэт, оставаясь верным жизненной правде, сохранить высшие, лучшие порывы своей души? По-видимому, — выбора нет и не может быть, по-видимому, двум богам служить нельзя; нужно или описать действительность, или уйти в область несбыточных фантазий. В новой западноевропейской литературе этот вопрос так и не был разрешен. Великие писатели западных стран не могли разгадать этой страшной и мучительной загадки. Там вы видите перед собой либо великих идеалистов, какими были, например, Виктор Гюго или Жорж Санд, либо, преклонившихся перед действительностью реалистов, как Флобер, Гонкуры, Золя и многие другие. Там в Европе, лучшие, самые великие люди не умели отыскать в жизни тех элементов, которые бы примирили видимую неправду действительной жизни с невидимыми, но всем бесконечно дорогими идеалами, которые каждый, даже самый ничтожный человек вечно и неизменно хранит в своей душе. Мы с гордостью можем сказать, что этот вопрос поставила и разрешила русская литература и с удивлением, с благоговением можем теперь указать на Пушкина: он первый не ушел с дороги, увидев перед собой грозного сфинкса, пожравшего уже не одного великого борца за человечество. Сфинкс спросил его: как можно быть идеалистом, оставаясь вместе с тем и реалистом, как можно, глядя на жизнь — верить в правду и добро? Пушкин ответил ему: да, можно, и насмешливое и страшное чудовище ушло с дороги. Вся жизнь, все творчество великого поэта были тому примером и доказательством. Он расчистил путь для всех дальнейших писателей, и вслед за Пушкиным русские люди увидели Гоголя, Лермонтова, Тургенева, Гончарова, Островского, Писемского, Достоевского, Толстого, и к нам, еще так недавно робко учившимся у европейцев, пришли, как мы говорили, эти самые европейцы за словами утешения и надежды.

Может быть, кой-кому послышится преувеличение в этих словах. Может быть, найдутся люди, которым покажется, что и самый-то вопрос об реализме и идеализме не так был страшен, так что по поводу его слишком рискованно вспоминать сфинкса и, затем, что не Пушкин этот вопрос разрешил. В ответ на это мы предложим, с одной стороны, маленькую экскурсию в область пушкинского творчества, а с другой стороны, напомним о двух других великих поэтах земли русской: о Гоголе и Лермонтове. Оба они современники Пушкина, но не ими, не их творчеством определились будущий рост и блеск русской литературы. Спору нет — они оказали большое, огромное влияние на миросозерцание дальнейших поколений. Но, к счастью, не им дано было стоять во главе умственной нашей жизни. Все знают страшную судьбу Гоголя. Он был реалистом, он описал нам все ужасы действительной жизни с ее Хлестаковыми, Сквозник-Дмухановскими, Собакевичами, Маниловыми и т. д. — но сам не вынес ужасов реализма и пал жертвой своего творчества. Он не разрешил загадки сфинкса, и сфинкс — сожрал его. Теперь мы знаем, что его слова «сквозь видный миру смех и незримые.. ему слезы», не были аллегорией, метафорой — а были настоящей правдой. Мы видели, как он смеялся, и не верили, что он плакал: только тогда, когда появилась его переписка с друзьями, поняли мы, с какими мучительными вопросами имел дело наш великий писатель. То же и Лермонтов. Нам не суждено было видеть разложение его могучего таланта: услужливая пуля избавила его от гоголевской судьбы. Но мы знаем по мотивам его творчества, какие тяжелые пытки приходилось выносить ему. Ведь он в 25 лет сказал: «и жизнь, как посмотришь с холодным вниманьем вокруг, такая пустая и глупая шутка». А его стихотворение «Не верь себе, мечтатель молодой». Кто в силах победить в себе ужас и отвращение к жизни перед лицом таких образов, какие преследовали Лермонтова? И твкой человек нашелся. Это был Пушкин. И, как странно! Лермонтов задавался часто теми же задачами, какие ставил себе Пушкин, но каждый раз не он одолевал задачу, а задача побеждала его. Стоит только сравнить «Евгения Онегина» с «Героем нашего времени». Онегин и Печорин — родные братья, близнецы, если угодно, вскормленные грудью одной матери. А что же? Лермонтов спасовал, уничтожился перед своим Печориным, Пушкин восторжествовал над своим Онегиным. Вспомните оба романа. Куда ни является Печорин, он всюду, подобно ангелу смерти, вносит горе, несчастие, разрушение. Никто и ничто не в силах противостоять его могучей силе. Лермонтов словно говорит нам: вот все, что есть, что может быть в жизни. Вам не нравится Печорин: он зол, мстителен, беспощаден. А все-таки — он лучший, все-таки все остальное — ничтожность в сравнении с ним. Мужчины — мелки, трусливы, глупы, пошлы. Женщины? Да все они душу свою отдадут, стоит только Печорину кивнуть им. И дикарка Бэла, и милая княжна Мери, и несчастная Вера Лиговская — все они у его ног, все покорились ему. Сильнее, могущественнее Печорина — нет никого на свете. А, стало быть, — такова жизнь: в ней побеждает грубая, беспощадная сила. Таков смысл «Героя нашего времени». Здесь — апофеоз бездушного эгоизма; Лермонтов не может побороть Печорина, и, потому, желая оставаться правдивым, открыто признает его победителем и поет ему хвалебный гимн, которого каждый победитель может себе потребовать. И, как после этого не повторить, вслед за ним его стиха: «и жизнь...» Печорин убивает всякую веру, всякую надежду.

У Пушкина мы, с восторгом, с радостью видим прямо противоположное. И его Онегин сперва является перед нами победителем. Он везде первый, и в гостиных, и в деревне. Даже к Ленскому он относится со снисходительной пренебрежительностью, которая, в сущности, обиднее всякого презрения. Ну, а о женщинах и говорить нечего. Не только светские дамы, даже чуткая, глубокая деревенская Таня и та прельщается светским львом, носящим, под личиной разочарования, лишь пустоту и бессодержательность, и заменяющим модными словами все истинные порывы человеческого сердца. Ни за что и ни про что он убивает Ленского — и покидает деревню, чтобы искать себе новых мест для новых побед над опытными и неопытными женскими сердцами: ведь этими победами живет он. Следя за перипетиями романа, видя повсюду торжество Онегина, читатель с тревогой спрашивает себя: неужели этот победит? неужели во всей России, во всей русской жизни Пушкин не отыскал ничего и никого, что и кто мог бы остановить победоносное шествие бездушного героя? Неужели опять суждено, чтобы вся и все ему завидовали, и он бы высказывал лишь не очень заслуживающую веры зависть к параличу тульского заседателя?

Но тут является на сцену Татьяна. Достоевский справедливо заметил, что весь роман должен был бы называться не именем Онегина, а именем Татьяны, ибо она — главная героиня его. Это необыкновенно глубокое замечание, которое, мне кажется, может явиться profession de foi всех русских писателей — не только беллетристов, но и критиков, публицистов, даже экономистов. Весь смысл нашей литературы в этом: у нас герои — не Онегины, а Татьяны, у нас побеждает не грубая самоуверенная, эгоистическая сила, не бессердечная жестокость, а глубокая, хотя тихая и неслышная вера в свое достоинство и в достоинство каждого человека. Татьяна отвергла Онегина! Много у нас споров возбуждали заключительные строчки ее последней речи к Онегину:

Но я другому отдана,
Я буду век ему верна.

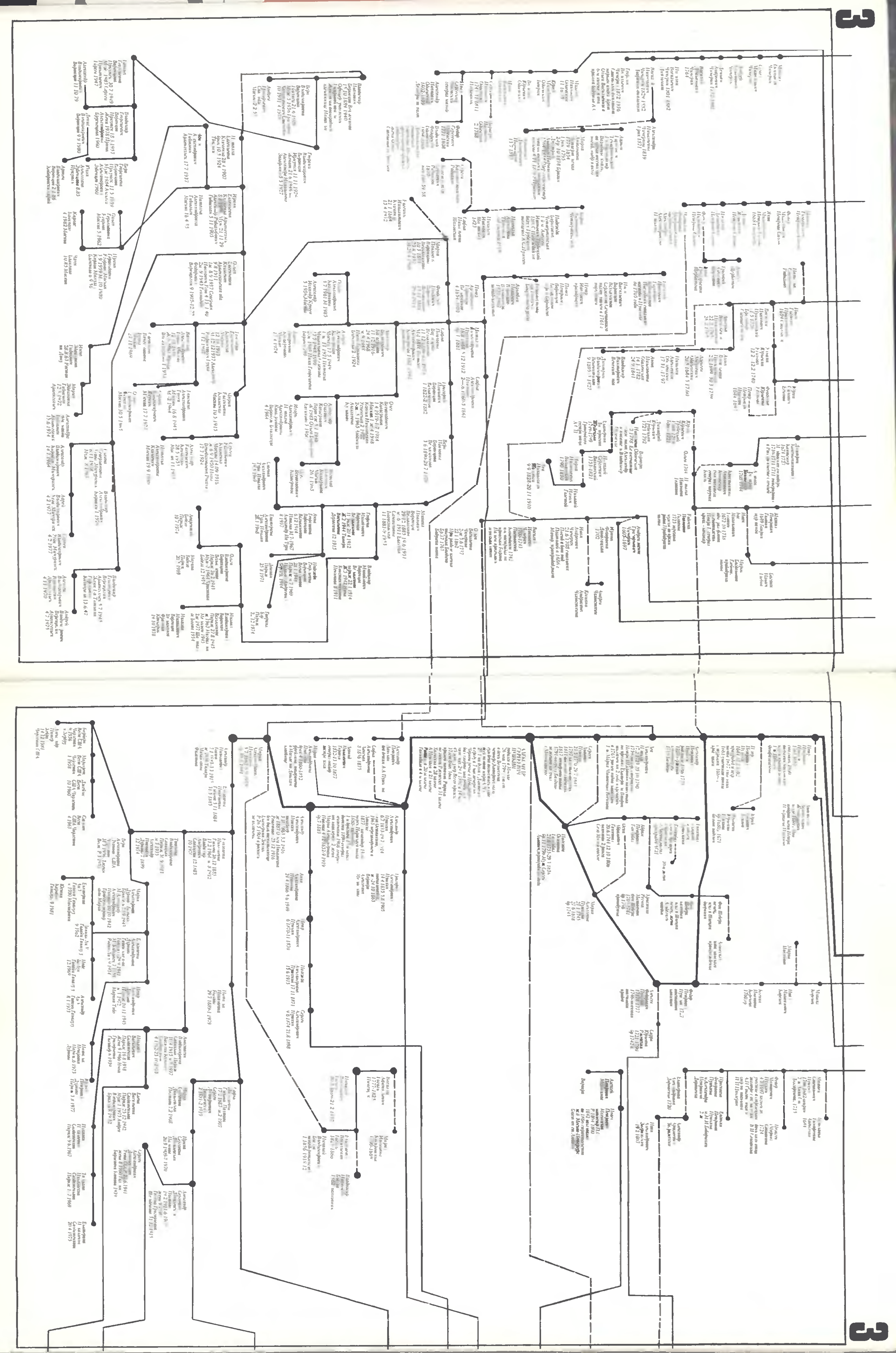
И эти споры делают честь критическому чутью русских писателей. Все поняли, что в этих двух коротеньких стихах смысл всего огромного романа, что ими освещаются не только все действующие лица его, но, что нам всего важнее — сам Пушкин. Татьяна, став старше, могла бы ошибиться, как ошиблась, когда впервые встретилась с Онегиным, не разгадать Онегина и откликнуться на его призыв. Но Пушкин не мог и не должен был ошибиться. Вся задача его сводилась к тому, чтобы отыскать в жизни, в действительной жизни такой элемент, перед которым бы распалась в прах дерзновенная, но пустая схема искателей духовных приключений Онегиных. Пушкину нужно показать нам, что идеалы существуют на самом деле, что правда не всегда в лохмотьях ходит, и что наряженная в парчу неправда на самом деле, а не только в мечтах, склоняет свою надменную голову перед высшим идеалом добра. Пушкин нашел в русской жизни Татьяну, и Онегин ушел от нее опозоренный и уничтоженный в своем бессмысленном отрицании. Он знает теперь, что ему нужно возвыситься, а не снизойти к Тане. В этом — его спасение и наша великая отрада.

Победа — нравственная, конечно — Татьяны над Онегиным — есть, как мы говорили, символически выраженная победа идеала над действительностью. И это то наследие, которое оставил Пушкин своим преемникам — всем русским писателям, и которое русская литература, в лучших ее представителях свято хранит до сих пор. И — главное — это победа не фиктивная — мы не устанем это повторять тысячи раз. Пушкин, введший идеализм в нашу литературу, основал в ней также и реализм. Ничего не было так ненавистно его правдивой и честной душе, как ложь. Эту победу он не выдумал — он только отметил то, что было на самом деле, что он своими глазами видел в русской жизни. Как велик и труден был этот подвиг — видно из тщетных попыток Гоголя создать «положительный тип». Сколько ни бился он, сколько ни искал — все его усилия, как известно, не увенчались успехом. Даже его могучий талант спасовал перед непосильной задачей. «Скучно жить на этом свете, господа», — воскликнул он, измученный напрасными поисками. Удивительно ли, что он с таким благоговением глядел на Пушкина. Помните вы его слова? «Пушкин есть явление великое, чрезвычайное». Он нашел положительный тип в жизни. И не думайте, что он достиг этой цели, отвернувшись от действительности, чтобы не видеть ее ужасов. Наоборот, все самые мрачные стороны жизни приковывали его внимание и он с долгим, неустанным терпением вглядывался в них, пока не находил для них нужного объяснения. Ведь Пушкин — автор «Моцарта и Сальери», «Пира во время чумы», «Бориса Годунова», «Капитанской дочки», «Русалки». Какие ужасы только не проходили перед его духовным взором. И тем не менее — он не смутился. Везде, во всем он умел отыскать внутренний, глубокий смысл, точно жизнь решилась выдать своему любимцу и избраннику все свои сокровенные тайны. Наиболее выразителен в этом отношении его «Пир во время чумы». Более ужасной картины не придумать самой мрачной фантазии. Человеческий ум, по-видимому, должен со страхом и трепетом отступить перед всесильным призраком всепобеждающей смерти. Кто дерзнет взглянуть прямо в лицо всесильной стихии, вырывающей у нас все, наиболее нам дорогое. Пушкин дерзнул, ибо знал, что ему откроется великая тайна. Припомните эти дивные стихи председателя:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.
Все, все, что гибелью грозит,
Для сердца смертного таит
Неизъяснимы наслажденья —
Бессмертья, может быть, залог!

Эти стихи звучат для нас, точно откровение свыше. Они призывают к мужеству, к борьбе, к надежде — и в тот миг, когда люди обыкновенно теряют всякую надежду и в бессильном отчаянии опускают руки, Пушкин вдохновляется тем, что парализует всех других людей. Он смел и тверд в те мгновения, в которые мы обыкновенно в смятении и страхе спешим укрыться от грозного вида жизни, если нет у нас ничего лучшего, просто закрываем глаза, подобно страусу, прячущему под крыло голову, когда он видит, что опасность неминуема. И в этом мужестве перед жизнью — назначение поэта; в этом — источник его вдохновения, в этом тайна его творчества, которое мы, обыкновенные люди, справедливо называем божественным — так далеко он от нас, так недоступен нам. Там, где мы рыдаем, рвем на себе волосы, отчаиваемся — там поэт сохраняет твердость и спокойствие, в вечной надежде, что стучащемуся откроется и ищущий — найдет.

Не менее, чем «Пир во время чумы», поражает нас небольшая драматическая сцена «Моцарт и Сальери». Это — настоящая шекспировская вещь — и по глубине замысла и по выполнению ее. Перед нами ужаснейший из преступников: человек, из зависти убивающий затмившего его своим творчеством гения. Сальери сам восторгается музыкой Моцарта, называет свою жертву слетевшим с неба ангелом, занесшим к нам несколько райских песен. И — тем не менее — безжалостно убивает своего великого соперника. По-видимому, это самый неблагодарный сюжет для художника. Здесь нужен проповедник, здесь нужен возмущенный и ужаснувшийся человек, в негодовании призывающий на голову убийцы из убийц, отнявшего у человечества его лучшую отраду — великого музыкального гения — все небесные и земные громы. Но Пушкин и здесь не отступил. С величавым, дивным спокойствием всезнающего человека подходит он к Сальери, глубоким, проникновенным взором вглядывается в его истерзанную душу — и выносит ему оправдательный приговор. И вслед за Пушкиным, мы все, не умеющие в обыденной жизни сдержать свое негодование при виде самого скромного, жалкого преступника, — мы все, умиленные и обезоруженные, начинаем чувствовать в своем сердце не злобу и раздражение к великому убийце, а сострадание и жалость. Мы не можем удержаться, чтобы не выписать хотя бы отрывок знаменитого монолога, которым начинается «Моцарт и Салье-



ри». Сальери один в глубоком размышлении говорит:

Все говорят: нет правды на земле,
Но правды нет — и выше...

Какое глубокое понимание человеческой души, какое нечеловеческое проникновение в страшную тайну нашей жизни открывает Пушкин в своем монологе. Сальери начинает страшной фразой. Он пришел к убеждению, что нет правды не только на земле, но и выше — и это приводит его к страшному преступлению. Укажите мне человека, гнев которого не обезоружили бы простые и ужасные слова несчастного Сальери? Где тот судья, который, выслушав вложенный Пушкиным в уста Сальери монолог, не смягчился бы душой и имел бы жестокость обвинить измученного убийцу? И в этом разрешение поставленного самим Сальери страшного вопроса. Есть правда на земле, если люди могут понять и простить того, кто отнимает у них Моцарта, если они могут слезами и умилением встретить великое преступление. И с начала до самого конца сцен «Моцарта и Сальери» мы все время чувствуем одно и то же: каждый раз воспламеняющееся в нас чувство негодования по поводу замысла убийцы уступает место великому состраданию к убийце — и казнящая рука бессильно опускается. Пусть пока в обыденной жизни нам нужны все ужасные способы, которыми охраняется общественная безопасность, пусть пока, до времени, сохраняются еще «бичи, темницы, топоры», посредством которых улаживаются обостряющиеся человеческие отношения, пусть на «практике» — как говорят — нельзя прощать «виновных», и принципом правосудия должно быть жестокое правило возмездия, — но наедине со своей совестью, наученные великим поэтом, мы знаем уже иное: мы знаем, что преступление является не от злой воли, а от бессилия человека разгадать тайну жизни. Сальери убил Моцарта, потому что не нашел правды ни на земле — ни выше.

Так понимал Пушкин преступника — так понимал он всех людей. Все, к кому он прикасался, — слабые, горюющие, разбитые, уничтоженные, виновные — уходили от него окрепшими, утешенными, оправданными. Если бы время позволило нам, то мы бы в каждом произведении Пушкина могли бы указать следы его мировоззрения. Всегда и во всем он остается верным себе. Всегда он ищет и находит в жизни элементы, на которых можно основать веру в лучшее будущее человечества. И, любопытно, для того, чтобы укрепить в себе эту веру — ему нет надобности уходить в глубь истории или всматриваться в те слои общества, с которыми он не связан непосредственными узами повседневных отношений. Иными словами, его вера не нуждается в иллюзии, для которой, в свою очередь, необходимым условием является перспектива. Ему не нужно ни уйти в сторону от действительности, ни отодвинуть эту действительность от себя. Он все время стоит в центре действительной жизни и не теряет дара понимать ее. Лермонтов, когда у него является потребность отдохнуть от мучительных картин повседневности, уходит в глубь истории, бросает свое общество и ищет материала для творчества в чуждой ему лично жизни низших классов. Там и он обретает — хотя бы на мгновение — веру и надежду. Дерзости опричника Кирибеевича с метлой и собачьей головой, жившего за много столетий до него, он умеет противопоставить стойкое и благородное мужество купца Калашникова. Помните эти вдохновенные слова:

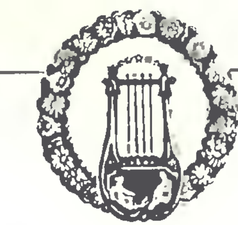
Не шутку шутить, не людей смешить,
К тебе вышел я теперь бусурманский сын,
Вышел я на страшный бой, на последний бой.

Для того, чтобы найти правду — Лермонтову необходима перспектива. В противовес современному Кирибеевичу, Печорину — который вместо собачьей головы и метлы носит красивый мундир и светлые перчатки — Лермонтов не нашел никого. Пушкин же, умевший с неподражаемым искусством рисовать нравы простых людей — достаточно указать хотя бы на «Капитанскую дочку», — нисколько не терялся и в сложности запутанной жизни интеллигентского класса. Его творчество не нуждалось в иллюзии. Он везде находил свое — и этому великому искусству научил своих преемников. Тургенев, Достоевский, Толстой — всем, что есть лучшего в их произведениях, повторяю это, обязаны Пушкину. То же пристальное, добросовестное, честное изучение действительности, тот же правдивый реализм. И это внимательное изучение действительности не только не убивает в них веры и твердости, но, наоборот, укрепляет убеждение в глубокой осмысленности человеческой жизни. Посмотрите на творчество Тургенева, сколько бесценных типов душевной красоты создал он. А все его женщины — это уже давно подмечено — имеют свой прототип в Татьяне Пушкина, и подобно ей являются нравственными судьями и светочами в жизни. Достоевский и Толстой в этом отношении представляют еще более примечательные примеры. В новой европейской литературе едва ли можно указать хоть еще одного писателя, который с таким исключительным, загадочным упорством искал разрешения мрачнейших загадок жизни, с каким искал Достоевский. Вместе с героями своими, Раскольниковыми, Карамазовыми и иными, он спускался в такие глубокие пропасти жизненных ужасов, из которых, по-видимому, нет и не может быть выхода, и тем не менее — такие психологические опыты не убивали его, как не убили его те мучительные испытания, которые ему пришлось испытать в течение своей многострадальной жизни. Читатель, вслед за ним входивший в области вечной тьмы, руководимый им же, всегда снова выбирается на свет, вынося с собой глубокую веру в жизнь и добро. Достоевский не боится никакого отрицания, он смело глядит в глаза самому крайнему скептицизму, в полном убеждении — что сведенный к очной ставке — пессимизм всегда уступит свое место вере в жизнь. То же и у Толстого. И его художественная задача никогда не определялась чисто эстетическими запросами души. Он брал перо в руки лишь тогда и затем, когда, после упорного и тревожного размышления, он мог осветить для себя и для других загадку жизни. Великая эпопея русской жизни — «Война и мир», справедливо сравниваемая с гомеровской Илиадой, — явилась результатом такого творчества. Каких только ужасов не начитался великий художник в летописях 12-го года. Это страшное движение народов с запада на восток, сопровождавшееся массовыми убийствами, истреблением народов, грабежами, массовыми насилиями — для обыкновенного человека такая картина нелепого и бессмысленного опустошения является страшным приговором жизни. Как можно искать добра в том мире, где может властвовать 15 лет подряд Наполеон? Казалось бы — что взять войну 12-го года как тему для романа — значит задаться целью убить в людях всякую веру, всякую надежду. Этот страшный момент нашей исторической жизни является как бы фактическим оправданием мрачной философии не только Печорина, но и Ивана Карамазова, воскликнувшего в порыве отчаяния, что ему нет дела «до чертова добра и зла». И тем не менее гр. Толстой выходит победителем из своей задачи. Я не знаю романа, в такой степени целительно и ободряюще действующего, как «Война и мир». Над всеми событиями, вы чувствуете это, в каждой строчке великого произведения веет глубокий и мощный дух жизни. Чем ужаснее, чем трагичнее складываются обстоятельства, тем смелее и тверже становится взор художника. Он не боится трагедии — и прямо глядит ей в глаза. Вы чувствуете великого ученика великого Пушкина, и вам слышатся уже приведенные слова гениального поэта:

Есть упоение в бою.

Опасности, бедствия, несчастия — не надламывают творчество русского писателя, а укрепляют его. Из каждого нового испытания выходит он с обновленной верой. Европейцы с удивлением и благоговением прислушиваются к новым, странным для них мотивам нашей поэзии. Не так давно, по поводу произведений гр. Толстого, знаменитый французский критик Жюль Леметр воскликнул: «В чем тайна искусства русского художника? Как могут они заставить нас верить в невероятное, как могут они дерзать искать веры в действительности, оправдывающей только неверие?» И странно — французский скептик должен сам признаться, что ему не под силу вырваться из власти русского художественного творчества. Это — великий признак. Победить французский ум — значит победить весь мир. И быть может, предсказанию Достоевского суждено сбыться. Он назвал Пушкина «всечеловеком». Может быть — мы верим в это — слову всечеловека суждено господствовать во всем мире. И это будет счастливейшая из побед. Не потому только, что этим удовлетворится национальная гордость русского народа. Нет — не потому, что при такой победе побежденный будет еще счастливее победителя, эта победа врача — над больным и его болезнью. И где тот больной, который не благословит своего исцелителя, нашего гениального поэта — Пушкина?





Игорь СЕВЕРЯНИН

МОЯ РОССИЯ

И вязнут спицы расписные
В расхлябанные колеи...
Ал. Блок

Моя безбожная Россия,
Священная моя страна!
Ее равнины снеговые,
Ее цыгане кочевые, —
Ах, им ли радость не дана?
Ее порывы огневые,
Ее мечты передовые,
Ее писатели живые,
Постигшие ее до дна!
Ее разбойники святые,
Ее полеты голубые
И наше солнце и луна!
И эти земли неземные,
И эти бунты удалые,
И вся их, вся их глубина!
И соловьи ее ночные,
И ночи пламно-ледяные,
И браги древние хмельные,
И кубки, полные вина!
И тройки бешено-степные,
И эти спицы расписные,
И эти сбруи золотые,
И крыльчатые пристяжные,
Их шей лебяжья крутизна!
И наши бабы избяные,
И сарафаны их цветные,
И голоса девиц грудные,
Такие русские, родные,
И молодые, как весна,
И разливные, как волна,
И песни, песни разрывные,
Какими наша грудь полна,
И вся она, и вся она —
Моя ползучая Россия,
Крылатая моя страна!

ТИШЬ ДВОЯКАЯ

Высокая стоит луна.
Высокие стоят морозы.
Далекие скрипят обозы.
И кажется, что нам слышна
Архангельская тишина.

Она слышна, — она видна:
В ней всхлипы клюквенной трясины,
В ней хрусты снежной парусины,
В ней тихих крыльев белизна —
Архангельская тишина...

РОЗЫ ХРИСТА

Твоей души я не отрину,
Она нагорна и морска,
рождественскому мандарину
благоуханием близка.

Ты вся — покой, ты вся — стремнина
иной весны, чиста, свята,
Ты — озарительная льдина
с живыми розами Христа.

ВЕСНА В КИШИНЕВЕ

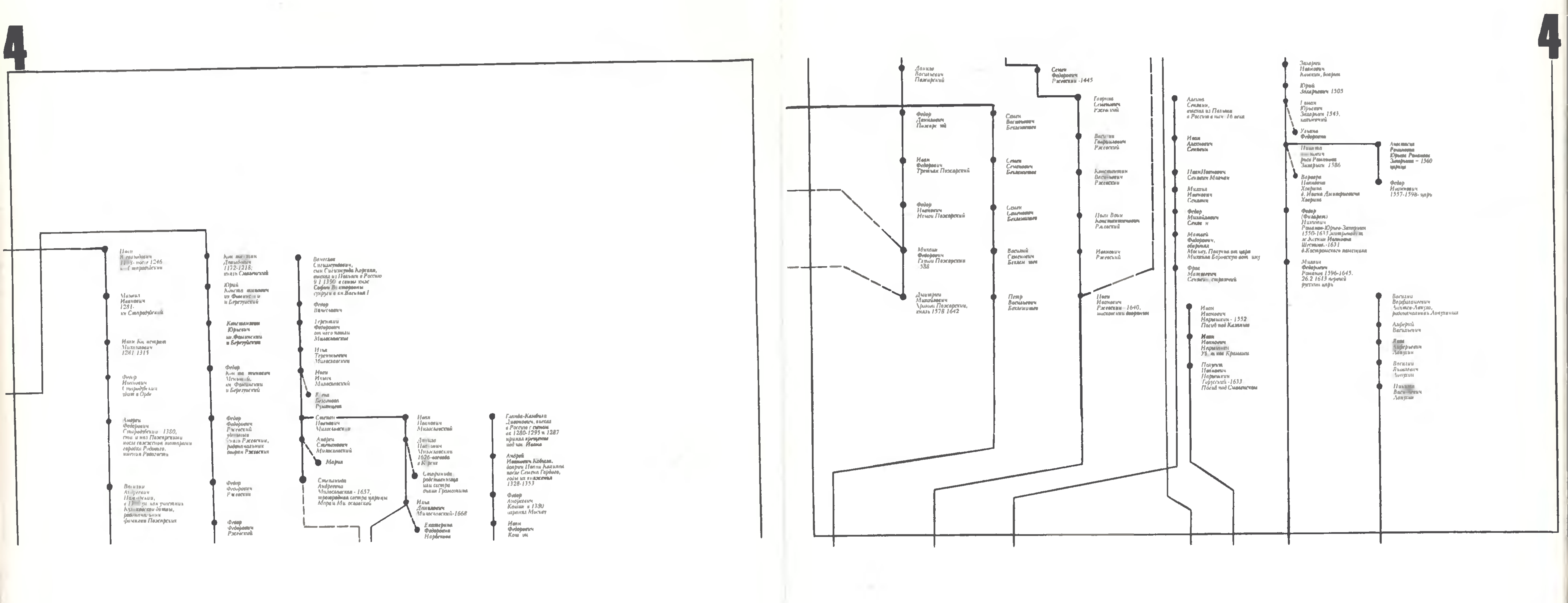
Воображаю, как вишнёво
и персиково здесь весной
под пряным солнцем Кишинева,
насыщенного белизной.
Ты, Бессарабия, воспета
кометой Пушкина и без
сиянья русского поэта
сияние твоих небес,
пусть очень южных, очень синих,
могло ли быть прекрасным столь?
И так с голов мы шляпы скинем
и скинем с душ тоску и боль,
ежеминутно ощущая,
что в беспредельности степей
с цыганами в расцвете мая
скитался тот, кто всех светлей,
кто всех ясней, чье вечно ново
— все напоенное весной —
благое имя, что вишнёво
как вешний воздух Кишинева,
насыщенного белизной.

НОЧЬ ПОД РОЖДЕСТВО

Всего три слова: Ночь под Рождество,
казалось бы вмещается в них много ль,
а в них и Римский-Корсаков и Гоголь
и на земле небожной божество.

В них снег зеленый и голубоватый
и безалаберных, веселых ног
на нем следы у занесенной хаты
и святочный девичий хохоток.

Но в них же и сиянье Вифлеема,
и перья пальм, и духота песка.
О, сказка из трех слов, ты всем близка
и в этих трех словах твоих — поэма.


4
Константин Давыдович 1172-1218; князь Смоленский
Вячеслав Сигизмундович, сын Сигизмунда Корейва, выехал из Польши в Россию
Федор Вячеславич
Терентий Федорович от чего пошли Милославские
Илья Терентьевич Милославский
Иван Ильич Милославский
Степан Иванович Милославский
Андрей Степанович Милославский
Мария
Стефанида Андреевна Милославская - 1657, троюродная сестра царицы
Иван Иванович Милославский
Данило Иванович Милославский 1626-воевода в Курске
Илья Данилович Милославский-1668
Екатерина Федоровна Нарышкина
Гланда-Камбила Дивонович, выехал в Россию с сыном ок 1280-1295 и 1287 принял крещение под им. Ивана
Андрей Иванович Кобыла, боярин Ивана Калиты после Семена Гордого, годы их княжения 1328-1353
Федор Андреевич Кошка в 1380 охранял Москву
Иван Федорович Кошкин
Андрей Федорович Стародубский 1380
Федор Федорович Ржевский
Данило Васильевич Пожарский
Федор Данилович Пожарский
Иван Федорович Третьяк Пожарский
Федор Иванович Немой Пожарский
Михаил Федорович Глухой Пожарский
Дмитрий Михайлович Пожарский, князь 1578 1642
Семен Федорович Ржевский -1445
Гаврила Семенович Ржевский
Василий Гаврилович Ржевский
Константин Васильевич Ржевский
Иванович Ржевский
Иван Иванович Ржевский - 1640, московский дворянин
Семен Васильевич Бекаемишев
Семен Семенович Бекаемишев
Петр Васильевич Бекаемишев
Алексей Сенявин, выехал из Польши в Россию в нач. 16 века
Иван Алексеевич Сенявин
Иван Иванович Сенявин Молчан
Михаил Иванович Сенявин
Федор Михайлович Сенявин
Матвей Федорович
Фрол Матвеевич Сенявин, стряпчий
Иван Иванович Нарышкин - 1552 Погиб под Казанью
Полуект Иванович Нарышкин -1633 Погиб под Смоленском
Захарий Иванович Кошкин, боярин
Юрий Захарьевич 1505
Роман Юрьевич Захарьин 1543, кольничий
Ульяна Федоровна
Никита Романович Захарьин 1586
Варвара Ивановна Ховрина д. Ивана Дмитриевича Ховрина
Анастасия Романовна Юрьева Романова Захарьина - 1560 царица
Федор Иванович 1557-1598- царь
Федор (Филарет) Никитич Романов-Юрьев-Захарьин 1550-1633 митрополит
Михаил Федорович Романов 1596-1645. 26.2 1613 первый русский царь
Василий Варфоломеевич Глебов-Лапуха, родоначальник Лопухиных
Алферий Васильевич
Василий Яковлевич Лопухин
4

ПЕРОМ ОЧЕВИДЦА

Перед вами, читатель, записки «великолепного очевидца». Кажется, история нашей литературы, поэзии прошла перед глазами автора мемуаров, женщины поистине удивительной.

В тревоге пестрой и бесплодной
Большого света и двора
Я сохранила взгляд холодный,
Простое сердце, ум свободный
И правды пламень благородный
И как дитя была добра;
Смеялась над толпою вздорной,
Судила здраво и светло,
И шутки злости самой черной
Писала прямо набело.

Эти строки открывали ее альбом с большими листами — для записи ежедневных впечатлений, что было в традициях светского общества. Умению вести дневник, в частности, обучали девочек-аристократок в Екатерининском институте, который с отличием окончила мемуаристка. Подарен альбом был ей самим Александром Сергеевичем Пушкиным. Его же рукою вписано посвящение Александре Осиповне Смирновой (в девичестве — Россет).

А вот еще одно стихотворение, посвященное Смирновой, Михаила Юрьевича Лермонтова. Оно было написано в 1840 году:

Без вас хочу сказать вам много,
При вас — я слушать вас хочу;
Но молча вы глядите строго,—
И я в смущении молчу.
Что ж делать? Речью неискусной
Занять ваш ум мне не дано...
Все это было бы смешно,
Когда бы не было так грустно.

«Черноокая Россети», «смуглорумяная красота наша», «Венера Невы» называл ее Пушкин. Но ум и обаяние, изящество и широта суждений Александры Осиповны были под стать ее красоте. Ей посвящали стихи и Жуковский, и Вяземский. Она была дружна с Гоголем и Аксаковым, Плетневым и Хомяковым; учителем ее детей был Полонский.

Родилась Александра Осиповна в 1809 году. Отец — кавалер Жозеф де Россет, знатный дворянин, чудом спасшийся от террора во время Французской революции. Эмигрировав в Россию, он поступил на службу в армию, участвовал в штурме Измаила, в битве при Очакове. «Суворов дал ему Георгия за Очаков»,— со слов своей матери записывает дочь «черноокой Россети» Ольга Николаевна.

Имя кавалера, уже в «обрусевшем» варианте — Осип Иванович — на мраморе Георгиевского зала Московского Кремля, где выгравированы имена героев Отечества, награжденных за исключительную личную храбрость...

Мать Александры Осиповны — Надежда Ивановна Лорер (сестра будущего декабриста). По линии деда Александра Осиповна — немка, по линии бабушки — грузинка. Так что в Смирновой-Россет соединилась грузинская, французская и немецкая кровь. Этот удивительный «коктейль» самым замечательным образом проявился в способностях и дарованиях мемуаристки: она знала несколько языков, была отличной пианисткой — играла с Листом, князем Одоевским и, конечно, владела пером.

Рано осиротев, Александра Осиповна поступает в Екатерининский институт для благородных девиц под патронат императрицы. Здесь, между прочим, ее учителем словесности был Петр Александрович Плетнев, который и ввел Россет впоследствии в дом придворного историографа Карамзина, познакомил с Жуковским.

В институте же Александра Осиповна узнала творчество Пушкина. Плетнев давал читать ей стихи поэта, читал вслух «Руслана и Людмилу», «Кавказского пленника», главы из «Онегина»...

В 1826 году Александра Осиповна становится фрейлиной сначала своей патронессы, императрицы-матери, а потом и жены Николая I, Александры Федоровны.

С Пушкиным Россет познакомилась в конце 1828 года или в январе 1829 года на балу у Хитрово, часто виделась у общих знакомых — Жуковского, Карамзиных. Дружеские отношения начались позже, в 1831 году, когда Пушкин с молодой женой летом жил в Царском Селе, где тогда находился двор и, конечно, фрейлина Россет.

В следующем году Александра Осиповна покидает дворцовую службу: она выходит замуж за Николая Михайловича Смирнова, человека пушкинского круга, «известного знатока искусства и страшного любителя живописи». Дипломат, проведший долгие годы в Италии и Англии и знавший чуть ли не всех тамошних знаменитостей, вплоть до Байрона, человек, дослужившийся до камергерского ключа, губернатор Калуги, Петербурга, Николай Смирнов все-таки не составил счастье Александры Осиповны. Они прожили долго и окончательно расстались на склоне лет. Умерла Александра Осиповна в 1882 году. Ее могилу можно и сейчас отыскать в некрополе Донского монастыря.

Впрочем, жизнь Смирновой-Россет, омраченная тяжелым недугом в последние десятилетия, была, конечно, насыщенной замечательными встречами и событиями, яркой. Александра Осиповна была удостоена дружбы первого поэта России. Ей посвящены вдохновенные строки его лирики. Быть может, именно потому так велик интерес к ее «Запискам», которые не переиздавались с 1895 года.

«Записки» А. О. Смирновой выходили в «Северном вестнике» (Санкт-Петербург) и были подготовлены к печати ее дочерью, Ольгой Николаевной Смирновой. Они имели большой успех. По свидетельству современников, они пробудили в самых разнообразных кругах читателей новую волну интереса к творчеству Пушкина, и даже был пущен слух, что записки принадлежат дочери, а не матери... К сожалению, он оказался живуч до сих пор, хотя весомых доказательств так и не появилось... Многие ведущие пушкинисты, однако, в авторстве А. О. Смирновой не сомневались. Одним из них был известный литературовед, философ Дмитрий Сергеевич Мережковский, с мнением которого вы познакомитесь в этом номере после «Записок» А. О. Смирновой-Россет.

В предисловии к запискам А. О Смирновой от редакции «Северного вестника», в частности, говорится:

«...Настоящий выпуск... «Записок» является точным переводом с французского оригинала, приобретенного издательницею «Северного вестника» Л. Я. Гуревич у дочери А. О. Смирновой, Ольги Николаевны Смирновой, скончавшейся в Париже 13 декабря 1893 г. ...»



«...Сохраняя глубокое благоговение к памяти Пушкина, свято оберегая от каких-либо печатных пересудов имя своей матери и относясь с недоверием к способностям русского общества оценить важные документы, касающиеся пушкинской эпохи, О. Н. Смирнова предпочитала издать «Записки» матери во Франции или даже отложить их печатание на каком бы то ни было языке на неопределенное время.

Все впечатления, вынесенные О. Н. Смирновой из знакомства с русским обществом и русской печатью за время ее жизни в России, до ее переселения во Францию,— тенденциозные нарекания на поэзию и личность Пушкина, озлобленные крики против всякого истинного искусства,— все это было слишком живо в памяти О. Н. Смирновой и раздражало ее против новейшей русской литературы и особенно против журналистики...»

Этой публикацией мы представляем читателю выбранные места из «Записок». Так же, как и их автор, мы ведем их в свободном хронологическом порядке, не придавая особенного значения тому, в какой именно день, час и даже год происходили описанные события. Замечания Пушкина — об искусстве, о литературе, о религии, о своих современниках, сделанные как бы мимоходом и записанные «быстрой и ловкой женской рукой»,— ценны сами по себе как собрание афоризмов великого человека.

А. О. СМИРНОВА-РОССЕТ

ПРЕКРАСНЫЕ СНЫ

...«Искра» (так прозвала Пушкина Россет за искрометность ума — А. К.) принес мне поэму «Медный всадник». Он уже написал несколько строк. Он напомнил мне один вечер и видение, как Петр Великий скачет по петербургским улицам.

Я нашла описание наводнения превосходным, особенно: Думы Петра на пустынных берегах Невы. Когда я высказала Пушкину мое восхищение, он улыбнулся и грустно спросил:

— Вы, значит, находите, что в моей гадкой голове есть еще что-нибудь?

Я только вскрикнула. Он продолжал:

— Все, что я пишу — ниже того, что я хотел бы сказать. Мои мысли бегут гораздо скорее пера, на бумаге все выходит холодно. В голове у меня все это иначе.

Он вздохнул и прибавил:

— Мы все должны умереть, не высказавшись. Какой язык человеческий может выразить все, что чувствует и думает сердце и мозг, что предвидит и отгадывает душа?»

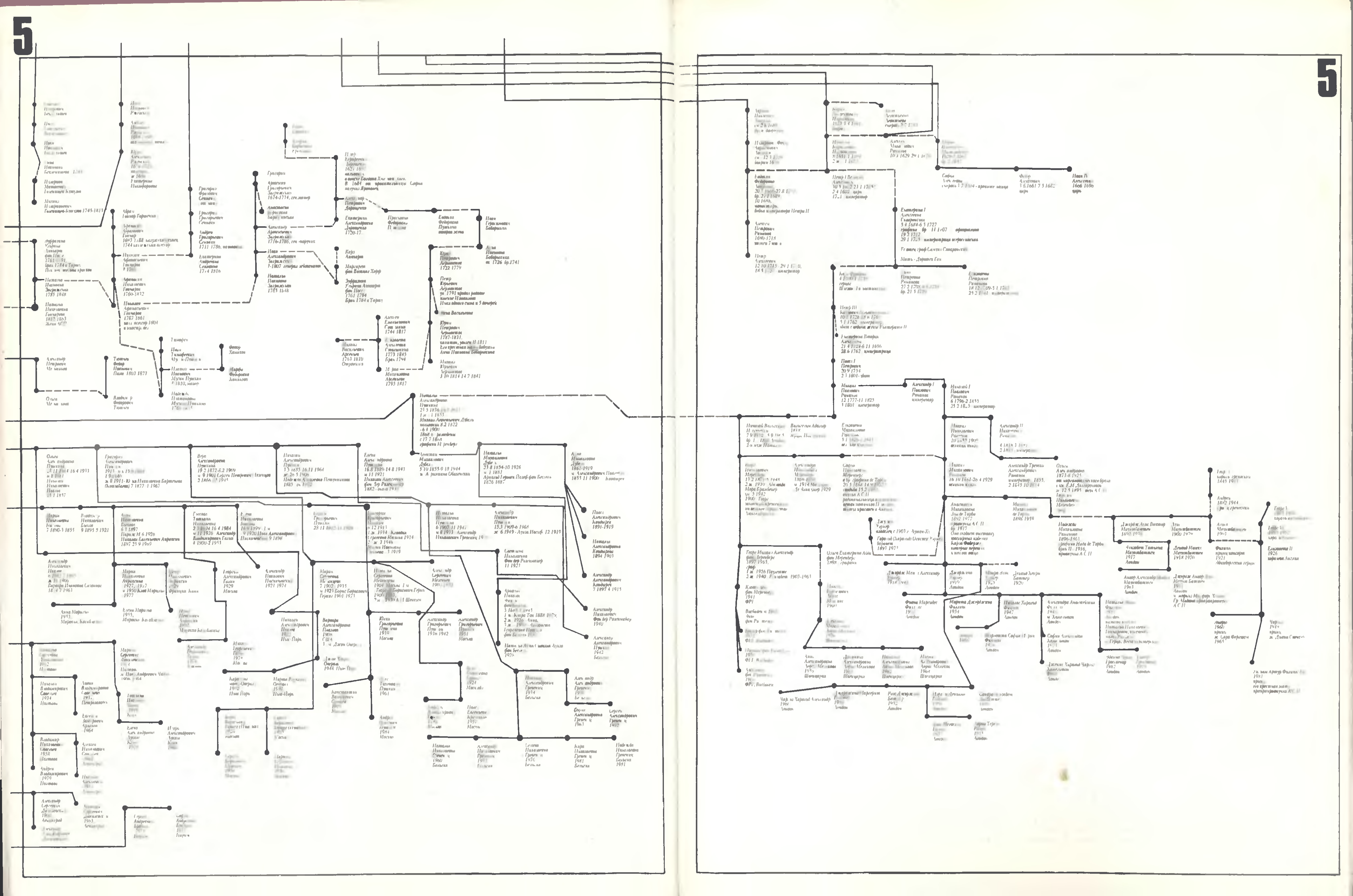
«Он часто падает духом: вдруг делается грустным, и чем прекраснее его произведение, тем он кажется недовольнее...»

«Вчера (...) Пушкин рассказывал, что он только что с трудом устоял против сильнейшего искушения: он провожал в Кронштадт одного приятеля и ему неудержимо захотелось спрятаться где-нибудь в каюте и прождать там до тех пор, пока корабль не выйдет в открытое море. Но он-таки устоял против этого странного желания — отправиться за границу без паспорта. В нем много оригинальности и вместе простодушия. Моден неправ, говоря, что он недоброжелателен, и что у него злой язык. Он насмешник, но в нем нет и тени злобы; он остроумен и тонок. Он спросил меня: «Какого вы обо мне мнения?» Я отвечала: «Превосходного, потому что вы очень добры. Я была предубеждена против вас; мне говорили, что вы всегда готовы задеть человека, но я не согласна с этим; вы преисполнены ума и таланта; одним словом, вы именно таковы, каким мне вас изобразил Жуковский, то есть вы — феникс». Пушкин разразился гомерическим хохотом и потом сказал мне: «Спасибо вам за доброе мнение; я не зол, никому не желаю дурного, я не изменник, не лгун; я вспыльчив, но не злопамятен и не завистлив. Я искренен, и умею любить своих друзей и быть им верным, но у меня колкий язык».

«Как он своеобразен! Он иногда читал мне великолепные стихи и когда я говорила: «Как это хорошо», он пожимал плечами и говорил: «Хорошо! По-моему, это слабо, бледно, неполно; у себя в голове я все это вижу совершенно в другом виде, и мне не удается все выразить, как бы я желал. Я иногда вижу во сне дивные стихи, во сне они прекрасны, в наших снах все прекрасно, но как уловить, что пишешь во время сна. Раз я разбудил бедную Наташу и продекламировал ей стихи, которые только что видел во сне, потом я испытал истинное угрызение совести: ей так хотелось спать!»

— Почему же вы тотчас же не записали этих стихов? Он посмотрел на меня насмешливо и грустно ответил: «Потому, что жена моя мне сказала, что ночь на то и создана, чтобы спать. Она была раздражена, и я упрекнул себя за свой эгоизм, тут и стихи улетучились...»

«Новая драма Альфреда де Виньи вызвала в Париже страшный шум. Вместо Шенье он избрал своим героем поэта Чаттертона. Стелло заинтересовал Пушкина, хотя он и не разделяет мнение автора. Я сказала ему, что его стихотворение «Поэт» и «Поэт и чернь» кажется мне ближе к истине. Его ответ превосходно характеризует его личность. «Я про-


5
5

должаю думать, что поэт стоит не больше, чем окружающие его люди, до того момента, когда заговорит божество. Поэт вдохновен — это несомненно, бывают часы, когда я не мог бы написать двух строк, в час б о ж е с т в а стихи льются, точно вода. Но затем, однако, приходится пересмотреть, изменить, исправить. Божество дает мысли, чувства, но существует искусство, это уже дело завтрашнего дня. Я часто встаю ночью, чтобы писать, уже после сна; какая-нибудь мысль преследовала меня с вечера, но я не мог тотчас ее выразить, я должен был ею проникнуться до глубины души, ей надо было улечься в гармонические аккорды. Тогда в душе моей происходит какое-то пробуждение, что я и высказал в своем «Поэте». Но если чернь меня не понимает, если разные посредственности не чувствуют того, что чувствую я, это не дает мне никакого права отделяться от человечества, так как прежде чем быть поэтом, я человек и гражданин. В тезисе Альфреда де Виньи в Стелло сказывается колоссальная гордость, впрочем, тезис этот ультраромвнтический. Его Чаттертон не что иное, как гордец и человек тщеславный, это даже довольно странно, так как Альфред де Виньи не имел намерения выставить его тщеславным, но тирады Чаттертона — трижды гордеца и жертвы тщеславия. Это поразило меня прежде всего при чтении этой драмы, которая должна быть чрезвычайно эффектной. Это также апология самоубийства, что Гете отнюдь не проповедовал в своем «Вертере». Я вам пророчу: после этой драмы, если к ней отнесутся серьезно, явится маленький Чаттертон; все рифмачи-альманашники, которые сочтут себя непризнанными гениями, если их не увенчают, как только они напишут сонет, перестреляются; они заставят говорить о себе в продолжение 24-х часов, а тщеславие — свойство такое глупое и настолько исторически присущее человечеству, что для того, чтобы заставить о себе говорить, станут стреляться, вместо того, чтобы сжечь Ефесский храм. Опасно проповедовать тезисы такого рода, так как надо щадить неразумие читателей».

Один из парижских журналов сказал, что Чаттертон — «П р о в о з г л а ш е н и е прав поэтов». Это заставило Пушкина улыбнуться, сказав: «Они все еще во Франции продолжают провозглашать права, это не имеет особенных последствий».

«⟨...⟩ Сегодня утром Пушкин пришел меня навестить и спросил моего мнения; его серьезный вид заставил меня улыбнуться; он хотел знать, не был ли он нескромен тем, что говорил один в продолжение целого часа, чтобы прочесть Баранту курс русской истории. Я отвечала: «Ничуть, час этот промелькнул, как одно мгновение, и вы всех привели в восторг, а Баранта более, чем кого-либо» ⟨...⟩

«⟨...⟩ Минуту спустя он продолжал: «Ваша Мадонна Перуджино меня чарует... Брюллов говорил мне, что младенец написан Рафаэлевской манерой». Он пошел взглянуть на Мадонну и возвратился со словами: «Я читал Библию от доски до доски в Михайловском, когда находился там в ссылке, читал даже некоторые главы Арине, но и ранее я много читал Евангелие. Хотите ли, чтоб я сделал вам одно признание?»

— Насчет чего?

— Моего Пророка.

— Говорите, я не буду нескромной.

— Вот почему я вам его и делаю. Я как-то ездил в монастырь Святые Горы, чтоб отслужить панихиду по Петре Великом; гораздо раньше я уже служил панихиду по Байроне, но однажды вечером я перечитывал его Мазепу и остановился на стихах:

Мощь и слава войны,
Как и люди, их суетные
поклонники,
Перешли на сторону
торжествующего царя.

(в ориг. — на англ. — А. К.)

Это эпиграф, который я выбрал для Полтавы, — 4 стиха ⟨...⟩ На другой день я был в монастыре; служка попросил меня подождать в келье; на столе лежала открытая Библия, и я взглянул на страницу — это был Иезекиил. Я прочел отрывок, который перефразировал в Пророке. Он меня внезапно поразил, он меня преследовал несколько дней, и раз ночью я написал свое стихотворение; я встал, чтобы написать его; мне кажется, что стихи эти я видел во сне. Это было незадолго до того, как Его Величество вызвал меня в Москву. Я думаю, что Петр Великий вдохновил его тогда; мне кажется, что мертвые могут внушать мысли живым. Вам может быть покажется странным, что стих из Баироновского Мазепы заставил меня поехать служить панихиду по Петре Великом? Я часто это делал, а в этот день я молился также и за Байрона. Иезекииля я читал раньше; на этот раз текст показался мне дивно-прекрасным, я думаю, что лучше его понял. Так всегда бывает со Священным писанием: сколько его ни перечитывай, чем более им проникаешься, тем более все освещается и расширяется. Но я никогда не читаю подряд: я открываю книгу наудачу и читаю, пока это доставляет мне удовольствие, как всякую другую книгу. Кстати, известно ли вам одно древнее гадание, которое ведет свое начало от латинян и тянулось через все средние века: ⟨...⟩ открывают Энеиду и заранее решают, с какой стороны книги и какую строчку прочтут, считая сверху вниз или снизу вверх; я часто пробовал это делать с Энеидой и даже со Священным писанием. В тот вечер, возвратясь от вас, я раскрыл таким образом Евангелие и напал на текст: «возьмите иго мое, ибо оно благо и бремя мое легко есть» ⟨...⟩ я купил себе англииcкую Библию, чтобы сверить текст и, читая ее, вижу, насколько английские поэты изучали Священное писание. Байрон постоянно читал книгу Иова... Прочтя этот текст, я подумал: богатые и бедные, счастливые и несчастные во всем, аристократы и демократы, великие и малые, все мы несем бремя жизни, иго нашей человечности, столь слабой, столь подверженной заблуждению; и это иго, это бремя — уравнивает все. Он велит нам взять иго, которое благо, бремя, которое легко, — это его иго, его бремя, которое поможет нам нести наше собственное до конца, если мы будем помогать ближнему поднять и нести иго, под которым он изнемогает. Вот весь закон в нескольких словах, и здесь нет места ни для аристократа, ни для демократа. Здесь только одна — единственная великая сила — любовь. Мне все это хотелось сказать в тот вечер, но я не поддался своему влечению. Эти вещи не говорятся десяти человекам; они говорятся лишь с глазу на глаз, между друзьями. Я, может быть, даже был не прав, наговорив так много тогда; мне показалось, что я переступил за пределы салонной беседы и, если я погрешил против такта — прошу вас извинить меня».

Я отвечала: «Извинить вас, но я всегда счастлива, когда вы много говорите, хотя бы ввиду тех банальностей, которые я так часто слышу у себя в гостиной, когда у меня вечер. Благодарю вас за то, что вы говорите со мной, как с другом. Мой муж был счастлив, слушая вас; вы знаете, как он к вам привязан; он гордится вами из патриотизма, — этот итальянский боярин, этот милорд Николай ⟨...⟩ он питает к вам нежность, он очень озабочен вашими затруднениями и желал бы, чтобы вы с полной откровенностью переговорили о них с Государем.

Пушкин отвечал мне: «Вот это дружба. Вы говорите мне вещи, которые говорятся лишь друзьям, в коих уверены. Благодарю вас за это. Я не должен говорить Государю, так как он уже дал мне денег вперед и я не окончил мой труд о Петре Великом; он даже слишком щедр, и все из своей личной шкатулки. Я слишком люблю и уважаю Смирнова, чтобы завидовать ему, но распятие, данное Петром Великим, стол с резьбой его работы, выточенная им чаша из черепахи, его компас, — какие вы имеете сокровища, и этот судный его портрет работы Карла Моора, — где вы все это оставите»?

— В деревне, там старые слуги моего свекра и моей свекрови, которые хорошо знают ценность этих вещей.

— Я отвечала: «Мы воображвем, что фрондирование есть признак достоинства, — это один из способов рисоваться, который особенно свойствен Петербургу».

Я заговорила о «Скупом рыцаре», которого Пушкин читал мие. Я нахожу этого скупого лицом трагедии по всему, что он говорит о золоте, о совести, которая вызывает мертвых из их гробов. В этом скупом есть что-то дьявольское, когда он говорит о своем могуществе.

Пушкин ответил мне: «Золото есть дар Сатаны людям, потому что любовь к золоту была источником большого количества преступлений, чем всякая другая страсть. Маммона был самый низкий и презренный из демонов. Он ниже Вельзевула, Велиала, Молоха, Астарота, Вельфегора, Ахитофела, всех слуг Люцифера. Но последний опаснее всех, потому что, по сказанию, один он прекрасен. Он соблазнительнее и следовательно тоньше всех».

Александр Тургенев, слушавший его, спросил: «С каких это пор ты заиялся изучением этой чертовщины? Намерен ты прочесть донье Соль курс демоиологии?»

Все засмеялись, а Пушкин ответил: «Она читала Сен-Марса, а в главе о бесноватых есть полный список этих господ; но Люцифер не чета им, и поэтому ему трудно противустоять, что и доказала Элоа, соблазненная его красотой и его софизмами. Опасность этого демона заключается в двух вещах, — в том, что он овладевает нами посредством софизмов мысли и софизмоа сердца».

Я спросила, почему Пушкин заставляет своего Мефистофеля говорить, что ему необходимо постоянно быть в действии, так что, когда Фауст хочет его прогнать, он должен дать ему какое-нибудь дело.

Вяземский отвечал мне: «Потому что Лукавый очень деятелеи, что бы ни говорили о том, что лень есть мать пороков. Может быть, это и справедливо относительно людей, но относительно Сатаны совершенно напротив. Если б Сатана оставался в бездействии, то и не было бы Сатаны. Хотите знать почему?» Я сказала: «Хочу знать почему».

Пушкин улыбнулся: «Потому что зло вообще очень деятельно, таков же, следовательно, и дух зла. Зло есть покатый склон, а вы знаете, как легко скользить по покатому склону, сохраняя при этом иллюзию, что находишься в бездействии. Главное в том, чтобы не допустить себя скользить, чтоб бороться с этою склонностью, вместо того, чтобы делать обратное». Помолчав, он прибавил: «человек есть постоянно деятельное и действующее существо; стремление делать, творить что-нибудь — это божественное свойство. Ангелы обладали этим свойством и падший Люцифер сохранил его. Но человек властен в выборе между добром и злом; Люцифер не может уже творить доброго, он связан необходимостью, вынуждающей его делать злое; в этом часть его наказания; он не может уже подняться из пропастей тьмы кромешной; народ наш называет преступников кромешниками; в сущности, они сыны тьмы, темного ада; какой у нас чудный язык! Гордость Люцифера должна страдать от этого ограничения областью злого, я так думаю, по крайней мере, — и оттого он и ненавидит чистых духов, других ангелов. Особенно он ненавидит человечество, одаренное властью выбора между добром и злом. Он искушает человека из ненависти к этому смертному, который тем не менее может подняться к свету, из ненависти к существу, могущему умереть от ничтожнейшей причины и которое все же свободнее его, его, который был ангелом, денницей. Так я объясняю себе Злого Духа-искусителя. И Байрон, усердно читавший Библию, так же понимал его; его сатана грандиознее сатаны Мильтона; он и ближе к библейскому, по моему мнению».

Тургенев сказал ему: «Я вижу, что у тебя самые правоверные воззрения насчет лукавого?»

Пушкин возразил очень живо: «А кто же тебе сказал, что я неправоверный? Но суть не в этом. Суть в нашей душе, в нашей совести и в обаянии зла. Это обаяние было бы необъяснимо, если б зло не было одарено прекрасной и приятной внешностью. Я верю Библии во всем, что касается сатаны; в стихах о падшем духе, прекрасном и коварном, заключается великая философская истина. Безобразие никого не искусило, и нас оно не очаровывает».

«В легендах злой дух всегда пользуется личиной красоты, когда искушает святых и монахов, мужчин или женщин».

Жуковский прибавил: «Я видел в Германии старую картину, на которой змий был изображен с прекрасным человеческим лицом и крылышками, как у херувима, голубыми крылышками за ушами».

Тогда я сказала: «Но в средние века дьявола всегда изображали в ужасном, отвратительном виде».

— Они были неправы, переряживая его сатиром, — отвечал мне Пушкин, — надо было запугать людей, потому что если б он был прекрасен, его не боялись и не остерегались бы. Тем не менее и его уродливость не мешала колдуньям поклоняться ему, — что тоже свидетельствует о развращенности человечества, которое подчас преклоняется пред всевозможными уродливостями, возводя их в красоты, особенно нравственные уродливости. Обожали ведь даже Марата».

Пушкин пришел ко мне в очень дурном настроении. Ему хотелось продолжать литературную газету для бедной баронессы Дельвиг. Цензура была невыносимой, и ему пришлось отказаться от своего намерения. Он не хочет говорить об этом с Государем и — по-моему — напрасно. Но он находит неделикатным говорить с ним теперь, когда у того столько забот и хлопот после войны. Пушкин говорит, что бесполезно жаловаться на цензора Катона и настаивать на мелочах; но что все-таки, в конце концов, он будет издавать журиал. Смерть Дельвига очень огорчила поэта; это большая для него потеря. Он рассказал мне о своем свидании с бедным Кюхельбекером, которого он застал на почтовой станции, когда его переводили в Динабург. Он сказал: «При первом благоприятном случае буду просить Государя о снисходительности к нему. Ссылка в Якутск лучше этой тюрьмы и была бы уж милостью; я много о нем думаю».

⟨...⟩ Пушкин был удивлен, когда я сказала ему, что видела Кюхельбекера у его тетки, maman Брейткопф, в Екатерининском институте. Затем он говорил мне о Пущине, о Рылееве, о Бестужеве, об Одоевском и обещал дать мне стихи, написанные Одоевским и Рылеевым в крепости; священник передал их Рылеевой. Бедный Арион был очень печален, хоть и спасся сам от крушения; в заключение он прочитал мне наизусть французские стихи об Арионе:

Юный Арион, изгони из сердца
страх,
Причаль к берегам Коринфа.
Минеева любит этот тихий берег,
Периандр достоин тебя;
И глаза твои узрят там мудреца,
Восседающего на королевском
престоле.

(в ориг. — по-франц. Перевод — изд. — А. К.)

Он прибавил: «Тот, кто говорил со мной в Москве как отец с сыном в 1826 г., и есть этот мудрец». Как он оригинален; после этих слов лицо его прояснилось и он сказал: «Арион пристал к берегу Коринфа».

⟨...⟩ Пушкин много рассказывал про Карла XII, про Мазепу, Войнаровского, Наливайку, Богдана Хмельницкого, про «думы». На мое замечание, что «Войнаровский» Рылеева мне не понравился, Пушкин отвечал:

— В нем встречаются великолепные строфы, но поэтический вымысел слишком бросается в глаза; впрочем, поэма была написана с политической целью. По-моему, историческая правда есть настоящая поэзия, заключенная в самой жизни (sic); впрочем, я сказал это самому Рылееву: мы с ним были в переписке. Он обладал громадным талантом, но подчинил вдохновение и воображение своей тенденции, от этого происходит та сухость поэмы, которую он сам так чувствовал. К несчастью, он умер, не высказав всего, что мог сказать России. Чисто политическая поэма долго не проживет.

Я спросила Пушкина, что он думает о двух молодых поэтах Гейне и Мюссе и любит ли он по-прежнему Шенье.

— Да, это настоящий поэт; его даже можно назвать греком. Гейне великий лирик и в то же время очень остроумный; такое сочетание — весьма редко. Также и Мюссе. Им присущи и ирония, и философские идеи ⟨...⟩

Императрица спросила меня: будут ли у меня сегодня вечером мои поэты? Я ответила, что у меня назначено чтение на понедельник и что они придут после вечера у Ее В. Государь высказал желание придти...

Он действительно пришел. Все мои гости были в сборе. Марья Савельевна прислуживала Государю, и он вспомнил, что знал ее мать, когда был ребенком; потом говорил с Пушкиным о его бедной Арине Родноновне (она тогда умерла — А. К.). ⟨...⟩ Сверчок был очень в духе... Государь говорил о старых русских слугах и стихах, где Пушкин упоминает о своей бабушке и старой няне. Государь попросил Пушкина прочесть их. Он прочел и, разумеется, очень плохо — по своей привычке, в галоп. Государь заставил его повторить и сказал ему:

— Какие восхитительные, мелодичные стихи!

На что я заметила:

— А как он сам плохо говорит их. Он читает галопом — марш, марш!

— Вы обращаетесь с поэтами без церемонии, вы смеетесь им прямо в лицо, сказал мне Государь.

Пушкин ответил за меня: «Это мой самый строгий цензор; она уважает поэзию, но не поэтов. Она третирует их свысока, но у нее музыкальное и верное ухо». Тогда Е. В. сказал ему, чтобы он приносил свои стихи мне; Государь будет прочитывать их до цензуры; на меня возложена обязанность курьера. Уходя, Государь сказал мне: «Вы будете курьером Пушкина, его фельдъегерем».

Когда Государь ушел, я поздравила Сверчка с находчивостью, так как он напомнил Государю, что он его цензор с самой Москвы. А этот неблагодарный ответил мне: «Бесконечно более снисходительный, чем вы, донья Соль».

Сверчок пришел поговорить со мной о Гоголе. Он провел у него несколько часов; просмотрел его тетради, его заметки, все, что он записал по дороге. Он поражен тем, как много наблюдений Гоголь сделал уже на пути от Полтавы до Петербурга; он записывал даже разговоры, описывал города, в которых он останавливался, различных людей и местности, отмечал разницу между северянами и хохлами. Пушкин кончил тем, что сказал: он будет русским Стерном; у него оригинальный талант; он все видит, он умеет смеяться, а вместе с тем грустен и заставит плакать. Он схватывает оттенки и смешные стороны, у него есть юмор, и раньше чем через 10 лет он будет первоклассным талантом. У него есть драматическое чутье.

Я представила «хохла» В. К. Михаилу; он был очень любезен и доволен вечером. Гоголь читал «Майскую ночь». Я была очень взволнована воспоминаниями о моей милой Малороссии. Я даже сказала Великому Князю, что желала бы, чтобы столица была в Киеве.

Гоголь читает очень хорошо. Он оживляется, становится не таким неловким, смеется про себя, когда смешно; при чтении и акцент его пропадает.

Говорили о Малороссии, о гетманах. У Пушкина были целые взрывы остроумия. Когда он в ударе — это просто фейерверк. А его гомерический, заразительный смех! Во всем мире нет человека менее его рисующегося; это большая прелесть.

Пушкин пришел с Гоголем и принес мне тетрадки стихов для Его В.; мы опять говорили о литературе. Я спросила его, к чему дают ученикам, школьникам произведения греческих и латинских авторов, если они часто неудобны для чтения? Пушкин улыбнулся и сказал: «Не все. Гомер вполне пристоен; точно также и Гезиод, Еврипид, Софокл, Вергилий и Эсхил. Есть у древних комедии малопристойные, есть у них поэты вольные и циничные; но все же они неизмеримо менее развратные, чем некоторые французы; а под влиянием этих французов я написал поэму, которая мутит мне сердце и рукопись которой я очень желал бы уничтожить: ее переписали, так как я не предназначал ее для публики. Мне попадались списки ее, которые я отбирал и жег. Эта поэма тяготит мою совесть. А мысль о создании этой вещи, о которой я не могу вспомнить без краски стыда, зародилась во мне при чтении гнусного произведения Вольтера о Жанне д'Арк ⟨...⟩ Впрочем, язычники смотрели на жизнь не с нашей точки зрения; жизнь материальная была у них даже обоготворена. Я скажу вам также, что у нас много разглагольствований о древних и говорили много вздорного о них, об их добродетелях и пороках. Добродетели их могли быть только языческими; и по своим религиозным воззрениям они не могли понимать жизнь, смерть, любовь так, как понимаем их мы, если мы верны нашим религиозным догматам ⟨...⟩ Идеализировать запрещенные страсти безнравственно. Древние этого не делали, надо отдать им справедливость, а если и делали, то очень редко.

В Риме больше писателей, которых нельзя дать в руки женщинам и школьникам, чем в Афинах; да и жизнь римлян была вполне безнравственна. Зараза шла у них сверху. Убивая в гражданах достоинство, убивали в них и нравственность ⟨...⟩

⟨...⟩ Знаете ли, что говорит Тацит?

Я отвечала, что не знаю.

— Он говорит, что народ погиб, когда он попал в руки риторов и адвокатов. Он говорит также, что самый скверный образ правления всегда найдет риторов и адвокатов, чтобы восхвалять и отстаивать его. Нельзя не сказать, что древние обладали в большей мере умом и здравым смыслом.

Его серьезный вид заставил меня рассмеяться. «Это вас забавляет, — сказал он — но это правда. Их рассудочность, их здравый смысл были не природными свойствами; к тому же они не волновались, не суетились, как мы. Вяземский был прав, сказав:

И жить торопимся, и чувствовать спешим.

Я. Оттого-то вы и взяли эту строку эпиграфом к первой песне «Онегина»?

Он улыбнулся и сказал: «Люблю поболтать с вами. Вы понимаете с полуслова, и мои монологи не вызывают у вас зевоты... ⟨...⟩ вы не очень-то обыкновенный образчик прекрасного пола. Но в большинстве случаев женщины интересуются историей и особенно словесностью.

— Вы можете объяснить, почему?

— Потому что в истории есть герои и героини, — а в словесности — то же и чувства ⟨...⟩

⟨...⟩ Пока они говорили (речь идет о беседе, состоявшейся у Карамзиных; а участвовали в ней, кроме Пушкина, Полетика, Хомяков, Вяземский, Жуковский, Вл. Одоевский, Александр Тургенев — А. К.), я сосчитала всех, кто составлял «парламент». Я сказала Пушкину: «Вас, как греческих мудрецов, — семеро».

— We are seven, — ответил он, — пять арзамасцев, один меломан — потомок Рюрика (Одоевский — А. К.) и один московский славянин — ваш поклонник «Дева роза» (Хомяков; «Дева роза» — поэма, которую Хомяков посвятил матери А. О. Смирновой-Россет — А. К.). Мы будем сейчас беседовать о всеобщей литературе.

Московский славянин сказал:

— Главным образом о нашей.

Пушкин. О нашей? А ты разве не находишь, что у нас уже есть полная литература? Что ты называешь этим именем?

Хомяков. Ломоносова, Державина, Фонвизина, Карамзина, Жуковского, Крылова, Батюшкова, Грибоедова,... наконец, тебя...

Пушкин (смеясь). Очень благодарен. И меня тоже? Но это еще не составляет полную литературу. Я называю это другим именем: это горсточка писателей, в которых я признаю гений, талант... Ломоносов был даже научный гений, он — наш первый университет... Грибоедов стал бы нашим Мольером, но его цель была гораздо возвышеннее, гораздо патриотичнее, чем у Мольера. Карамзин был творцом (дело происходит в 1826 г. — А. К.), он открыл нам смысл прошлого. Ты знаешь мое мнение о Фонвизине, о Крылове, о Рылееве, о Батюшкове, которого я так много учил наизусть, о Жуковском, моем учителе...

⟨...⟩ Хомяков опять заговорил:

— Пушкин, ты забыл почвенную литературу, литературу родной земли, славянскую, самую русскую — народную словесность.

Пушкин. «Дремучий бор»? Нет, я совсем не забыл ее. Но этот символ, этот корень — только одно из разветвлений, только почва, на которой вырастает литература. Ты сам пишешь не как баян, ты написал своего «Ермака» не слогом «Слова о полку Игореве» или «Мамаева побоища» и значит, эта литература не может составлять и не составляет всей литературы ⟨...⟩

Хомяков. — Однако в Греции...

Пушкин перебил его:

— В Греции были очень разные периоды, и после Гезиода и даже Гомера нельзя было сказать, что существует полная литература... В Греции прежде всего танцевали и пели, потом появились рапсоды, как наши баяны и барды. Это была почва, корень, ствол, на котором выросла литература. Они может быть писали меньше, чем мы, и даже наверное меньше; это и отличает их от нас, современных людей. Мы слишком литературны.

Хомяков. В каком смысле?

Пушкин. В том смысле, что мы только писатели, что мы живем вне всяких человеческих и общественных интересов. Древние уже позже установили свои правила относительно красоты, искусства, красноречия, но я прошу тебя заметить, что от Гезиода и Гомера до Сафо, до Теокрита, Пиндара, Анакреонта, Эврипида, Софокла, Аристофана, Эсхила — их литература развивалась постепенно, естественным ходом человеческого развития. И это была счастливая эпоха, когда именно мало занимались литературой, а просто жили — и жизнь создавала произведения, отражавшие ее. В то же время родились музы — все в один день вместе со своим регентом Аполлоном. Только они прежде всего стали плясать и петь, что народ везде делает и до сих пор. Они дали своим танцам и песням известный ритм, дали известный размер — и тем стихам, которые они пели. Это явилось само собою. Они разнообразили этот размер и начали говорить стихи вместо того, чтобы их петь, и рифма родилась совершенно естественно из музыкальной мелодии. Рифма даже заменила музыку как только начали декламировать стихи. Вот вам — греческая почва, священный лес греков. Он стал священным лесом для всех народов, для нас также, но деревья и растения видоизменяются сообразно с почвой и климатом. И у них почва была драгоценна только тем, что она произвела — только своим плодородием. Сама по себе почва — ничто, она может быть и каменистой Аравией и Аркадией» ⟨...⟩

Пушкин говорил о Данте, сказал, что поэма его божественна. Он брал с собой «Божественную комедию» в Эрзерум и читал ее часто у себя в палатке, освещенной огарком, вставленным в бутылку. Он говорил, что в то время чтение это произвело на него совсем особенное успокоительное впечатление. Зрелище войны возбуждало его, голова его горела, а величие Данте, который сам был одно время солдатом, успокаивало его пылающую голову. Пушкин сделал одно из своих оригинальных замечаний: «Мне хотелось бы встретить на том свете Данте, Шекспира, Паскаля, Эсхила и Байрона; и Гете, если я его переживу...»

⟨...⟩ Потом он сказал, что Данте и Шекспир — два гиганта, создавшие целое человечество. Перебрав несколько лиц из «Божественной комедии», он заключил словами: «Ад и земля близки в этой части поэмы, потому что все пытки ада представляют земные физические страдания; только Франческа, ее друг и Уголино страдают более нравственно, чем физически, потому что это существа, которые любили. Уголино жесток, но сердце его, его отцовское сердце истекает кровью. Я не знаю ничего более патетического, чем его рассказ. Это что-то чудесное...»

Пушкин нажил себе неприятностей «Анчаром». В конце концов все уладилось; но Катон невыносим. Император сам прочел corpus delieti, который произвел на него сильное впечатление. Перед ужином он заговорил об этом со мною и сказал: «То был раб, а у нас крепостные. Я прекрасно понял, что хотел выразить этим стихотворением Пушкин и о каком дереве он говорит. Большею частью люди ищут и желают свободы для себя и отказывают в ней другим. Пушкин не из таковых. Я его знаю: это воплощенная прямота, и он совершенно прав, говоря, что прежде всего мы должны возвратить русскому мужику его права, его свободу и его собственность. Я говорю мы, потому что я не могу совершить этого помимо владельцев этих крепостных; но это будет». Потом он улыбнулся и сказал: «Если б я один сделал это, сказали бы, что я — деспот. Уполномочиваю вас передать все это Пушкину, а также сказать ему чтоб он присылал ко мне то, что хочет печатать. Я поручаю это вам; но прошу, чтоб по этому поводу не было лишних разговоров. Я ведь не могу сделаться единственным цензором всех пишущих; мне пришлось бы проводить всю жизнь за чтением рукописей». Государь был очень в духе. Я поехала к Карамзиным, где застала Пушкина, который был в восторге от этого разговора. Я говорила с ним с глазу на глаз, в углу гостиной, в стороне даже от Е. А. Карамзиной. Пушкин сказал мне нечто удивившее меня. «Меня упрекают в том, что я предан Государю. Думаю, что я его знаю; и знаю; что он понимает все с полуслова. Меня каждый раз поражает его проницательность, его великодушие и искренность. После одной из неприятностей, причиненных мне Катоном, я встретил Государя в Летнем саду и он сказал мне: «Продолжай излагать твои мысли в стихах и в прозе; тебе нет надобности золотить пилюли для меня, но надо делать это для публики. Я не могу позволить говорить всем то, что позволяю говорить тебе, потому что у тебя есть вкус и такт. Я убежден в том, что ты любишь и уважаешь меня; и это взаимно. Мы понимаем друг друга, а понимают люди только тех, кого любят». Пушкин прибавил: «Меня очень трогает его доверие; но я могу утратить его, если на меня будут клеветать». Я поспешила уверить его в том, что Государь много раз говорил в моем присутствии, что Пушкин не только великий поэт и человек замечательного ума, но что это человек честный, искренний, правдивый и вполне порядочный. На Государя нелегко влиять. Пушкин вздохнул: «Он наидоверчивейший из людей, потому что сам человек прямой; а это-то и страшно. Он верит в искренность людей, которые часто его обманывают. За исключением небольшой части общества, Россия менее просвещена, чем ее Царь. Наши правители вынуждены насильно прививать нам просвещение; страна наша варварская; мы ходим на помочах. Придет время, когда надо будет стать на ноги; это будет трудно; да и никому это не давалось легко. Во всяком случае Государь более русский человек, чем все наши другие правители, исключая Петра I; но все же он не на столько русский, как Петр. Я утверждаю, что Петр был архирусским человеком, несмотря на то, что сбрил свою бороду и надел голландское платье. Хомяков заблуждается, говоря, что Петр думал, как немец. Я спросил его на днях, из чего он заключает, что византийские идеи Московского царства более народны, чем идеи Петра? Хомяков поэтизирует наше прошлое; я сказал ему, что он романтик». Пришел Жуковский, и мы позвали его, чтоб пересказать ему то, что Государь велел мне передать Сверчку. Наконец, Софи Карамзина спросила нас: «Что это: заговор или вы втроем исповедуетесь?» Пушкин ответил: «Да. Я признаюсь в моих больших грехах, а Донна Соль — в своих маленьких. У нее их больше, но мои грехи тяжелее, и это восстановляет равновесие. Мы позвали Жуковского, у которого нет никаких грехов, ни больших, ни малых, затем, чтоб он отпустил нам наши грехи».

Пушкин очень тронут доверием Государя; Жуковский также и просил меня хорошенько поблагодарить его. Споры Пушкина с Катоном беспокоят Жуковского, который любит своего феникса, как сына. Когда я заметила это Пушкину, он сказал: «Как блудного сына».

Пушкин оставил у меня стихи для передачи Е. В. Он написал поэму, под названием «Стенька Разин». Государь встретил Пушкина в Летнем саду и приказал ему передать эти стихи мне. Они много беседовали. Он сообщил Пушкину, что Пугачев рассказывал своим казакам, будто бы Петр Великий пожелал поклониться праху Стеньки Разина и для этого велел вскрыть его курган. Это вымысел; Разин был четвертован и так как народ считал его колдуном, то труп Стеньки был сожжен и прах рассеян. Говорят, что Пугачев зарыл в землю деньги. Их и до сих пор разыскивают в той местности. Е. В. сказал: «Если это правда, — значит он был скуп, и значит его можно было бы подкупить». Они также говорили об Отрепьеве. Пушкин верит в рассказ Карамзина, Государь же сомневается, чтобы он мог сыграть роль самозванца; его слишком хорошо знали в Москве и если б спасли Димитрия, то его предъявили бы до избрания Годунова, так как хотели избрать даже вдову царя Федора. Ребенка отвели бы к Ирине. Дума ненавидела Годунова. Его избрал патриарх Иов. Государь полагает, что король польский знал, кто был Димитрий. Он был белокурый. Иван IV был совершенно смуглый. Второй, Тушинский Вор был смуглый, хромой, пьяница и без всякого образования. Первый самозванец был образован, знал польский язык, даже латынь, чего не знали ни Отрепьев, ни Тушинский Вор.

Государь любил Пушкина и всегда справедлив к нему. Мне поручено посоветовать ему быть благоразумнее: «Не задирать людей». Е. В. жаловались на него. Правда, он кусается. Жуковский ворчал. Он утверждает, что это моя вина, что я поощряю его Сверчка; это потому, что я цитировала Гамлета и осмелилась сказать, что на воре шапка горит. Вот когда добряк рассердился и замычал, как бык. Но в конце концов он рассмеялся, когда Сверчок уверил его, что он не нуждается в поощрении и что он неизлечим: ему надо говорить, чтобы отвести душу, ему необходимо говорить. Впрочем, Государь совсем не сердится; я успокоила Жуковского, рассказав ему, что я переписала стихи Сверчка для Императрицы. Жуковский так любит Искру, что похож на курицу, высидевшую утенка.

Виельгорский пришел рассказать мне все сплетни. Он возмущен тем, что хотят восстановить Государя против Сверчка, поссорить двоих людей, созданных, чтобы понимать друг друга. Милости к Пушкину не переваривают.

Какой милости? сказала я. Пушкин ничего не просит: ни денег, ни места, ни орденов, ни даже приглашения на бал.

Он даже хотел выйти в отставку (он служил в министерстве иностранных дел). Я полагаю, что они могли бы оставить его в покое, так как не думаю, чтобы они особенно добивались рыться в архивах и перечитывать их.

Виельгорский улыбнулся.

— Дитя мое! Государь разговаривал с ним, вот и довольно.

Вчера Е. В. заставил меня прочесть строфы из «Евгения Онегина», доверенные мне Пушкиным. Находят, что я читаю хорошо. Государь был очень доволен чтением, он терпеть не может напыщенности. Он спросил меня: «Составляют ли эти стихи конец песни. Мне кажется, что последняя песня, которую я читал, была закончена».

— Это наброски, В. В., — ответила я; — Пушкин только хотел, чтобы Вы прочли их на случай, если он напишет еще главу, когда они выйдут. Он утверждает, что часто видит во сне стихи и что они одни только и хороши.

Государь улыбнулся.

— Скажите ему от меня, что я прошу его видеть таких снов побольше, так как для русской поэзии это прекрасные сны.

Тогда я сказала:

— Пушкин говорил мне, что русский язык алмаз и что он подходит ко всякого рода поэзии.

Государь опять улыбнулся.

— Алмаз для того, кто умеет его гранить.

Он оставил у себя стихи, чтобы перечитать их.

Старуха Х. сказала Великому Князю Михаилу Павловичу: «Я не хочу умереть внезапно, потому что не желаю явиться на небо запыхавшись и растерянно, а я хочу обратиться к Господу Богу с четырьмя вопросами: Кто были претенденты? Кто был «железная маска»? Был ли кавалер д'О мужчиной или женщиной и был ли Людвик XVII похищен из Темпля? Говорят, что его унесли в бельевой корзинке. M-me де-Курсель этого не знала, когда я с нею виделась».

— Разве вы уверены, что попадете на небо? — спросил ее В. К.

Старуха обиделась и очень кисло ответила:

— Неужели вы думаете, что я рождена для того, чтобы сидеть и ждать в чистилище?

Х. еще прежних времен: она настоящая вольтерианка, хотя и ходит к обедне. Пушкин много разговаривает со старушкой Х. Она ему рассказывает невозможные истории про доброе старое время, про Потемкина, Суворова, княжну Д., за которой ухаживал Потемкин, про всех фаворитов и всю историю их.

Вяземский сообщил мне одну остроту Императрицы Екатерины. Однажды Императрице представлялся прибывший из провинции мало известный и очень старый генерал. «Я вас еще не знаю», сказала она ему. «Я также не знал Вашего Величества». — «Что же делать, отвечала Екатерина Великая, я ведь не более как бедная вдова, вы не можете меня знать». Это мило. На днях говорили про Императрицу Елизавету Петровну. Она хотела выйти замуж за Людовика XV, который был гораздо моложе ее. Говорят, будто бы она велела поставить императорскую корону на купол церкви, в которой она, в Москве, венчалась с Алексеем Разумовским и что корона — существует там и до сих пор. Впоследствии Разумовский сжег акт о венчании. Он был человек оригинальный, умный, не честолюбивый, истинный патриот, очень тонкий и в то же время с сильным характером. Эти подробности рассказал мне Пушкин. Они видели в Москве эту церковь. Он говорил про нее с Его Величеством, который хвалил Разумовского, говорил о сожженном акте о венчании — и прибавил: «Разумовский был благородный человек». Кроме того Государь просил Пушкина прочитать ему одно стихотворение, говорил про Якова Долгорукова, относительно которого Голиков ошибся в своих воспоминаниях. Это сообщил Государю Голицын. Голиков не любил Як. Долгорукова. Государь также посоветовал Пушкину прочитать все воспоминания того времени о Петре Великом и его дневнике. Он прочел все это, так же как и архив, осмотрел и проекты, между прочим, проект канала между Волгой и Доном. Государь хочет прорыть этот канал. Он восторгается Петром Великим. Он говорил о его сотрудниках: Брюс, Репнин, Меньшиков и др. Затем он говорил о процессе Волынского и Бирона, о Потемкине, Суворове и даже о валдайских горячих ключах, открытых в XIV столетии настоятелем монастыря. Эти ключи находятся невдалеке от монастыря, где некоторое время покоился Тихон Задонский. Пушкин был поражен памятью Государя, всем, что он знает и что читал о царе Алексее Михайловиче и Петре I. Искра говорил с ним наконец о царевиче Алексее. Государь сказал ему: «Прочти письмо Петра Великого к своему сыну; он пожертвовал им для России, долг монарха повелел ему это; страна, которой управляешь, должна быть дороже семьи». — «Царь Алексей Михайлович, прибавил Государь, подготовил царствование Петра Великого. Петр следовал уже по данному направлению. Восторжествуй царевна Софья, Россия пропала бы!» Пушкин сказал Государю, что он хочет написать трагедию из жизни царевны Софьи. Государь обещал разрешить ему доступ в кремлевские архивы, даже в секретные, где хранятся дела, касающиеся стрелецкого бунта. Государь говорил с ним про Годунова, которого порицал за крепостное право, совершенно бесполезное для поднятия земледелия. Он не разделяет мнения Карамзина о необходимости этой меры а XVII ст. Он сожалеет, что Михаил Федорович его не уничтожил и одобряет правителя Д. Трубецкого, который хотел уничтожить крепостное право, говоря, что у него был правильный и разумный взгляд. Государь желает выкупить крепостных, но представляются большие затруднения, потому что при этом мелкие помещики будут разорены. Он много об этом думает. Он считает, что английский сквайр (Squire) полезен, а у нас они заменяют третье сословие (sic). Е. В. говорил также о прежних гражданах. Он очень восторгается Кузьмой Мининым, гораздо более чем Пожарским, который был прежде всего вояка. Он сказал Пушкину, что Скопин-Шуйский, прозванный народом «отцом отечества», может годиться для трагедии; рассказал, что и жену Василия Шуйского обвиняли в отравлении Скопина. Затем Государь сказал Пушкину: «Ржевский — герой; он пожертвовал собственною жизнью для Ляпунова, хотя ненавидел его, но он считал его нужным для отечества; вот тебе еще тема для трагедии». Потом Государь говорил о Петре I, выражая сожаление, что он сохранил крепостное право, существовавшее тогда в Германии, откуда Петр Великий позаимствовал много хорошего и много дурного. Когда Петр Великий советовался с Лейбницем, составлявшим «табель о рангах», этот великий философ ни одним словом не высказался против крепостного права. Императрица Екатерина советовалась с другим философом, Дидро, написавшим проект конституции и воспоминания. По мнению Государя, Екатерина II сделала крупную ошибку, закрепостив крестьян в Украйне. Государь кончил словами: «Философы не научат царствовать. Моя бабка была умнее этих краснобаев в тех случаях, когда она слушалась своего сердца и здравого смысла, но в те времена все ловились на их фразы. Они советовали ей освободить крестьян без наделов; это — безумие».

Пушкин был на седьмом небе, что случайно утром встретил Государя в Летнем саду. Он шел вдоль Фонтанки между Петровским дворцом и Цепным мостом. Увидев Пушкина, Государь подозвал его и сказал: «Поговорим!» В саду никого не было. В разговоре Его Величество сказал ему: «Ты знаешь, что я всегда гуляю рано утром и здесь ты меня часто будешь встречать, — но это между нами». Пушкин понял и после этого встречал Государя несколько раз (все случайно). Вернувшись домой, он записывал их разговоры. Пушкин считал долгом чести доложить об этом Государю и обещал перед смертью сжечь эти заметки. Государь ответил: «Ты умрешь после меня, ты молод, но во всяком случае благодарю тебя. Про наши беседы говори только с людьми верными, напр., с Жуковским. Иначе скажут, что ты хочешь влезть ко мне в доверие, что ты ищешь милостей и хочешь интриговать, а это тебе повредит. Я знаю, что у тебя намерения хорошие, но у тебя есть недоброжелатели. Всех тех, с кем я разговариваю и кого отличаю, считают интриганами. Мне известно все, что говорят». Пушкин разрешил мне записать все, что он мне рассказал, прося никому об этом не говорить, кроме Жуковского, которому он сам все передал. Я знаю, что при дворе и в свете много завистников, я, конечно, буду молчать обо всем, что Пушкин рассказывает мне про свои встречи с Его Величеством...

Публикацию подготовил А. КАНДАЛОВ



МЕРЕЖКОВСКИЙ Дмитрий Сергеевич, русский писатель, философ, литературовед, публицист, родился 2 (14) августа 1866 года в Петербурге, в семье дворцового чиновника. Окончил историко-филологический факультет столичного университета. Уже с пятнадцати лет Мережковский помещает в разных изданиях стихи, проникнутые пессимизмом и мистикой, мотивами обреченности, тоски. Рано начал выступать в качестве переводчика (Софокл, Еврипид, Эсхил...) и критика (этюды о Пушкине, Достоевском, Гончарове, Майкове, Короленко, Кальдероне, Ибсене...).

С конца 88-х годов Мережковский увлекается идеями символизма и ницшеанского отношения к искусству, как к чему-то, что «по ту сторону добра и зла». Книга «О причинах упадка и о новых течениях русской литературы» — программный документ русского декаданса, утверждающий символизм и мистически-утонченное искусство.

В начале 1908-х годов Мережковский становится одним из вождей так называемого «богоискательства» и «неохристианства», основав (вместе с З. Гиппиус, Д. Философовым и др.) общество «Религиозно-философские собрания» и его орган, журнал «Новый путь» (где сотрудничали Блок и Белый), ведущий борьбу с реализмом в искусстве.

Творчество писателей Мережковский трактует преимущественно в религиозно-идеалистическом духе. Так, в исследовании «Л. Толстой и Достоевский» Мережковский предрекает появление нового Пушкина, задачей которого будет, согласно теории о дуализме христианства, синтез художественных открытий Толстого («провидца плоти») и Достоевского («провидца духа»)...

В романах и пьесах Мережковского исторические события также получают религиозно-мистическое толкование. Самое известное его сочинение — историческая трилогия «Христос и Антихрист» — объединена идеей вечной борьбы христианства и язычества, обостряющейся в кульминационных точках развития истории.

В период Первой русской революции 1985—1907 годов Мережковский, отрицая самодержавие, звал революционеров отбросить социальные задачи и превратиться в «воинов духа». Вплоть до Великой Октябрьской социалистической революции Мережковский выступает против революционного движения. Революция видится ему в образе «грядущего хама», серости, мещанства.

В 1920 году Мережковский эмигрировал. Скончался 9 декабря 1941 года в Париже.

Дмитрий МЕРЕЖКОВСКИЙ

ПОСЛЕДНЯЯ ТИШИНА СЕРДЦА

I

«Пушкин есть явление чрезвычайное, — пишет Гоголь в 1832 году, — и, может быть, единственное явление русского духа: это русский человек в его развитии, в каком он, может быть, явится через двести лет. В нем русская природа, русская душа, русский язык, русский характер отразились в той же чистоте, в такой очищенной красоте, в какой отражается ландшафт на выпуклой поверхности оптического стекла». В другом месте Гоголь замечает: «в последнее время набрался он много русской жизни и говорил обо всем так метко и умно, что хоть записывай всякое слово: оно стоило его лучших стихов; но еще замечательнее было то, что строилось внутри самой души его и готовилось осветить перед ним еще больше жизнь».

Император Николай Павлович в 1826 году, после первого свидания с Пушкиным, которому было тогда 27 лет, сказал гр. Блудову: «Сегодня утром я беседовал с самым замечательным человеком в России». Впечатление огромной умственной силы Пушкин, по-видимому, производил на всех, кто с ним встречался и способен был его понять. Французский посол Барант, человек умный и образованный, один из постоянных собеседников кружка А. О. Смирновой, говорил о Пушкине не иначе, как с благоговением, утверждая, что он — «великий мыслитель», что «он мыслит, как опытный государственный муж». Так же относились к нему и лучшие русские люди, современники его: Гоголь, кн. Вяземский, Плетнев, Жуковский. Однажды, встретив у Смирновой Гоголя, который с жадностью слушал разговор Пушкина и от времени до времени заносил слышанное в карманную книжку, Жуковский сказал: «Ты записываешь, что говорит Пушкин. И прекрасно делаешь. Попроси Александру Осиповну показать тебе ее заметки, потому что каждое слово Пушкина драгоценно. Когда ему было

Отрывок из книги «Вечные спутники. Пушкин». — С.-Пб., 3-е изд., 1906.

восемнадцать лет, он думал, как тридцатилетний человек: ум его созрел гораздо раньше, чем его характер. Это часто поражало нас с Вяземским, когда он был еще в лицее».

Впечатление ума, дивного по ясности и простоте, более того — впечатление истинной мудрости производит и образ Пушкина, нарисованный в «Записках» Смирновой. Современное русское общество не оценило книги, которая во всякой другой литературе составила бы эпоху. Это непонимание объясняется и общими причинами: первородным грехом русской критики — ее культурной неотзывчивостью, и частными — тем упадком художественного вкуса, эстетического и философского образования, который, начиная с 60-х годов, продолжается доныне... Одичание вкуса и мысли, продолжающееся полвека, не могло пройти даром для русской литературы. След мутной волны,.. нахлынувшей с такою силою, чувствуется и поныне... Грубоутилитарная точка зрения Писарева, в которой чувствуется смелость и раздражение дикаря перед созданьями непонятной ему культуры, теперь анахронизм: эта точка зрения заменилась более умеренною — либерально-народнической, с которой Пушкина, пожалуй, можно оправдать в недостатке политической выдержки и прямоты. Тем не менее, Писарев, как привычное тяготение и склонность ума, все еще таится в бессознательной глубине многих современных критических суждений о Пушкине. Писарев, Добролюбов, Чернышевский вошли в плоть и кровь некультурной русской критики: это — грехи ее молодости, которые нелегко прощаются. Писарев как представитель русского варварства в литературе не менее национален, чем Пушкин как представитель высшего цвета русской культуры.

Пушкин — великий мыслитель, мудрец, — с этим, кажется, согласились бы немногие даже из самых пламенных и суеверных его поклонников. Все говорят о народности, о простоте и ясности Пушкина, но до сих пор никто, кроме Достоевского, не делал даже попытки найти в поэзии Пушкина стройное миросозерцание, великую мысль. Эту сторону вежливо обходили, как бы чувствуя, что благоразумнее не говорить о ней, что так выгоднее для самого Пушкина. Его не сравнивают ни со Львом Толстым, ни с Достоевским: ведь те — пророки, учителя или хотят быть учителями, а Пушкин только поэт, только художник. В глубине почти всех русских суждений о Пушкине, даже самых благоговейных, лежит заранее составленное и только из уважения к великому поэту не высказываемое убеждение в некотором легкомыслии и легковесности пушкинской поэзии, побеждающей отнюдь не силою мысли, а прелестью формы. В сравнении с музою Льва Толстого, суровою, тяжко-скорбною, вопиющею о смерти, о вечности, — легкая, светлая муза Пушкина, эта резвая «шалунья», — «вакханочка», как он сам ее называл, — кажется такою немудрою, твкою несерьезною. Кто бы мог сказать, что она мудрее мудрых?

Вот почему не поверили Смирновой. Пушкин, подобно Гете, рассуждающий о мировой поэзии, о философии, о религии, о судьбах России, о прошлом и будущем человечества, — это было так ново, так странно и чуждо заранее составленному мнению, что книгу Смирновой постарались не понять, стали замалчивать, или, по обычаю русской журналистики, которая мало выиграла со времен Булгарина, непристойно вышучивали, выискивали в ней ошибок, придирались к мелким неточностям, чтобы доказать, что собеседница Пушкина не заслуживает доверия, а ее отношение к Николаю I сочли неблаговидным с либеральной точки зрения. Сделать это было тем легче, что русское общество до сих пор не имеет своего мнения о книгах и ходит на помочах у критики. Еще раз, через 60 лет после смерти, великий поэт оказался не по плечу своей родине, еще раз восторжествовал дух Булгарина, дух Писарева, ибо оба эти духа родственнее друг другу, чем обыкновенно думают.

Но книга Смирновой имеет свое будущее: в беседах с лучшими людьми века Пушкин недаром бросает семена неосуществленной русской культуры. Когда наступит не академический и не лицемерный возврат к Пушкину, когда у нас явится, наконец, критика, т. е. культурное самосознание народа, соответствующее величию нашей поэзии, — «Записки» Смирновой будут оценены и поняты, как живые заветы величайшего из русских людей будущего русскому просвещению.

Историческое значение этой книги заключается в том, что воспроизводимый ею образ Пушкина-мыслителя как нельзя более соответствует образу, который таится в необъясненной глубине законченных созданий поэта и отрывков, намеков, заметок, писем, дневников. Для внимательного исследователя неразрывная связь и даже совпадение этих двух образов есть неопровержимое доказательство истинности пушкинского духа в «Записках» Смирновой, каковы бы ни были их внешние промахи и неточности. Пушкин и здесь, и там — и в своих произведениях и у Смирновой, — один человек, не только в главных чертах, но и в мелких подробностях, в неуловимых оттенках личности. Нередко Пушкин у Смирновой объясняет мысль, на которую намекал в недоконченной заметке своих дневников, и, наоборот — мысль, которая брошена мимоходом в беседе со Смирновой, становится ясной только в связи с некоторыми рукописными набросками и заметками. Смирнова открывает нам глаза на Пушкина, разоблачает в нем то, что мы, так сказать, видя — не видели, слыша — не слышали. Перед нами возникает не только живой Пушкин, каким мы его знаем, но и Пушкин будущего, Пушкин недовершенных замыслов, — такой, каким мы его предчувствуем по гениальным откровениям и намекам. Делается понятным, откуда и куда он шел, открывается высшая ступень просветления, которой он не достиг, но уже достигал. Еще шаг, еще усилие — и Пушкин поднял и вынес бы русскую поэзию, русскую культуру на мировую высоту. В это мгновение завеса падает, голос поэта умолкает навеки, и в сущности вся последующая история русской литературы есть история довольно робкой и малодушной борьбы за пушкинскую культуру с нахлынувшею волною демократического варварства, история могущественного, но одностороннего воплощения его идеалов, медленного угасания, падения, смерти Пушкина в русской литературе.

Трудность обнаружить миросозерцание Пушкина заключается в том, что нет одного, главного произведения, в котором поэт сосредоточил бы свой гений, сказал миру все, что имел сказать, как Данте — в «Божественной комедии», как Гете — в «Фаусте». Наиболее совершенные создания Пушкина не дают полной меры его силе: внимательный исследователь отходит от них с убеждением, что поэт выше своих созданий. Подобно Петру Великому, с которым он чувствовал глубокую связь, Пушкин был не столько совершителем, сколько начинателем русского просвещения. В самых разнообразных областях закладывает он фундаменты будущих зданий, пролагает дороги, рубит просеки. Роман, повесть, лирика, поэма, драма — всюду он из первых или первый, одинокий или единственный. Ему так много надо совершить, что он торопится, переходит от замысла к замыслу, покидает недоконченными величайшие создания. «Медный всадник», «Русалка», «Галуб», «Драматические сцены» — только гениальные наброски. «Евгений Онегин» обрывается — и заключительные стихи недаром полны предчувствием безвременного конца,

Блажен, кто праздник жизни рано
Оставил, не допив до дна
Бокала полного вина,
Кто не дочел ее романа,
И вдруг умел расстаться с ним,
Как я с Онегиным моим.

Перед смертью Пушкин хотел вернуться к «Онегину» — не потому, чтобы этого требовал сюжет поэмы, но он чувствовал, что слишком многое оставалось невысказанным. Иногда, несколькими строками чернового наброска, намекает он на целую неведомую сторону души своей, на целый мир, ушедший с ним навеки. Пушкин — не Байрон, которому достаточно 25 лет, чтобы прожить человеческую жизнь и дойти до пределов бытия, Пушкин — Гете, спокойно и величественно развивающийся, медленно зреющий; Гете, который умер бы в 37 лет, оставив миру «Вертера» и несвязанные отрывки первой части Фауста. Вся поэзия Пушкина — такие отрывки, membra disjecta, разбросанные гармоническне члены, обломки мира, создатель которого умер.

Теперь стою я, как ваятель
В своей великой мастерской.
Передо мной — как исполины,
Недовершенные мечты!
Как мрамор, ждут они единой
Для жизни творческой черты...
Простите ж, пышные мечтанья!
Осуществить я вас не мог!..
О, умираю я, как бог
Средь начатого мирозданья!

Смерть Пушкина — не простая случайность. Драма с женою, очаровательною Nathalie, и ее милыми родственниками — не что иное, как в усиленном виде драма всей его жизни: борьба гения с варварским отечеством. Пуля Дантеса только довершила то, к чему постепенно и неминуемо вела Пушкина русская действительность. Он погиб, потому что ему некуда было дальше идти, некуда расти. С каждым шагом вперед к просветлению, возвращаясь к сердцу народа, все более отрывался он от так называемого «интеллигентного» общества, становился все более одиноким и враждебным тогдашнему среднему русскому человеку. Для него Пушкин весь был непонятен, чужд, даже страшен, казался «кромешником», как он сам себя называл с горькой иронией. Кто знает? — если бы не защита государя, может быть, судьба его была бы еще более печальной. Во всяком случае, преждевременная гибель — только последнее звено роковой цепи, начало которой надо искать гораздо глубже, в первой молодости поэта.

Когда читаешь жизнеописание Гете, убеждаешься, что подобное творчество есть взаимодействие народа и гения. Здесь сказалась возвышенная черта германского народа: умение чтить великого, лелеять и беречь его, уравнивать ему все пути. Пушкина Россия сделала величайшим из русских людей, но не вынесла на мировую высоту, не отвоевала ему места рядом с Гете, Шекспиром, Данте, Гомером — места, на которое он имеет право по внутреннему значению своей поэзии. Может быть, во всей русской истории нет более горестной и знаменательной трагедии, чем жизнь и смерть Пушкина.

Политические увлечения его были поверхностны. Впоследствии он искренне каялся в них, как в заблуждениях молодости. В самом деле, Пушкин менее всего был рожден политическим бойцом и проповедником. Он дорожил свободою, как внутреннею стихиею, необходимою для развития гения. Тем не менее, в страшных испытанных им гонениях, поэт имел случай познать меру того варварства, с которым ему суждено было бороться всю жизнь. Летом 1824 года Пушкин пишет из Одессы, в порыве отчаяния: «Я устал подчиняться хорошему или дурному пищеварению того или другого начальника; мне надоело видеть, что на моей родине обращаются со мною менее уважительно, нежели с любым английским балбесом, приезжающим предъявлять нам свою пошлость, неразборчивость и свое бормотание». В черновом наброске письма из ссылки к императору Александру Благословенному, письма, написанного в середине 1825 года и не отосланного, Пушкин объясняет государю: «В 1820 году разнесся слух, будто я был отвезен в канцелярию и высечен. Слух был общим и до меня дошел до последнего. Я увидал себя опозоренным перед светом. На меня нашло отчаяние, я метался в стороны, мне было 20 лет. Я соображал, не следует ли мне прибегнуть к самоубийству... Я решился высказывать столько негодования и наглости в своих речах и своих писаниях, чтобы наконец власть вынуждена была обращаться со мною, как с преступником. Я жаждал Сибири или крепости, как восстановления чести».

«На меня и суда нет. Я hors de loi, — пишет он Жуковскому осенью 24-го года из Михайловского. — Шутка эта (столкновение поэта с отцом) пахнет каторгой... Спаси меня хоть крепостью, хоть Соловецким монастырем».

Сохранилась официальная бумага Пушкина к псковскому губернатору, генералу фон Адеркас: «Решаюсь для спокойствия моего отца и своего собственного просить его императорское величество, да соизволит меня перевести в одну из своих крепостей. Ожидаю сей последней милости от ходатайства вашего превосходительства».

В самом деле, Пушкин находился на краю гибели.

Было бы совершенно несправедливо на основании этих данных делать из него политического страдальца, тайного революционера. Многое в тогдашних увлечениях его и крайностях следует приписать юношеской силе воображения, необузданной страстности темперамента. Но, с другой стороны, нельзя сказать, чтобы русская действительность встретила величайшего из русских людей приветливо. Вот кстати из биографии поэта одна подробность, которая может казаться мелочной, но ведь из таких ничтожных культурных подробностей слагается та окружающая среда, в которой гений растет или погибает. У Пушкина была болезнь сердца; следовало сделать операцию. Он молил, как милости, позволения уехать за границу. Ему отказали, предоставив лечиться у В. Всеволодова — автора «Сокращенной патологии скотоврачебной науки» — «очень искусного по ветеринарной части и известного в ученом свете по своей книге о лечении лошадей», — замечает Пушкин. Представьте себе Гете, которому пришлось бы лечиться от аневризмы у ветеринара.

Из первой борьбы с русским варварством поэт вышел победителем. В романтических скитаниях по степям Бессарабии, по Кавказу и Тавриде находит он новые неведомые звуки на своей лире. Теперь он чувствует жажду беспредельной внутренней свободы, которую противополагает пустоте и ничтожеству всех внешних политических форм:

Зависеть от властей, зависеть от народа —
Не все ли нам равно? Бог с ними!.. Никому
Отчета не давать; себе лишь самому
Служить и угождать; для власти, для ливреи
Не гнуть ни совести, ни помыслов, ни шеи;
По прихоти своей скитаться здесь и там,
Дивясь божественным природы красотам,
И пред созданьями искусств и вдохновенья
Безмолвно утопать в восторгах умиленья —
Вот счастье! Вот права!

Потребность этой «высшей свободы» привела Пушкина ко второму столкновению с русским варварством, менее страстному и бурному, чем его политические увлечения, но более глубокому и безысходному, — столкновению, которое было главною внутреннею причиною его преждевременной гибели. Многозначительны в устах Пушкина следующие слова, даже если они вырвались в минуту необдуманного раздражения: «Я конечно презираю отечество мое с головы до ног, но мне досадно, если иностранец разделяет со мной это чувство» (письмо к Вяземскому из Пскова, 1826).

А вот другое, более хладнокровное, но не менее безотрадное суждение об условиях русской культуры. Эти строки, прямо идущие от сердца, пишет он о своем друге Баратынском, хотя невольно чувствуется, что Пушкин говорит здесь и о себе самом: «Поэт отделяется от них (от читателей) и мало-помалу уединяется совершенно. Он творит для себя, и если изредка еще обнародывает свои произведения, то встречает холодность, невнимание, и находит отголосок своим звукам только в сердцах некоторых поклонников поэзии, как он, уединенных в свете». Пушкин отмечает отсутствие критики и общего мнения у русской публики: «У нас литература не есть потребность народная. Писатели получают известность посторонними обстоятельствами, публика мало ими занимается; класс писателей ограничен, и им управляют журналы, которые судят о литературе, как о политической экономии, о политической экономии, как о музыке, т. е. наобум, понаслышке, без всяких основательных правил и сведений, а большею частью по личным расчетам... Правда, что довольно легко презирать ребяческую злость и площадные насмешки, — тем не менее их приговоры имеют решительное влияние».

Лучшим показателем той культурной атмосферы, в которой приходилось действовать Пушкину, может служить его отношение к типическому представителю русской пошлости в журналистике, Булгарину. Поэт пишет Плетневу о «Повестях Белкина», которые считает более благоразумным печатать анонимно: «под моим именем нельзя будет, ибо Булгарин заругает. И так русская словесность головою выдана Булгарину и Гречу!» По поводу неуспеха романа Булгарина «Выжигин» поэт восклицает с недоумением: «Выжигин приплыл и в Москву, где, кажется, приняли его довольно сухо. Что за дьявольщина? Неужели мы вразумили публику? Или сама догадалась, голубушка? А кажется, Булгарин так для нее создан, а она для него, что им вместе жить, вместе и умирать».

Борьба приняла особенно мучительные формы, когда дух пошлости вошел в его собственный дом в лице родственников жены. У Наталии Гончаровой была наружность Мадонны Перуджино и душа, созданная, чтобы услаждать долю петербургского чиновника тридцатых годов. Пушкин чувствовал, что приближается к развязке, к последнему действию трагедии.

«Nathalie неохотно читает все, что он пишет, — замечает А. О. Смирнова. — Семья ее так мало способна ценить Пушкина, что несколько более довольна с тех пор, как государь сделал его историографом Империи и в особенности камерюнкером. Они воображают, что это дало ему положение. Этот взгляд на вещи заставляет Искру (Пушкина) скрежетать зубами и в то же время забавляет его. Ему говорили в семье же-

ны: «Наконец-то вы, как все! У вас есть официальное положение, впоследствии вы будете камергером, так как государь к вам благоволит».

Незадолго перед смертью он говорил Смирновой, собиравшейся за границу: «Увезите меня в одном из ваших чемоданов, ваш же боярин Николай меня соблазняет. Не далее как вчера он советовал мне поговорить с Государем, сообщить ему о всех моих невзгодах, просить заграничного отпуска. Но все семейство поднимет гвалт. Я смотрю на Неву и мне безумно хочется доплыть до Кронштадта, вскарабкаться на пароход... Если бы я это сделал, что бы сказали? Сказали бы: он корчит из себя Байрона. Мне кажется, что мне сильнее хочется уехать очень, очень далеко, чем в ранней молодости, когда я просидел два года в Михайловском, один на один с Ариной, вместо всякого общества. Впрочем, у меня есть предчувствия, я думаю, что уже недолго проживу. Со времени кончины моей матери я много думаю о смерти, я уже в первой молодости много думал о ней».

19 октября 1836 года, придя на свой последний лицейский праздник, Пушкин извинился, что не докончил обычного годового стихотворения и сам начал читать его:

Была пора: наш праздник молодой
Сиял, шумел и розами венчался,
И с песнями бокалов звон мешался,
И тесною сидели мы толпой.
Тогда, душой беспечные невежды,
Мы жили все и легче, и смелей,
Мы пили все за здравие надежды
И юности, и всех ее затей.
Теперь не то...

Он не кончил — слезы полились из глаз его, и стихи были дочитаны одним из товарищей. Те, кто могут себе представить его необычайную бодрость, ясность духа, никогда не изменявшую ему жизнерадостность, должны понять, что значат эти предсмертные слезы Пушкина.

Народ и гений так связаны, что из одного и того же свойства народа проистекает и слабость и сила производимого им гения. Низкий уровень русской культуры — причина недовершенности пушкинской поэзии — в то же время благоприятствует той особенности его поэтического темперамента, которая делает русского поэта в известном отношении единственным даже среди величайших мировых поэтов. Эта особенность — простота.

Высокая степень культуры может быть опасной для источников поэтического чувства, удаляя нас от того ночного, бессознательного и непроизвольного, во что погружены, чем питаются корни всякого творчества. Музы любят утренние сумерки, подстерегают первое пробуждение народов к сознательной жизни. Для возникновения великого искусства необходима некоторая свежесть и первобытность впечатлений, молодость, даже детскость народного гения.

Пушкин — поэт такого народа, только что проснувшегося от варварства, но уже чуткого, жадного ко всем формам культуры, несомненно предназначенного к участию в мировой жизни духа.

Гете чувствовал потребность освободиться от всех искажающих призм, от тысячелетней пыли человеческой культуры, вернуться к первобытной ясности созерцания. Вот почему старался он приблизиться к простоте древних греков; конечно, это — чистейшая призма, но все-таки — призма.

Пушкин — единственный из новых мировых поэтов — ясен, как древние эллины, оставаясь сыном своего века. В этом отношении он едва ли не выше Гете, хотя не должно забывать, что Пушкину приходилось сбрасывать с плеч гораздо более легкое бремя культуры, чем германскому поэту.

«Сочинения Пушкина, — говорит Гоголь, — где дышит у него русская природа, так же тихи и беспорывны, как русская природа. Их только может совершенно понимать тот, чья душа так нежно организована и развилась в чувствах, что способна понять неблестящие с виду русские песни и русский дух; потому что чем предмет обыкновеннее, тем выше нужно быть поэту, чтобы извлечь из него необыкновенное и чтобы это необыкновенное было, между прочим, совершенная истина».

Встает заря во мгле холодной;
На нивах шум работ умолк;
С своей волчихою голодной
Выходит на дорогу волк;
Его почуя, конь дорожный
Храпит — и путник осторожный
Несется в гору во весь дух;
На утренней заре пастух
Не гонит уж коров из хлева,
И в час полуденный в кружок
Их не зовет его рожок;
В избушке распевая, дева
Прядет, и зимних друг ночей,
Трещит лучинка перед ней.

С такою именно простотою описывает Гомер картины эллинской жизни, также не заботясь о прекрасном, — рассказывая, как его герои едят, спят, умываются, как царская дочь Навзикая полощет белье на речке, — и все выходит прекрасным, как из рук Творца. Не все ли равно: унылые и устные зимние пейзажи русской деревни или цветущие острова Ионического моря? — оба художника смотрят на мир детскими, полными любопытства глазами. Для них нет нашего разделения на прозу и поэзию, на будни и праздники, на красивое и некрасивое. Все прекрасно, все необычайно: земля и небо как будто только что созданы. И легкие узоры мороза на стеклах, и веселые сороки на дворе, и горы, устланные блистательным ковром зимы, и крестьянская лошадка, плетущаяся рысью, и ямщик в тулупе, и мальчик, посадивший Жучку в салазки, — все это дает ощущение такой свежести, такой радости, какие бывают только в первоначальном детстве. В поэзии Пушкина и Гомера чувствуется спокойствие природы. Здесь и вдохновение — не восторг, а последнее безмолвие страсти, последняя тишина сердца. Пушкин, как мыслитель, хорошо сознавал эту необходимость спокойствия во всяком творчестве, и эти слова, в которых он противополагает вдохновение восторгу, может быть, дают ключ к самому сердцу его музы: «Критик смешивает вдохновение с восторгом. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений и соображению понятий, следственно и объяснению оных. Вдохновение нужно в геометрии, как и в поэзии. Восторг исключает спокойствие, необходимое условие прекрасного. Восторг не предполагает силы ума, располагающего частями в отношении к целому. Восторг непродолжителен, непостоянен, следовательно, не в силах произвести истинное, великое совершенство. Гомер неизмеримо выше Пиндара. Ода стоит на низших ступенях творчества. Она исключает постоянный труд, без коего нет истинно великого».

В XIX веке, накануне шопенгауэровского пессимизма, проповеди усталости и буддийского отречения от жизни, Пушкин в своей простоте — явление единственное, почти невероятное. В наступающих сумерках, когда лучшими людьми века овладевает ужас перед будущим и смертельная скорбь, Пушкин один преодолевает дисгармонию Байрона, достигает самообладания, вдохновения без восторга и веселья в мудрости — этого последнего дара богов.

Что смолкнул веселия глас?
Раздайтесь, вакхальны припевы!..

. . . .

Ты, солнце святое, гори!
Как эта лампада бледнеет
Пред ясным восходом зари,
Так ложная мудрость мерцает и тлеет
Пред солнцем бессмертным ума.
Да здравствует солнце, да скроется тьма!

Вот мудрость Пушкина. Это — не аскетическое самоистязание, жажда мученичества, во что бы то ни стало, как у Достоевского; не покаянный плач о грехах перед вечностью, как у Льва Толстого; не художественный нигилизм и нирвана в красоте, как у Тургенева; это — заздравная песня Вакху во славу жизни, вечное солнце, золотая мера вещей — красота. Русская литература, которая и в действительности вытекает из Пушкина и сознательно считает его своим родоначальником, изменила главному его завету: «да здравствует солнце, да скроется тьма!» Как это странно! Начатая самым светлым, самым жизнерадостным из новых гениев, русская поэзия сделалась поэзией мрака, самоистязания, жалости, страха смерти. Шестидесяти лет не прошло со дня кончины Пушкина — и все изменилось. Безнадежный мистицизм Лермонтова и Гоголя; самоуглубление Достоевского, похожее на бездонный, черный колодезь; бегство Тургенева от ужаса смерти в жалость — только ряд ступеней, по которым мы сходили все ниже и ниже, в «страну тени смертной».

Таким он был и в жизни: простой, веселый, менее всего походивший на сурового проповедника или философа, — этот беспечный арзамасский «Сверчок», «Искра», — маленький, подвижный, с безукоризненным изяществом манер и сдержанностью светского человека, с негритянским профилем, с голубыми глазами, которые сразу меняли цвет, становились темными и глубокими в минуты вдохновенья. Таким описывает его Смирнова. Тихие беседы Пушкин любит обрывать смехом, неожиданною шуткою, эпиграммою. Между двумя разговорами об истории, религии, философии все члены маленького избранного общества веселятся, устраивают импровизированный маскарад, бегают, шалят, смеются, как дети. И самый резвый из них, зачинщик самых веселых школьнических шалостей — Пушкин. Он всех заражает смехом. «В тот вечер, — записывает однажды Смирнова, — Сверчок (т. е. Пушкин) так смеялся, что Марья Савельевна, разливая чай, объявила ему, что когда будет умирать — для храбрости пошлет за ним».

В нем нет и следа литературного педантизма и тщеславия, которым страдают иногда и очень сильные таланты. Пушкин всегда недоволен своими произведениями: он признается Смирновой, что всего прекраснее ему кажутся те стихи, которые случается видеть во сне и которых невозможно запомнить. Он работает над формой, гранит ее, как драгоценный камень. Но, когда стихотворение кончено, не придает ему особенной важности, мало заботится о том, что скажут оценщики. Искусство для него — вечная игра. Он лелеет неуловимые звуки — не писанные строки. Поверхностным людям, привыкшим воображать себе гения в торжественном ореоле, такое отношение к искусству кажется легкомысленным. Но людей, знающих ум и сердце Пушкина, эта детская простота очаровывает. «Пушкин прочитал нам стихи, — говорит Смирнова, — которые я и передам Государю, когда они будут переписаны, а пока он кругом нарисовал чертиков и карикатурные портреты. Я никого не встречала, кто бы придавал себе меньшее значение. Он напишет образцовое произведение, а на полях нарисует чертенка и собственную карикатуру в виде негра в память предка Ганнибала».

Этою веселостью проникнуты и сказки, подслушанные поэтом у старой няни Арины, и письма к жене, и эпиграммы, и послания к друзьям, и «Евгений Онегин». Некоторые критики считали величайший из русских романов подражанием байронову «Дон-Жуану». Несмотря на внешнее сходство формы, я не знаю произведений более отличных друг от друга по духу. Веселая мудрость Пушкина не имеет ничего общего с едкою иронией Байрона. Веселость Пушкина — лучезарная, играющая, как пена волн, из которых вышла Афродита. В сравнении с ним, все другие поэты кажутся тяжкими и мрачными — он один, светлый и легкий, почти не касаясь земли, скользит по ней, как эллинский бог...

Цена всякой человеческой мудрости испытывается на отношении к смерти...

Пушкин говорит о смерти спокойно, как люди, близкие к природе, как древние эллины и те русские мужики, бесстрашью которых Толстой завидует. «Прав судьбы закон. Все благо: бдения и сна приходит час определенный. Благословен и день забот, благословен и тьмы приход».

«Я много думаю о смерти», — признается он Смирновой. Об этом же говорится в одном из лучших его стихотворений:

День каждый, каждую годину
Привык я думой провожать,
Грядущей смерти годовщину
Меж них стараясь угадать...

Он не жертвует для смерти ничем живым. Он любит красоту, и сама смерть пленяет его «красою тихою, блистающей смиренно», как осени «унылая пора, очей очарованье». Он любит молодость, и молодость для него торжествует над смертью:

Здравствуй, племя
Младое, незнакомое... Не я
Увижу твой могучий поздний возраст,
Когда перерастешь моих знакомцев
И старую главу их заслонишь...

Он любит славу, и слава не кажется ему суетной даже перед безмолвием вечности:

Без неприметного следа
Мне было б грустно мир оставить.
Живу, пишу не для похвал,
Но я бы кажется желал
Печальный жребий свой прославить,
Чтоб обо мне, как верный друг,
Напомнил хоть единый звук.

Он любит родную землю:

И хоть бесчувственному телу
Равно повсюду истлевать,
Но ближе к милому пределу
Мне все б хотелось почивать.

Он любит страдания, и в этом его любовь к жизни достигает последнего предела:

Но не хочу, о други, умирать:
Я жить хочу, чтобы мыслить и страдать.

Среди скорбящих, бьющих себя в грудь, проклинающих, дрожащих перед смертью, как будто из другого мира, из другого века, доносится к нам божественное дыхание пушкинского героизма и веселия:

И пусть у гробового входа
Младая будет жизнь играть,
И равнодушная природа
Красою вечною сиять.

Если предвестники будущего Возрождения не обманывают нас, то человеческий дух от старой, плачущей, перейдет к этой новой мудрости, ясности и простоте, завещанным искусству Гете и Пушкиным.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ Д. МЕРЕЖКОВСКОГО

Поэзия: «Стихотворения. 1883—1887» (1988), «Символы» (1892). «Собрвние стихов» (1904); проза: «Христос и Аитихрист», ч. 1—3 (1895—1905), «Александр I», кн. 1—2 (1911—1912), «14 декабря» (1918), «Рождение богов. Тутвихамон на Крите» (1925), «Наполеон», т. 1—2 (1929), «Данте» (1939); пьесы: «Маков цвет» (изд. 1908; в соавт. с З. Гиппиус, Д. Философовым), «Павел I» (1908), «Романтики (1917), «Царевич Алексей» (1920); критика и публицистика: «О причинах упадка и о новых течениях современной русской литературы» (1893), «Вечные спутники. Портреты из всемирной литературы» (1897), «Л. Толстой и Достоевский», т. 1—2 (1901—1902), «Гоголь и черт», «Пророк русской революции. К юбилею Достоевского» (обе — 1906), «Грядущий хам» (1906), «В тихом омуте», «Не мир, но меч» (обе — 1908), «М. Ю. Лермонтов. Поэт сверхчеловечества» (1909), «Больная Россия» (1910), «Было и будет. Дневник 1910—1914» (1915), «Заветы Белинского» (1915), «Две тайны русской поэзии. Некрасов и Тютчев» (1915), «Будет радость» (1916), «Невоенный дневник. 1914—1916» (1917); полное собрание сочинений, т. 1—24 (1914).

Составила Ольга ПАВЛОВА


ФОТО П. КРИВЦОВА

ГОРЧАКОВА Эльвира Ивановна родилась в Ленинграде. Окончила филологический факультет Ленинградского университета. Вся последующая жизнь связана с журналистикой. Работала в ленинградской молодежной газете «Смена», затем была собственным корреспондентом газеты «Советская Россия». В настоящее время — собственный корреспондент газеты «Советская культура» — также в Ленинграде. Главный творческий интерес Эльвиры Ивановны Горчаковой лежит в русле истории родного города, сегодняшнего состояния русской культуры, особенно изобразительного искусства, архитектуры и музейного дела.

Эльвира ГОРЧАКОВА

ЧАС ВЕЧНОСТИ

...«Сходство портрета с подлинником поразительно, хотя нам кажется, что художник не мог совершенно охватить быстроты взгляда и живого выражения лица поэта. Впрочем, физиономия Пушкина, столь определенная, выразительная, что всякий хороший живописец может схватить ее, вместе с тем и так изменчива, зыбка, что трудно предположить, чтобы один портрет Пушкина мог дать о ней истинное понятие».

Так в майской книжке журнала «Московский телеграф» за 1827 год приветствовался портрет Пушкина работы уже знаменитейшего в ту пору Тропинина.

Пока, впрочем, оставались на земле люди, видевшие живого Пушкина, любое изображение поэта, будь то живописный портрет Кипренского или карандашный Вивьена, которые и самому Пушкину нравились, признавалось несовершенным. Потом современников не осталось, но осталось убеждение: лицо Пушкина живо в такой гармонии с вечным движением мысли, что любое, самое прекрасное, отдельно взятое мгновение этого движения — лишь полуправда о поэте. Прекрасно, что самый суровый приговор, даже вынесенный на века вперед, не всегда состоятелен. В каждом поколении находились не один, не двое, кто, читая оставленные Пушкиным строки, открыл созвучное себе, своему мировосприятию, своему сердцу. И на бумаге, на холсте, в камне, в бронзе рождался новый Пушкин.

Впрочем, время и в этом процессе не было категорией безучастной. Век 19-й, при всей своей послепушкинской продолжительности, все-таки воспринимал Пушкина, как участника живого литературного движения, как одного из поэтов. Помимо дошедших до нас, в большей или меньшей мере обдуманных, взвешенных мнений, ставших достоянием писем, мемуаров, журнальных и газетных публикаций, была еще и молва. Мнение света. Всесильное и непостоянное, оно вершило из пушкинского имени кумира на час и в следующий час ниспровергало.

Лишь один из современников, поэт и философ, назвал его «солнцем русской поэзии». Другим предстояло медленно, упорно и кропотливо эту мысль в сознании огромного народа утвердить. Российский художник 19-го века, каждый — от Тропинина до Опекушина — зачарованный стихом, судьбой, обликом Пушкина, вновь и вновь ставил одну задачу: утвердить величие и избранность Пушкина, его статус классика, его духовное первородство. Когда в конце века в первопрестольной на Тверском бульваре встал бронзовый Пушкин, исполненный Александром Михайловичем Опекушиным в благородной, традиционной эллинской манере, век 19-й мог считать свой долг исполненным, он возвел Пушкина на пьедестал. К тому времени даже неграмотная Россия не только вносила медяки на сооружение памятника, но вместе с былиной и сказкой передавала из уст в уста: «Буря мглою небо кроет, вихри снежные крутя...» К тому времени упрямец Достоевский склонил непокорную голову перед Пушкиным — своим учителем и духовным поводырем.

ФОТО П. КРИВЦОВА

Веку двадцатому уже не нужно было обдумывать форму пьедестала. Пушкин вошел в него явлением — всеобъемлющим, безбрежным и мятежным. В этом океане мыслей, чувств и звуков оказалось не так-то просто определиться. Постепенно, сначала дерзко, потом закономерно стало складываться понятие «Мой Пушкин». Мой — ранее неугаданный, непознанный, неоткрытый. Мой — и тем интересен миру.

Начинал эту традицию в 30-х годах К. С. Петров-Водкин своим пушкинским портретом. Потом были послевоенные дерзкие поиски и работы А. И. Лактионова, долгие месяцы прожившего в Пушкиногорье.

Но все же новая страница ленинградской Пушкинианы начинается, пожалуй, с памятника поэту на площади Искусств. И для многих мастеров нашего времени час собственной вечности пробил у пушкинского родника. Все они стали большими художниками. Ибо благодатен родник.

Рассказ о первом из них мне хотелось бы начать с пожелтевших страниц журнала «Юный художник», с номера задолго довоенного. В обзоре с выставки детского и юношеского творчества — тачанки и красные конники. В названиях «Атака», «Буденный». Суровые лица, сомкнутые губы, сведенные брови. И среди них — один миг тишины, гипсовая фигура ребенка с книгой. И подпись: «Мальчик читает маме стихи. Миша Аникушин. г. Москва».

Куда ускакали конники с той выставки, Миша Аникушин, должно быть, не знал. Он знал, что любит стихи, и любит маму, у мамы такое светлое лицо, когда она слушает, как он читает стихи... Вот он и вылепил мамино счастье.

Ту гипсовую фигурку лобастого мальчика с четким жестом очень бы хотелось сегодня посчитать автопортретом. Но это не так. А вот выраженным, конечно же, интуитивно,

творческим кредо посчитать можно. Только свое, только пережитое и выстраданное, ставшее смыслом жизни и состоянием души, может лечь в основу творчества.

Быть ровесником Октября — сегодня это кажется особым знаком судьбы. Но никому в мире не дано выбрать час своего появления на земле. Вот и тогда рассветал над Россией второй день месяца октября, стояла ясная, хрустальная, багряная пушкинская пора, а нарастающий шквал недельней уже революции сообщал и людскому состоянию, и самому воздуху весеннюю грозовую свежесть.

Второго октября 1917 года в семье московского паркетчика Константина Аникушина родился сын. Он будет бегать в школу, и на станцию юных техников на Житной, и в Дом пионеров на Полянке. Он будет учиться во Всероссийской академии художеств в Ленинграде, а повзрослев, измерит долгие версты войны не только ногами, но и сердцем. Он обретет удивительную способность вспоминать каждый прожитый день, как чудо. А у чудес, в которые верят, есть редкое умение возрождаться все в новом и новом обличье. И как не вспомнить судьбу, если через годы Михаил Аникушин поразит нас бронзовым дерзким, победным ленинским жестом, соединит воедино порыв к подаигу и смертную усталость защитников Отечества, а в изобразительной Пушкиниане составит целую эпоху...

Неоднократно обращаясь к Пушкину, обладая знаниями о творчестве и судьбе поэта огромными, сделавшими бы честь любому из ученых-пушкинистов, Аникушин всякий раз, сказав о Пушкине очень много, умел сказать только свое.

Таким именно явился Пушкин и 19 июня 1957 года, когда на площади Искусств в Ленинграде был открыт новый памятник поэту работы Михаила Константиновича Аникушина.

В год объявления конкурса на этот памятник — 1949-й — Аникушину было 32 года. Благодатнейший возраст, когда уже отлетело мальчишество, талант и мастерство набрали силу, а смелость еще не осенена крылом осторожности. Аникушин был уже знаменит, правда, весьма своеобразно. Участвовал в конкурсе на памятник Низами для Баку и победил. Но памятник поставили по другому проекту. Лучшим был признан и его Чайковский, но до памятника тоже не дошло. И вот теперь — Пушкин. Ленинград. Площадь Искусств — ансамбль, доведенный до совершенства гением великого Росси.

Первый вариант памятника Аникушин сделал за месяц. Второй, казалось, окончательный — за год. Потом работал еще семь лет, нарывался на неприятности, но упорно отодвигал сроки. Предстояло войти со своим Пушкиным в ансамбль площади и не нарушить ее совершенной гармонии. Предстояло создать памятник, в котором каждый узнал бы и принял сердцем Пушкина.

Сегодня никто из нас, ни сам художник не объяснит, как рождался Пушкин для площади Искусств. Есть тайна творчества. Труд же художника назывался не иначе, как подвигом во имя русской культуры.

В ту пору мы, студенты-филологи, только начинали свой университетский курс. Нам представлялась особенной наша причастность к литературе, и каждый вечер по пути из «публички» мы сворачивали с Невского к Пушкину. Ленинградский вечер июня — понятие весьма условное. Вечер светел, как день, и ночи — белые. Мы с этого и начинали:

И, не пуская тьму ночную
На золотые небеса,
Одна заря сменить другую
Спешит, дав ночи полчаса.

Пушкин слушал нас с лицом спокойным и счастливым. Но вот начиналось другое:

Мечты кипят;
В уме, подавленном тоской,
Теснится тяжких дум избыток;
Воспоминание безмолвно предо мной
Свой длинный развевает свиток...

Бронзовое чело Пушкина сразу становилось строже и старше, и рука, только что изящная, невесомая, обретала нервическую силу. Мы застывали, потрясенные, открывая для себя удивительного собеседника. Он стал нашим надежным поводырем в великом лабиринте своей поэзии.

Время отсчитывало, не пропустив ни одного, годы и годы. И только бронзовый Пушкин на площади Искусств, всегда изменчивый, всегда новый, как неиссякаемый поток гения, и сегодня молод и щедр. Просто держит в своей руке руку новой юности.

Немного найдется на земле пушкинистов, кто знал бы Пушкина так, как знает его Аникушин. Хотя Пушкин никогда не был единственной ни художнической, ни человеческой его любовью. Просто серьезная, на долгие годы встреча с Пушкиным, пришлась на тот возраст, когда случайное опадает, и только настоящее, сильное идет в рост. Сначала не Аникушин лепил Пушкина, сначала Пушкин создавал Аникушина. То, что в неторопливом общении поведал поэт о человеке, о России, о призвании художника, было так огромно, страстно, справедливо, что не могло не стать для Аникушина частью собственного «я».

Немного проку в подобных предположениях, и все же предположить можно со стопроцентной долей вероятия: сосредоточься тогда Аникушин только на Пушкине, и это была бы работа на всю жизнь, и это была бы достойная работа. Но он ушел от Пушкина сразу после триумфа 1957-го, принесшего ему высшее признание — звание лауреата Ленинской премии. Ушел в мир других страстей, других характеров, в другое свое время.

По трудам его, вдохновенным и увлекательным, это было не менее напряженное и плодотворное время. Он создал в эти годы памятник Владимиру Ильичу Ленину в Ленинграде. Необычный памятник, вызвавший много острых разговоров. Но, несомненно, занявший в нашей величественной Лениниане свое, классическое место.

На эти годы падает и многолетняя трудоемкая и в высшей степени ответственная для бывшего фронтовика работа по созданию мемориала, посвященного Великой Отечественной войне, на площади Победы в Ленинграде. Казалось бы, это заняло его целиком, все его творческие, духовные и физические силы. Но это лишь казалось ему к всем в его окружении. Пушкин не оставлял художника, он оставался его тайной, глубокой думой...

Аникушин не стремился, не желал мерить своих современников мерой пушкинского провидения. Так получалось — всякий русский характер хоть в чем-то непременно восходил к пушкинскому истоку. И, заслоняя собою скорую заботу нынешнего дня, ложились на рабочий стол письма к Чаадаеву, история Пугачева... Чего только не оставил Пушкин грядущей России! «...Исполнен долг, завещанный от бога мне, грешному...» Потому она так проста, математически кратка, эта итоговая формула жизни, что проверена собственной судьбой. Нечеловечески огромное, непосильно прекрасное вложил он в свои короткие тридцать семь лет.

Через четверть века, через громкий успех и совсем непростое, неоднозначное самоосознание завершенного у Михаила Константиновича Аникушина вызрела необходимость еще раз вернуться к Пушкину.

Этот Пушкин от Черной речки неотделим. Этот Пушкин последнего часа окинул взором свершенное и понял, что он для России. Только ни возгордиться, ни прошептать то, былое, ликующее «ай да Пушкин!» земного времени уже не осталось... Никогда ранее не видели мы пушкинского лица такой совершенной красоты. Никогда ранее не было оно таким русским. Чуть кудрявятся меховые отвороты шинели, чуть выпуклы пуговицы сюртука. Уже истонченные, на грани небытия, скрещенные кисти рук. Потом другие повернут эти недвижные кисти в последнем жесте, прощальном. Вот и весь фон, на котором живет пушкинское лицо — прекрасное, как наша память о нем, вопрошающе-строгое, как духовное начало в сокровенной глубине каждого из нас.

Пушкин последнего часа стоит на станции метро «Черная речка», в круговерти почти нескончаемого людского движения. Так было задумано. В скором шаге счастливой жизненной поры встреть, человек, испытующий взгляд Пушкина и постарайся не отвести взгляд — этот час никого не минует, подумай сегодня, с чем ты к нему придешь...

Говорят, все совершенное нами на земле по достоинству и по правде оценят только потомки. И чем больше ты успел, тем больший срок отмерен тебе для высшего суда и окончательного приговора. «Лицом к лицу лица не увидать...»

Продолжение на с. 41.



К. С. Петров-Водкин.
«Пушкин на набережной Невы». 1934 г.



**А. И. Лактионов.
«Пушкин на траве». 1949 г.**



Е. Е. Моисеенко. «Пушкин».







А. П. Никитин. Иллюстрации к «Пиковой даме».
Рига, «Лиесма». 1988 г.



В. М. Звонцов. «Свиристели». 1975 г.



А. А. Мыльников. «Сон».



Б. С. Угаров. «Пушкин».

Продолжение. Начало на с. 28

ЧАС ВЕЧНОСТИ

И все же, кажется, должны мы сегодня сказать Михаилу Константиновичу, что такого проникновения в духовный, творческий, личностный мир Пушкина наша культура до него не знала. Что живет среди нас огромный художник Аникушин, и дар его по-пушкински светел.

В отличие от Аникушина, Александр Дмитриевич Романычев впрямую к пушкинской теме обратился только однажды. Его интерес, его чувство к Пушкину — не результат избирательности, воспитания или образования на особый лад. Для него Пушкин — это Россия, это земля Поволжья, это песни деревни Горенки, это память — своя ли, от дедов ли, прадедов пришедшая по нити преданий или с током крови... Однажды было сказано, что русский человек с любовью к Пушкину рождается. Для Романычева это утверждение справедливо, ибо он воспринял ее просто и естественно, как весь зримый мир, как часть этого мира.

Если бы на листе его судьбы были написаны только Пушкин да песни волгарей... На самом деле лист тот от самого краешка был изрисован удушливым дымом революционных пожарищ, опустошенных голодом деревень, черным горем великой войны. Впрочем, судьбину военную он выбрал сам. Окончил училище, стал морским летчиком. Горел в самолете, с трудом дотягивал до берега, прыгал, в госпиталях трудно, подолгу возвращался к жизни, чтобы снова гореть и прыгать...

А вот судьба художника выстраивалась внешне легко и благополучно. Годы военного опоздания одолел рывком; мастерство, прочное имя, звания, награды — ничто больше не опоздало. Его пейзажи красивы и просторны, в них — живой ветер и мартовская остуженность травы, и алый зной июльских цветов, и обильная, сочная желтизна сентября. В его портретах пространство вокруг человека прописано так подробно, фактурно, так осязаемо, будто сознательно уводит от вопрошающей тревоги взгляда. В его больших композициях — предельно простая жизнь, в которой хватало и бессмысленной работы, и тяжелой памяти. Он писал разных людей, разные лики жизни и земли. Общее одно — все они написаны мужественным человеком, умеющим одолеть себя и обстоятельства, могущим вопреки хаосу равнодушия утверждать гармонию мироздания.

Лишь в годы недавние, когда старые раны стали новой нескончаемой болью, он позволил себе доверить холсту открытое настежь сердце. И появилась картина «Крыльцо»: покосившиеся ступени, заколоченная накрест дверь, у порога шинель да вещмешок — нет горше беды на свете, чем из пекла вернуться к дому, которого нет...

И появилась картина «Отец и мать. 1918 год». Для хорошей жизни вдоволь на их лицах стойкости и терпения, скромности и красоты. А чем она одарила их, жизнь? Быстро ушедшим ощущением молодости и здоровья да белым мигом свадебной безоглядности...

Тогда же пришел Пушкин. Осень 1836 года. Новой осени уже не будет. «Насколько трудны были последние годы для поэта, не догадывались даже самые близкие его друзья. И все же он жил полнокровно и творчески, жадно ценя каждый миг бытия, не подчиняясь обстоятельствам, а преодолевая их, веря в свою счастливую звезду, в свой побеждающий творческий дар. Стоит хоть в чем-то упростить реальную жизнь поэта, мы неизбежно принизим силу его духа», — так совсем недавно писал ученый секретарь Всесоюзной пушкинской комиссии С. А. Фомичев. «Поэты умирали в России и прежде, но до сих пор их уход из жизни воспринимался в русле представлений о жизни и смерти человека вообще. Пушкинская кончина оказалась несводимой к семейно-биографическим, хронологическим и конкретно-историческим аспектам. Свидетелям этой гибели — не обывателям, а людям возвышенно-поэтического строя души, смерть поэта предстала в ореоле его поэтических пророчеств, предвидений, предсказаний. Она сразу же была прочитана в категориях поэтики», — таково утверждение сотрудника Всесоюзного музея Пушкина Э. С. Лебедевой. И хотя на любой здравый взгляд жизнь всегда серьезней, доказательней и трагичней любых мистических построений, спор о финале пушкинской жизни ведется всерьез. Ведется сегодня.

Александр Дмитриевич Романычев вряд ли в курсе этой полемики. Он просто много раз прочитал Пушкина. В минуту жизни трудную, дабы укрепиться в мужестве, он оглянулся в поисках надежной духовной опоры и пришел к Пушкину. Как невыносима жизнь, как неизбывна боль в светлом взоре поэта. Но можно упасть на землю и устремить взгляд в небо. Будет сухо шелестеть пожухлая трава, будет зеленеть молодой ельник и пятно брошенной крылатки спорить голубизной с небесами. «Печаль моя светла». Несмотря ни на что — светла. Меж землей и небом, пред лицом вечности можно признаться, какую тяжкую земную ношу нес на плечах, как много в этой жизни высветил, облагородил, утвердил и спас! И не органикой на поле новой жизни, но светом разума, памятью сердца, силою духа отзовется в грядущем. Светла печаль, даже если новой осени уже не будет...

В научном пушкиноведении, в художественной Пушкиниане есть особая глава. Она называется «Поэт и город». Именно так, кратко и лаконично, без объяснений и имен собственных. Они не нужны. В жизни поэта, в судьбе поэта, в душе поэта был один город — Санкт-Петербург.

По своей ли воле, по монаршей Пушкин объехал пол-России: Москва, земли псковские и нижегородские, Украина, Молдавия, Крым, Кавказ, Казань, Оренбург, Уральск... Но не было другого места на земле, с которым бы связывало Пушкина такое живое, такое личное чувство. Петербург был его домом, его семьей, его заздравной песней и — он знал это — грядущей памятью. Всю жизнь он любил Петербург по-юношески пылко, открыто и так же открыто ненавидел. Он поминал его в своих молитвах и проклятьях, мечтал бежать прочь, а когда изгоняли, тосковал до отчаянья, до бешенства. Стихии Петербурга, природные и людские — они сначала стали чертами пушкинского характера и уж потом — строчками на бумаге. Он был везде — Пушкин, но только в Петербурге — просто поэт, без прилагательных и непрочных ореолов, вечный, как сам город, как державное течение Невы.

Как непросто они складывались — отношения поэта и города... Будто сквозь ветер шел он парадом улиц, паркетом залов — мимо глаз насмешливых, сердец лукавых, неискренних речей. Но сострадание, любовь, веру в себя, большую, чем собственная, находил здесь же. Впрочем, нигде больше и не искал. Писал стремительным пером строки, открывающие творческую душу этого города, поверх строк рисовал дорогие лица друзей и лики города, как символ дружбы.

Ни одного поэта до Пушкина и только одного после этот город поставил вровень с собой. Поэта нездешней красоты и фамилии, который не вмещался ни в реальное величие города, ни в мятеж и страсть собственной души, и столько угадал, выдумал, предчувствовал в облике города и в своей судьбе. Но даже он, Александр Блок, свою столицу основал на островах, встал вровень с Петроградом, ибо в центре всех ветров, судеб и мнений Петербурга навсегда остался только Пушкин...

Есть два времени в состоянии этого города, которые с легкого пушкинского слова мы считаем истинно поэтическими, даже если никогда не увидели, не ощутили их наяву.

Удивителен, призрачен и прозрачен свет белых ночей. Город овеян этим светом, как легендой, абрис города в эту пору даже непосвященным представляется старинной гравюрой, потерявшей от времени резкость цвета, но не утратившей четкости штриха.

И есть время другое, когда врывается в просторы города стонущий шквальный ветер ноября. Роковой ветер Балтики — он гонит вспять тяжелую свинцовую воды Невы, и она встает над гранитным глянцем города, как вздыбленный конь...

Какой же час для встречи с Пушкиным избирает художник-ленинградец? Художник, выученный, воспитаный и обласканный этим городом, таким непостоянным в своей любви к щедрости. Художник даровитый, тонко чувствующий не только свет и цвет, но и ветер времени. Речь о художнике известном — Борисе Сергеевиче Угарове. Его всегда алекли героические страницы русской истории, узловые, пе-

реломные ее вехи — восстания Разина и Пугачева, события Октября и Великой Отечественной, судьба советской деревни, цена хлеба насущного. В разработке художником народных национальных характеров очевидна прямая преемственность традиций русской классики.

Речь о человеке известном. Он много лет возглавлял ленинградскую организацию Союза художников РСФСР, был ректором института имени И. Е. Репина, сейчас — президент Академии художеств СССР. Такой послужной для художника список сегодня нежных чувств не вызывает. Но даже сегодня, обретя стойкий вкус к ниспровержению, полезно не забывать правду: Угаров оставил по себе в Ленинграде добрую память. Ему доверяли художники, его любили студенты. Он обладает характером, легким на отзыв, на порыв. А что касается соотнесенности намерений и заблуждений, в том, если по совести, еще не скоро сочтемся.

Но одну страницу биографии художника хочу здесь напомнить. Он ушел на войну совсем молодым, он прошел ее солдатом. На войне, как на войне: в воде и в земле по горло, где пешком, где по-пластунски. Много грохота, много боли, мало тишины и вовсе нет покоя. Но вместе с автоматом, солдатским пайком и связкой писем из дома, всю войну носил он с собой книжку о творчестве Валентина Серова. Он читал эту книгу перед боем и после боя, а если совсем не было сил — поудобнее устраивал ее под головой. В ней была репродуцирована не только дивная серовская живопись. Здесь была война, в книжке — жизнь...

Так какой час для встречи с Пушкиным выбрал Борис Сергеевич Угаров? Когда бушует над городом разлив осенних стихий, на одном из бесчисленных петербургских мостов появляется фигура юноши-поэта. Ветер рвет крылатку, и она горбится за спиной надежным парусом. Что ж, самое время для прогулок. Еще равнодушен к юноше Зимний, еще не прозревает своей судьбы дом Волконских на ближней Мойке, еще крепость, к которой он так неосмотрительно повернулся спиной, не низводит его имя до своих постыдных протоколов. Но юноша — уже Пушкин. Уже доподлинно известно ему:

Есть упоение в бою,
И бездны мрачной на краю,
И в разъяренном океане
Средь грозных волн
и бурной тьмы,
И в аравийском урагане,
И в дуновении чумы.

Он неосмотрителен в юности и поплатится за это горько — наказание многократно превысит преступление. С годами станет тверже, строже. Но не остудит упоения боем ни ветер, вечно встречный, ни неотступный взор самодержца, ни выстрел последнего пистолета...

Нам бы пушкинскую гармонию упоенности и ума! Сегодня бы...

Есть еще одно место на русской земле, обладающее для ленинградских художников особой притягательной силой. Оно связано с Ленинградом старинным почтовым трактом. «Есть на свете город Луга...» — и лежит он на старой псковской дороге. Есть деревенька Выра, некогда известная как станция на тракте. Дом пушкинского станционного смотрителя Самсона Вырина, почта, каретный сарай и конюшня ныне восстановлены и стали единственным в своем роде музеем литературного героя.

Дорога ведет через Гатчину, Лугу и Псков — в Святые горы, в Михайловское. Много раз в ту и другую сторону проехал по ней Пушкин. И его последняя дорога, непокойной февральской ночью 1837-го, прямо от Конюшенной церкви пролегла сюда, в псковскую отчизну, в Святые горы.

Этот путь приводит сюда ленинградских художников поколение за поколением.

В жизни человеческой нет ни лет, ни людей, ни мест, проходящих бесследно. Все имеет смысл и значение, все ложится на душу, вот только скажется — когда? Народный художник РСФСР Василий Михайлович Звонцов родился в деревне Вахонькино во глубине Кадуйских лесов на Вологодчине. Среднюю школу окончил в Череповце, Академию художеств — в Ленинграде. Простор русского поля, величавое спокойствие северного леса, простая краса топором рубленного, временем крашенного деревенского дома, равно как и парадная стройность колоннад над невским разливом, не могли не стать в его творчестве постоянным, задушевным мотивом. Но главное свое обрел он по собственной воле. Без малого сорок лет ежегодно наезжает он в Михайловское.

Звонцова можно бы назвать летописцем этого края — любая примета обновления здесь становится известна нам прежде всего по его рисункам и офортам. До 200 он ежегодно их печатает только затем, чтобы подарить гостям июньского праздника поэзии в Михайловском. Его можно бы назвать летописцем, но без тени объективизма и бесстрастия.

— Без Пушкиногорья я бы художником не стал, — говорит Василий Михайлович убежденно и изумленно одновременно, словно он, мудрый, добрый, талантливый человек, до сих пор не может понять, что же произошло с ним на этой земле.

В самом деле, что? Ведь он приехал сюда впервые умелым мастером, человеком с душой, уже окрепшей в чистоте помыслов, действий, желаний. Но произошло то, что бывает только раз в жизни, и то не с каждым из нас: упругая ветвь рябины, тронутая тихим ветром, вдруг зазвенела хрустально, тонко... Истаял звон, отлетел в вышину, в глубину небес. Но — странно, странно — перенесенная на бумагу рябиновая ветвь мелодии той хрустальной не утратила...

Снег на офортах Звонцова упруг и рассыпчат. Он искрится голубым ярким светом — до ломоты в глазах. И солнечный луч у Звонцова — теплый, цветной. А ведь только два цвета в графике, точнее — только один, черный на белой бумаге. Даже в его рисунках — китайской тушью, карандашом, углем — только черный цвет, оттенки черного на белом. Лишь иногда он подцвечивает карандаш акварелью, но и это лишь намек на цвет — чуть голубой, чуть сиреневый в самой глубине. Такое простое искусство, такое удивительно простое, что хочется написать это определение с большой буквы.

Вот только для того чтобы стать кровной родней лесу и полю в высокой простоте взаимопонимания с ними, жизнь предстояло прожить неизбранническую. После ускоренных командирских курсов он начал войну лейтенантом под Великими Луками, закончил подполковником, кавалером шести боевых орденов в Берлине. Навсегда мерой сущего стала для него высота 178,3, где оставил он половину своего первого взвода...

Война сообщила его душе удивительную спокойную прозорливость. Он стал студентом-первокурсником в 29 лет. Короткого, быстрого пути в искусстве у него не было. Короткий путь частых проб и неизбежных ошибок для него был слишком долог. Оставался только путь дотошного, а значит, неспешного выбора и постижения мастерства. Он еще не знал, что дважды ему предстоит новая разлука с искусством: четыре года он будет секретарем райкома партии, четыре года — главным редактором издательства «Аврора». Магическая для него цифра четыре — вместе с войной двенадцать лет... Но он твердо знал главное: жизнь уводит только в жизнь, и ничего при этом у человека не крадет, напротив, многим дарит.

Он выбрал графику. В графике — технику офорта. Но прежде чем понять, что лучшие стороны этой техники всего полнее выявляются в работе травленым штрихом и сухой иглой, он постиг все существующие манеры офорта. Постиг настолько, что написал учебник «Офорт» (вместе с В. И. Шистко), а потом еще книгу «Основы понимания графики».

Он в совершенстве владеет карандашом и углем не только для эскизов, набросков, но и для создания завершенных станковых произведений.

Пожалуй, единственный из наших художников, он постоянно работает китайской тушью — техника сложнейшая, исключающая предварительный эскиз, построенная на точном расчете, куда и насколько расплывается каждая ее капля, положенная на бумагу.

Он выбрал пейзаж. Но, прежде чем выбрать, не оставил в срединной России ни одного дерева, куста, которые бы не зарисовал десятки раз. Вот такому себе, совершенно владеющему техникой, с памятью, в которой отложилось все великолепное разнообразие природы, он позволил сочинять.

У Звонцова никогда не было и нет больших пространств. А в малых — мир удивительно подробен: серебристый пух вербы, белый цвет шиповника, белый снег. Но как бы ни был мал уголок жизни на его листах, в нем звучит вечная музыка родной земли. Та музыка, что звучала под легким пером Пушкина, под чуткими пальцами Рахманинова, что витала над каждым замыслом Кипренского или Серова.

Вообще во всем, не только в искусстве, но и в манере жить, мыслить, даже в характере, Звонцов последовательно, естественно, даже, можно сказать, в удовольствие традиционен. Он верен пейзажу. Не за эффектность его, не за очевидную красоту. За то, что способен пробуждать в человеке высокое и сильное чувство, — это достоинство и привилегия прежде всего русской пейзажной школы.

Его филигранно тонкий штрих заставляет вспомнить всех, кого исконно звали на Руси мастерами: златокузнецов, умельцев эмалевой росписи, резчиков по бересте.

Он сам готовит краски для офортов, уголь из разных пород дерева, рамы для окантовки готовых листов, со своим печатным станком обращается, как мастеровой-виртуоз. Сам облик его мастерской выдает в нем человека деревенского — уважающего неспешную добротность труда и светлую опрятность жилища.

У дружбы его с людьми есть только начало, она измеряется десятилетиями. И даже в отношениях простого знакомства, если возникло душевное согласие, он навсегда умеет сохранить тепло и обязательность.

Василий Михайлович иллюстрировал все издания книги С. С. Гейченко «У Лукоморья», многие книги пушкинских стихов и прозы. Недавно в «Детской литературе» вышла книга о Пушкиногорье, где рисунки китайской тушью Звонцова и акварели Вадима Смирнова соседствуют только с пушкинскими стихами об этой земле.

Звонцов удивительно бережно, ничего не придумывая, воспроизводит реалии псковского края, с первого взгляда узнаваемы в его работах не только зримые черты, но и вечное поэтическое состояние этого уголка нашей земли.

Сегодня мы все и очень ясно и очень горько осознаем, как трудно вернуть природу человеку. Еще труднее вернуть человека природе. А жизнь человеческая в сути своей и сегодня проста: земля и вода, воздух и огонь — основа всему.

Так трагически, так надрывно громок сегодняшний мир. Песня Звонцова в нем — не громче свирели, тростниковой самодельной дудочки в чутких руках, но она выводит свою мелодию о подлинных обретениях и утратах. И потому слышна.

Рядом с именем Василия Михайловича Звонцова мне хотелось бы поставить еще одно имя — непохожее, своеобычное и заслуженно громкое, имя Андрея Андреевича Мыльникова.

Суть не в том, что они друзья и единомышленники, что их дружеское согласие и духовное единство проверено сроком в четыре десятилетия. У Мыльникова та же поэтическая родина, тот же, от пушкинского корня, творческий стержень, та же устремленность к совершенству.

Из ныне здравствующих, ныне творящих художников к Мыльникову более всех, по первородной основе своей, относится звание живописец. Живое письмо. Неспешное и тонкое. В нем нет первых задач, нет вторых. Все одинаково важно — мысль, свет, колорит, поверхность готового полотна...

Классическая чистота живописи Мыльникова, ее совершенная выписанность производят впечатление удивительное, заставляют думать о возможности невероятного: затворничества в тиши мастерской, неспешных, по душе, поездок на этюды, свободы не только внутренней, но и внешней. Всего этого в жизни Мыльникова были крохи, а часто и вовсе не было. Была наша жизнь, на душу художника она ложилась бременем усугубленно угрюмым. Он все-таки остался самим собой, он все-таки свершил свое. И чего это стоило, знает только он сам.

Бурная событийность нашего века, его эмоциональная несдержанность очевидны сегодня каждому, кто хотя бы раз в год дает себе труд поразмышлять. Мыльников — очень точно, очень реально мыслящий человек, философ по душевному складу. К тому же учитель — не педагог, не руководитель творческой мастерской, именно учитель, и потому с веком разминуться не мог.

Когда появилось его большое полотно «Прощание», оно по инерции было воспринято, как еще одна иллюстрация к нашей военной истории. Талантливая, художественно совершенная страница войны. Но полотно это много выше запечатленного на нем события. Именно прощание стало символом нашего века, его трагедии, его ненормальности. Особенно на нашей земле, где прощались не только вынужденно, чаще добровольно, под звуки бравого туша и песню, беззаботную, как ласточкина трель. Прощание раскололо мир не только на живых и мертвых. На живых и живых — чужих. Мать и сын, сестра и брат в прощании обретали одинаковую неприкаянность и безродность.

Что спасет этот мир от дурного энтузиазма, от разобщенности, отчужденности от памяти, от земли, от голоса крови?.. Политик говорит — революция, философ утверждает — новые законы общественного развития, художник вторит Достоевскому — красота.

Всмотритесь внимательно в женские портреты Мыльникова — они пришли к нам по светлому пути традиции непосредственно от Коровина, от Серова. Эта женщина земная, желанная, грешная. Но ее не остановишь на улице, не возьмешь без разрешения за руку, не скажешь — пошли, что ли,— подавишься этим словом. Она неотделима от белой сирени, от воздуха белой ночи, от убеждения, что жизнь — это любовь...

Давайте остановимся перед натюрмортами Мыльникова. Они поражают особой, даже для Мыльникова, отделанностью, предметы сопоставлены в безукоризненной гармонии. Светло без солнца, просторно без воздуха — прекрасный, застывший, бестрепетный мир, мертвая природа — для Мыльникова этим все сказано.

И такая живая, светлая, неповторимая в красоте природа его пейзажа! Единственность ракурса, избранность момента, когда особо расцвечен воздух и все живое дышит и радуется. Пейзажу Мыльникова необходима тяжелая, рукодельная золоченая рама, ибо драгоценен миг запечатленной жизни, и в равной мере драгоценно мастерство.

Недавно в Ленинграде и Москве проходила персональная выставка Мыльникова, приуроченная к 70-летию художника. Она дала возможность увидеть сразу почти всего Мыльникова, подивиться не только великолепию, но огромности созданного художником. Она и огорчила — сознанием того, как мало знаем мы даже о таком большом, единственном в своем роде мастере. Возможность заглянуть в его творческую лабораторию, возможность скромную, мы получили впервые. И убедились еще раз, как долог путь к совершенству, сколько в нем, помимо мастерства и вдохновения, просто труда, просто ежедневной работы.

Сколько раз писал Мыльников озеро Маленец? И не счесть. На рассвете, в солнце дня и в призраке наступающей ночи. Приближался к берегу — вода занимала почти все пространство холста. И удалялся от берега — оставалась лишь водная полоса, а берег оживал травой, стогом, человеком. Они все хороши, пейзажи Маленца, в каждом, помимо земли и воды, есть еще и состояние поэтическое, пушкинское. И все они несравнимы с единственным образом этого озера в картинах «Сон» и «Тишина». Торжественная, спокойная, усталая водная гладь несет небесный свет с таким достоинством и степенством, словно уверена: небо может померкнуть, но этот свет старинной бронзы, отсвечивающей теплым, живым зеленым, уйдет в водную глубину и оттуда сам по себе будет светить берегу, человеку, далеким звездам на черных небесах. Почему-то вспомнились на выставке страницы пушкинских рукописей. Их-то мы помним в лицо — мучительный, каторжный путь к легкому звону стиха. Ни для одного истинно творческого человека другого пути нет.

Андрей Андреевич много жил в Пушкиногорье, много писал эти края. Собранные воедино, они слагаются в стройную поэму и не противоречат, напротив, подчеркивают неизбывность памяти, нерастраченные нашей землей желание и силу творить красоту, созидать добро.

Явление общее, естественное и закономерное: человек, всерьез обдумывающий жизнь, жаждущий своего полезного и достойного участия в ней, не может разминуться с Пушкиным. Более того, встреча эта лежит на столбовой дороге развития собственной судьбы, ибо Пушкин — это не только поэзия и, тем более, не только история. В нем — абсолютная чистота звучания характера, гения и устремления народного. Художник же, чуткий к голосу времени, к набату гражданской страсти в душе человеческой, не раз и не два пройдет по пушкинской колее.

Народный художник СССР, лауреат Ленинской премии Евсей Евсеевич Моисеенко вошел в советскую живопись стремительным полетом красной конницы. Сначала мы ахнули перед тревожным щемящим покоем его «Черешни», потом — перед смертной усталостью его «Победы». Все было непривычно, неожиданно. Мощная, строгая и сдержанная манера письма, именно сдержанная, как сдержанно до поры бушую-

щее море огня в чреве мартена. Сознательная неподробность мира — всегда лишь один его срез, один ракурс — во имя точности мысли, предельной ясности, напряженности чувства. Даже мир детства — мотив в творчестве художника чистый, возвращающийся через годы — вдумчив и непокоен, словно уже начертаны для этих мальчиков бури грядущей судьбы. Даже пейзаж — к нему Моисеенко обращается редко — напоен глубокой и долгой думой о вековечной власти родного края над сердцем, памятью, жизненным выбором человека.

При всей мужественной немногословности мир, созданный художником, ясен и предельно откровенен, распахнут. Это мир борьбы, тревоги, высокой жертвенности и страстного, песенного, выстраданного счастья. Все краски этого мира однажды, погожей порой ранней осени, сошлись на давнем российском проселке.

...Нет, она еще не багряна, еще не горяча золотом под росной стынью, эта осень. Ее жаркий разлив — впереди. Не ветер, не непогода — кружит в воздухе палый лист. Пожалуй, не кружит, лишь под действием собственной малой тяжести медленно и неловко близится он к земле. Пустынно поле, безбрежно небо, размерен бег коня и, кажется, что безмятежен всадник. Пушкинский характерный профиль, устремленный вдаль задумчивый взор. «Нет счастья на земле, но есть покой и воля...» Есть, есть... Волен сегодня конь в выборе пути и волен в полете мысли путник. Хрустальная тишина сосредоточена перед последним всплеском земной красы. Тишина сплетается с думой поэта, пленит грудь естественной своей недосказанностью, заставляет найти слова и высказаться за нее...

Небольшое полотно художник назвал «Пушкин». Но это не облик поэта. Не страница его жизни. Не иллюстрация к строкам, даже к тем, что первыми приходят на память. Это зримый образ поэзии, ее портретная суть. Явление в живописи редкое, редчайшее. У Моисеенко мы встретимся с этим еще однажды: под каменными сводами одного из домов Толедо вдруг лицом к лицу окажемся с буйным, нервным, страстным гением Эль-Греко...

Однако пойдем дальше по пушкинской тропе. По аллее Михайловского, ведущей к дому. Место узнаваемо с первого взгляда особой старью стволов в лучах заходящего солнца, пологой луговиной у Сороти — в просвете меж ними. А вот время... Сначала кажется, это было в поздние годы. Гостем, не изгнанником стремится он под невеселый дедовский кров. Печалью такой глубокой, такой горькой думы даже лица великих венчает только возраст. Или одиночество. Отчаянье одиночества жаждет писем и книг. Загоняет в красную рубаху, в хмельной разгул ярмарки. В легкомысленный план побега с легкомысленным Вульфом. В добровольное изгнание за границу. Нет уж, будет с него изгнания вынужденного... Одиночество ставит его один на один с Россией. Ласковый говор старой няньки, бездонная синь девичьих глаз, древняя высь Воронича... Россия стучится в его сердце громом пушек и звуком плотницкого топора. Он скажет потом, что Россия вступала в Европу подобно спущенному на воду кораблю. Впервые — не здесь ли, у порога, немилого нынче, но страстно желанного из позднего столичного блеска дедова дома — ощутил он в сердце своем могучую качку этого корабля? Не здесь ли на грядущую радость, боль и бессмертие побратался с завидным и нелегким уделом быть русским на земле...

Можно с полным правом утверждать, что Моисеенко хорошо знает и легко, глубоко чувствует пушкинскую поэзию. Есть удивительный осязаемый ритм в потоке реки, ломающем отражение деревьев, в порывах ветра, пригибающего к земле дальний лес и чуть тронувшего хрупкие ветви переднего плана, в пушкинском шаге — невесомом, почти полетном. «Ведут ко мне коня; в раздолии открытом, махая гривою, он всадника несет...» Ритмом пушкинской строфы определены и настроение и тональность небольшого полотна «Пушкин в Болдине».

В постоянстве обращения к Пушкину первично знание, чувство поэзии, желание вновь и вновь оказаться на парящей ее высоте. Лишь через годы приходит интерес к личности, осознание того, что Пушкин-человек — не меньше, не мельче поэта. И в осмыслении человека на первый план выдвигается столь дорогое для Моисеенко понятие «Подвиг».

...Поздний вечер. В тяжелый подсвечник на письменном столе недавно вставлены новые свечи. Высокие. И пламя их высоко. В этом колеблющемся неверном свете — тяжелая усталость пушкинского лица, край стола с чернильницей да рука, сжимающая перо. Замечательное лицо — губы юноши, мальчика и глаза мудреца, знающего цену неусыпным трудам. В углу стола, под левой его рукой — толстая стопа исписанных листов. В ней он возвратил к жизни великое половодье российской смуты. Их слишком много — героев, характеров, судеб. Они слишком крупны, словно созданы не пером на бумаге, а резцом из камня. Удел всякого гения — он слишком зряч. А гению 26 лет... Ночь на дворе в июльской истоме считает мгновенья сама по себе. Его глаза в полукружье глубоких теней и лицо в сером пепле усталости. Но вставлены новые свечи, и пламя их высоко:

Перед тобой не стану я лукавить,
Но знаешь ли, чем сильны мы, Басманов?
Не войском, нет, не польскою помогой,
А мнением, да! мнением народным.

Напишет и отложит перо. И заметит, что пламя свечей потускнело от близкого рассвета. И снова склонит голову над столом. Одна страница, две, три... До фразы последней, страшной в преднабатной своей немоте: «Народ безмолвствует».

После перечисленных выше, небольших по формату работ, Моисеенко долго не обращался к Пушкину. Лишь в канун своего 70-летия он обнародовал большое полотно «Памяти поэта», заставив нас надолго задуматься, вдоволь наговориться, но так и не сойтись во мнениях.

Эта картина посвящена одному из моментов из тех без малого двух суток пушкинской жизни после дуэли: смертельно раненный поэт возвращается к дому Волконских на Мойку, выбегает старый его дядька Никита Козлов, поднимает Пушкина на руки, вносит в дом. Вот этот момент — с Пушкиным на руках Никита Тимофеевич идет вверх по лестнице — сюжет картины.

Нам известны эти два дня по минутам, по жесту, по слову. Когда приехали Арендт и Даль. Что говорил Вяземский. О чем думал Жуковский, Наталья Николаевна кормит Пушкина с ложечки морошкой. Привели проститься с ним детей. Он зовет Карамзину. Он вспоминает Пущина и Малиновского. Он прощается с книгами...

Те, кто его окружают, проживают не только его, но и свою жизнь по минутам. Это самые значительные дни в жизни обыкновенного человека Данзаса. Эти дни — простое горькое горе для возвышенной и тонкой души Жуковского. Здесь нет статистов, все — действующие лица трагедии, достойной Эсхила. В письмах и воспоминаниях они напишут эту трагедию, дополняя и уточняя друг друга.

Моисеенко берет момент первый, ему и свидетелей нет. Почему?

И почему Моисеенко, один из самых больших созидателей в живописи XX века, на сей раз не заботится об оригинальности композиции? Напротив, следует почти цитатно сотни раз повторенной, канонизированной композиции библейского сюжета «Снятия с креста».

И почему Моисеенко, владеющий всеми законами и секретами света, на сей раз ослепительно освещает полотно единственной свечой, укрепленной в верхней точке под сводами? «Памяти поэта» — картина из итоговых, из последних. И как бы далеко в историю ни уходил в них Моисеенко, далеко до «Спартака», это делалось из желания о нашей жизни высказаться до конца.

Это неправда, что в великом разломе Октября и в последующие годы мы будто бы ничего не теряли, кроме своих цепей. Рвалась традиция, по причинам слишком драматичным, от родных корней отрывалась культура. Мы остались без Бунина и Куприна, без Рахманинова и Стравинского, без Бенуа и Рериха... Да что там живые носители национального гения — мы потеряли Достоевского, всю русскую философию, мы надругались над религией предков, обкорнали произвольно историю Родины... А как жить дальше, как творить разумное и доброе, на что опереться в духовном созидании?! Несытая и нетесаная, не больно грамотная Россия сделала безошибочный выбор. Переступая кровавую межу меж эпохами, она перенесла Пушкина по свою сторону баррикад. Чтобы сохранились в жизни память, и стих, и красота, и честь. Чтобы не стать населением на просторах Русской равнины. Чтобы остаться народом...

Ленинград

ТАИНСТВО ПИКОВОЙ ДАМЫ

В Риге на латышском и русском языках в конце прошлого года вышла «Пиковая дама» Пушкина. И, вроде бы обычное, издание неожиданно стало знаменито, о нем заговорили. Книга вызвала интерес своими иллюстрациями (одна из них — на нашей вкладке). Создатель их — рижский художник Артур Никитин, известный авангардист, оригинальный график и живописец.

К Пушкину, к пушкинским образам он пришел поздно. Будучи уже сложившимся мастером. И тем привлекательнее стала еще одна попытка сделать зримым то, что утверждал в своем высоком слове Пушкин.

Неоднозначен и непрост был творческий путь Никитина. Стараясь создать свой оригинальный изобразительный язык, он отработал едва ли не весь спектр художественных приемов современного авангарда. В постоянном поиске, он ищет свой стиль, хочет говорить со зрителем новым языком ассоциаций Времени компьютеров. На сегодняшний день его творчество носит по большей части экспериментальный характер. Вариации форм и антиформ в пластике, обобщение, доходящее до обнаженного состояния ассоциативного цветового пятна в живописи — таковы современные поиски художника, в которых сплелись алгебра и гармония.

И тем неожиданнее и удивительней обращение его к классике, к Пушкину.

Думается, что в творчестве каждого большого художника наступает момент обращения к истинам вечным. Но каждый приходит к ним по-своему, стараясь взглянуть на эти истины с позиций своего времени, говоря о них своим языком.

Своим языком говорит о них и Артур Никитин. Без преувеличения можно сказать, что мы стали свидетелями открытия еще одной грани на ядре чистого изумруда пушкинского художественного образа.

Однажды придя к Пушкину, каждый из нас с накоплением духовного опыта находит все новые и новые глубины в творчестве гения. Поразительно, сколько загадок, тайн и таинств, глубин чувства и бездн души оставил нам в наследие Александр Сергеевич! Рассказывать эти тайны и наслаждаться ими — счастливый удел нас, пушкинских потомков.

Ведь прикосновение к упоительной и животворящей мысли Пушкина неизбежно побуждает нас к великому труду самопознания.

Владимир ГРЕХОВ,
художник

И БОЛДИНСКИЙ ПЕЙЗАЖ

Давно сказано и много раз повторено: природа безучастна. Но тогда почему же она так дивно соединяется с человеческим сердцем, с той возвышенной страстной силой его, которую издавна называют поэзией? Почему так глубоко волнуют и заставляют трепетать душу каждого картины природы, связанные с детством, пылкой отроческой любовью, первыми прозрениями и привязанностями или с теми святынями, что могут озарить всю жизнь немеркнущим светом? Почему в соприкосновении с природой не тускнеет смысл, казалось бы, привычных и даже расхожих эпитетов «близкое», «заветное», «родное»? И почему понятие Родины сразу же и прежде всего вызывает в воображении точные картины дорогих палестин?

Именно так неразделимы для нас Пушкин и Болдино, невероятный творческий взлет великого русского поэта и окрылившая его прекрасная болдинская осень.

Свою тропу к Пушкину заслуженный художник РСФСР Дмитрий Дмитриевич Арсенин торит уже второй десяток лет, с тех пор, когда он впервые побывал в Болдине и создал там серию акварельных пейзажей. Первые работы — первое прикосновение к теме, которая настолько увлечет, что станет главной, и если не отстранит, то во всяком случае вберет в себя многое из того, над чем художник ранее работал: Арсенин известен в книжном мире как иллюстратор. Многие его работы отмечены дипломами всероссийских конкурсов.

Но болдинская осень поэта постепенно стала любимой темой художника, а лучше сказать — захватила все его существо. Начав с пейзажных работ, Арсенин вскоре почувствовал, что этот жанр сковывает его художнический поиск и не дает возможности «высказаться», передать особое очарование и одушевленность болдинской осени. Художник понял: природа в картине непременно должна быть слита с образом поэта, как бы осветиться живым присутствием необыкновенной личности и судьбы. От пейзажа художник переходит к портрету, к жанровым картинам. И везде на них — Пушкин — лиричный и насмешливый, задумчивый и оживленный. Такой разный — и такой знакомый нам — наш любимый поэт, наш современник, наш учитель.

Тонкий лиризм, романтическая приподнятость — присущи творчеству Арсенина. Его виртуозная техника, изящество линии и штрихов, скупость и точность выразительных средств отличает работы художника, посвященные Пушкину. Глядя на них, невольно удивляешься богатству возможностей графики. Листы болдинского цикла привлекают своей особой красотой и в то же время деликатной сдержанностью, задушевностью и простотой. Они, эти работы Арсенина — камерны — и в этом, быть может, их особая прелесть (см. 3-ю обложку).

Много раз Арсенин бывал в Болдине, исходил с этюдником его окрестности, познакомился со старожилами этих мест, записал их полулегенды-полубыли о том, как приезжал в Болдино поэт. Предания, хранящиеся в семье, как хранятся, порой вышивки, костюмы, альбомы с фотографиями. Слушал Арсенин и местный хор, который славится тем, что собирает и поет песни старинные — свадебные, обрядовые — фольклор села Болдино. Быть может, их, эти песни, слышал Пушкин?..

Сам Дмитрий Дмитриевич считает, что такие вот встречи на болдинской земле, «блуждания» по окрестностям, особенно осенней порой, среди рощ и холмов, дали ему, художнику, задумавшему серию работ о болдинской осени поэта, очень многое. Образ Пушкина приобрел как бы живую плоть и кровь — и это, быть может, и есть секрет того, почему работы Арсенина притягивают к себе зрителей.

Отрадно сознавать, что ни один пушкинский праздник в нашем городе не обходится без выставок произведений Арсенина. А в мастерской художника сейчас идет работа над новой серией цикла «Пушкин и декабристы». И впереди — новые поиски, новые открытия. Мы ждем их.

Валерий ШАМШУРИН,
поэт

г. Горький

ВСТРЕЧИ В МИХАЙЛОВСКОМ

Арсений ЛАРИОНОВ

ЗАПОВЕДИ БЛАЖЕНСТВА



ФОТО П. КРИВЦОВА

ОТ АВТОРА. Из довольно объемной документальной повести, посвященной михайловским встречам с Семеном Степановичем Гейченко, я выбрал лишь несколько главок из третьей части, состоящей из бесед... С Семеном Степановичем мы давние знакомцы и столь же давние друзья.

Я считал для себя долгом написать эту книгу, но сборы оказались затяжными, многолетними... Однако время не ослабило остроты впечатлений от встреч, споров, дискуссий, наоборот, в свете нынешних перемен позволило выразиться полно и откровенно.

«ДЕРЕВНЯ МОЙ КАБИНЕТ»

Цветение весны, — когда с треском развертываются клейкие лепестки на деревьях, когда звонкое многоголосье не умолкает и на час, когда легкая прохлада ночи еще в удовольствие, в радость после бурного дневного солнца, когда предвечерняя гладь разлившейся воды, кажется, охватывает целиком опрокинувшееся небо, — эти майские михайловские дни мое самое любимое время. Да и только ли мое... Покой, душевное умиротворение!..

Сколько здесь может увидеть, услышать доброхот, сколько открыть и понять своим сердцем и умом... Прекрасная пора! Напряженная, чарующая жизнь природы захватывает, возбуждает, оживляет усталую от городских забот душу.

Врачевание души, может, и есть самое необходимое в эти короткие весенние дни, когда природа на глазах обретает силу, мощь, необыкновенную красоту, притом не утратив тихого, милого обаяния, столь свойственного русскому Северу.

А еще если на эти дни проживания в Михайловском выпадут встречи и долгие разговоры в неиссякаемо щедром доме Семена Степановича, то обновленная душа, обретшая плоть и дух, щемяще живет этими днями долго, вызывая острую необходимость стойкого служения добру...

Жить возле Семена Степановича, и возле этой природы, и возле Пушкина, незримой тенью участвующего во всех совершающихся здесь делах, — это и есть заражаться жизнелюбием, трудолюбием, человеколюбием... Все тут действует на нас благотворно.

Конечно, Семен Степанович принадлежит к тем редким и немногим людям в нашей духовной сфере, которые всю жизнь боролись за духовное прозрение народа, а не оглупляли его... Он, в отличие от многих, понимал и ценил истоки национальной народной культуры и истоки высочайшего духовного взлета в литературе — Пушкина — первого гениального зиждителя этой культуры...

В начале книги я довольно подробно рассказал об этих «зауживателях» нашей культуры, о тех, кто паразитировал на спекулятивных догмах лжеполитического толка.

Это была тяжелая и длительная борьба. Но в ней прорастали семена сегодняшнего возрождения духа. Достигнутое такими подвижниками, как Семен Степанович, скрашивает добрым светом мрачные краски политического мракобесия и духовного оскудения долгих сталинских и брежневских десятилетий.

Нынче же вся жизнь в стране полнится духом новым, революционно-освежающим, созидательным. И среди этого небывалого по масштабам возрождения, переустройка экономического, социального, духовного все острее и настойчивее проявляется наша потребность в широкодоступных духовиых источниках, созданных в течение тысячелетия усилиями наших предшественников, именно здесь, в старорусских землях, ставших вдохновенной колыбелью стольких творцов.

Если назвать лишь всемирно известные — Псков, Новгород, Старая Русса, Михайловское, Болдино, Ломоносово, Ясная Поляна, Тарханы, Карабиха, Мелихово, Воткинск, Клин, Репино, Константиново, — и то ряд немалый... А ведь есть еще не менее дорогие нам места, связанные с именами Достоевского и Тургенева, Глинки и Мусоргского, Блока и Маяковского, Коненкова и Твардовского...

Многие из этих мемориальных мест вовлечены в жизнь, благоустроены и живут, обогащая нас духовно и эстетически, а что-то еще активно возрождают, восстанавливают, но что-то, и совсем немалое, ждет своего очень затянувшегося часа... Но если во все это богатство вдохнуть жизнь, равную той, что полнится в Пушкиногорье, то какой благодатный свет коснется душ и возбудит в умах возвышенную мысль о славе предков наших!

А ведь только за последние годы в нашей стране открылось около 400 музеев совершенно разных тематических направлений. Среди них и литературные, и литературно-мемориальные, и мемориальные, посвященные выдающимся деятелям русской культуры. «Возможно ли такое количество новых музеев наполнить жизнью и содержанием? Не захлестнет ли их скука и обыденщина? — с тревогой спрашиваю я у Семена Степановича, — не подведет ли торопливость?!»

— Я понимаю вашу озабоченность. Она не без оснований. И все же, не совсем ее разделяю. Каждый мемориальный музей возникает не на голом месте. Открытию его предшестаует, как правило, долгая собирательская работа «музейщиков», краеведов, энтузиастов. Иногда на это уходят десятилетия, а собрать удается самую малость... Чрезвычайно важно, чтобы сегодня мемориальный музей возникал, пока вещи еще на месте! Музей должен рождаться, когда в комнатах стоит дух ушедшего хозяина...

— Но такая ситуация идеальная и, должно быть, слишком редкая по благоприятным условиям, — настороженно замечаю я.

— И все-таки очень желаемая. Как горько, к слову сказать, что не сохранилось родовое гнездо Юрия Гагарина, откуда в безызвестности вылетел перaый, в полном смысле, земной сын... Как могли не позаботиться о гагаринском родительском доме?! А родовые гнезда великих людей, особенно гениев культуры, духовников человечества — это своеобразная купель мудрости и красоты человеческой.

Мы, к сожалению, часто об этом не задумываемся. Но как можно понять и оценить музыку Чайковского без природы Воткинска? Или Глинку — без его смоленской деревни? Пони-

мание этого привходящего мира природы не только важно, но и необходимо. Сколько я сил на это положил за свою долгую жизнь... Духовно человек растет медленно...

— А как складывалась судьба пушкинского музея в Михайловском? Ведь это был в России первый фамильный мемориальный музей?

— Судьба, прямо скажем, нелегкая, полная разного рода курьезов и нелепостей, да вы ведь знаете об этом. Только если кратко?! — отвечает мне Семен Степанович. — Мысль о создании музея возникла сразу же, в траурные дни 1837 года. Жуковский в своей петиции царю предлагал выкупить село Михайловское за счет казны и создать музей, как это было сделано в Германии после смерти Гёте или в Англии в честь Шекспира.

Надо сказать, что Николай I тогда выкупил Михайловское, но в пользу наследников Пушкина, а мысль о музее не поддержал. Лишь спустя целых шесть десятилетий поклонники Пушкина, готовясь к столетию со дня его рождения, добились, чтобы дом в Михайловском был выкуплен у сына поэта Григория Александровича и взят казной на содержание.

— Но был ли это тот дом, в котором еще жил дух Пушкина?! — поинтересовался я.

— Конечно, нет. Много вещей было утрачено. Да сын особо и не заботился о сохранении отцовской обители. Последние годы Григорий Александрович жил в этом доме постоянно, безвыездно. И все в нем перестроил по своему усмотрению, за что ему потом крепко досталось от пушкинистов. Они его бранили на все лады. И поделом... Но тем не менее именно с михайловского дома начинается жизнь и практика российских литературных музеев...

— Что же тогда было подлинным здесь?!

— Подлинной всегда оставалась природа Михайловского, — тепло улыбнулся Семен Степанович. — Дубравы, озера, речки, ручейки... Все же остальное было случайным и малоценным...

— Но если подлинных пушкинских вещей уже не было тогда, в конце прошлого века, то как же из положения выходили после Великой Отечественной войны, когда и редкие осколки мемориальности были почти все уничтожены?!.

— Фашисты разорили даже то немногое, что оставалось, растащили, — голос Семена Степановича завучал жестковато. — Дотла сожгли дом, постройки. Жуткая картина, не приведи, Господи, чтоб она повторилась когда-либо... И вот академик Щусев, возглавлявший комиссию, объявил, что надо не реставрировать, а все строить заново, поднимать дома, леса, сады... И мы более сорока лет строим...

— Но насколько я знаю, и до сих пор находятся люди, которые пытаются посеять сомнения в правильности выбранного пути...

— Настырные оппоненты! — довольно резко отчеканил он. — Ведь до войны я бывал в Михайловском. И ради справедливости должен сказать — его экспозиция носила иллюстративный характер. Она была скучна и малоинтересна уже для того времени. Развесить карточки по стенкам не самое хитрое дело, а вот как передать поэтическую мысль: деревня — мой кабинет. Пушкин сам этой афористической фразой гениально сформулировал смысл и цель экспозиции в Михайловском.

Наша послевоенная экспозиция мало чем отличалась от довоенной. Такой она была до появления дома поэта в 1949 году. Открыв его к 150-летию со дня рождения Пушкина, мы пережили свое второе рождение как создатели музея-заповедника. На оборудование этого дома, продуманное и тщательное во всех отношениях, на духовное и материальное его наполнение я потратил более трех десятилетий. И процесс этот не остановился, он нескончаем...

— Почему? Разве дом не обрел своей законченности? — удивился я.

— Обрел. Можно бы на этом и остановиться. В нелегких условиях нам удалось собрать и расположить в доме вещи эпохи Пушкина. Они довольно точно воспроизводят быт, стиль жизни поэта в михайловской ссылке. И посетитель уже не может упрекнуть нас, что мы чего-то его лишили...

— Но ведь он почти всегда новый, этот посетитель, редко кто за свою жизнь приезжает сюда несколько раз. Стало быть, и атмосфера дома, если он заполнен не личными вещами поэта, должна соответствовать духу приходящих людей. Не так ли? А посетители год от года меняются и во вкусах, и в эстетических оценках, да и духовная наполненность их, если сравнить поколения, крайне неоднородна. Как это вы учитываете? Не создаете же каждые пять—шесть лет новую экспозицию?

— Ну, по правде сказать, в вашем вопросе — суть моих многолетних поисков, которые иногда и по сей день порой несправедливо подвергаются критике. Хотя сомнения мои и сомнения моих оппонентов — вещи очень разные. Критики и оппоненты не учитывают, что я и сам не сразу стал знающим. Еще в 1929 году, работая во дворцах Петергофа, я с моим товарищем Анатолием Владимировичем Шеманским выпустил книжку «Экспозиция дворцов-музеев», в которой мы попытались изложить свои соображения о музейном деле. Ведь оно тогда в таких огромных масштабах только зарождалось. И нужны были принципиально новые идеи, способные придать этому знанию особую прочность, надежность и гарантию развития.

Книжка наша тогда вызвала жаркие споры. Однако и нашла поддержку, высокую оценку крупных историков-музееведов: Шмита, Федорова, Давыдова, Исакова... С тех пор прошло, легко сказать, более чем полвека, а многие мысли я исповедую, проверяю и утверждаю по сию пору. И, насколько в моих силах, стремлюсь претворить их в жизнь. Только не всегда нахожу поддержку и понимание...

Никакие социальные и экономические переустройства немыслимы без духовной опоры, без добрых духовных традиций народа. Пушкин, размышляя о народе нашем, очень точно сформулировал, кстати, опираясь на свой псковский опыт, мысль о духовности народной. Он писал, что «климат, образ правления, вера дают каждому народу особенную физиономию, которая более или менее отражается в зеркале поэзии. Есть образ мыслей и чувствований, есть тьма обычаев, поверий и привычек, принадлежащих исключительно какому-нибудь народу...»

Семен Степанович творил народные традиции в Михайловском в согласии с доброй пушкинской заповедью...

«РЕВНИТЕЛИ И РАДЕТЕЛИ»

— Но так ли одинаково восприимчивы посетители заповедника?! — спросил я однажды Семена Степановича. И вопрос этот не был для него неожиданностью, хотя и возник, как всегда, стихийно. За долгие годы уж так повелось, что разговоры наши — всего лишь продолжение давно открытой, давно начатой темы. — Хотя, конечно, природу воспринимают все...

— Да нет, конечно, нет, — скороговоркой ответил он. — А, помолчав, добавил: — Знаете, я тут всякого люду повидал... Бывают и просто «любопытствующие», по велению моды приехавшие оглядеть «именитый экспонат»...

— На заповедник тоже распространяется мода?! — удивился я.

— А как же, — Семен Степанович лукаво подмигнул. — Теперь мы стали известными, а как отголосок, это всегда прибавка праздных людей... Нет ничего губительнее праздного холодного любопытства, мне совершенно ненавистного. Таких к нам тоже идет немало, и думаю, не только к нам... Бывают такие и среди литераторов, литературоведов и историков. Случается, что, приехав в Михайловское, иные писатели вдруг начинают рассказывать о своих заграничных «вояжах», о собственном успехе на эстрадных подмостках Парижа... И взахлеб... Пушкин тут, вроде бы, и не причем, всего лишь повод высказаться о громкогласном выступлении в Лондоне или Нью-Йорке. Глухи и незрячи они становятся, забыв, куда и зачем приехали...

Но таких гостей я люблю «попотчевать» пушкинской поэзией в михайловском доме или же вечерком отправиться с ними в Тригорское... — Что-то озорно-насмешливое мелькнуло у него в глазах. — Ездовой онегинской тропой мимо озера Маленец, через перелесок, мимо Савкиной Горки, меж Тригорских холмов идем мы к усадьбе. Дорога хоть и недалекая, а росная, свежая, бодрит...

Приходим в гостиную, где когда-то глубоко за полночь засиживалось тригорское девичество, музицируя или слушая своего кумира Пушкина. Располагаемся поудобнее. Тлеют свечи. На дворе темно, тихо, только пожухлый августовский лист глухо стучит по стеклу...

И льется волшебный пушкинский стих, тот, что звучал здесь более ста шестидесяти лет назад... «Но и в дали, в краю чужом я буду мыслию всегдашней бродить Тригорского кругом, в лугах, у речки, над холмом, в саду под сенью лип домашней...» Иль еще... «Я помню чудное мгновенье, передо мной явилась ты...» Иль это... «Цветы последние милей роскошных первенцев полей...» И пришельцы мои преображаются, затихают. Откуда-то из глубины этого окружающего нас пространства нежданно рождается чудо — в сумерках, за окном возникает тень великого поэта. И все охотно принимают это предощущение, будто и нет границ времени, и снова поэтический вечер Пушкина в Тригорском... Они восторженно заворожены. Такова уж поэзия Пушкина, что она никого не унизит, и во всякой, даже завистливой и самолюбивой душе, вызовет восторг, восхищение и высокую радость жизни...

Потом, через годы, при встрече, они каждый раз возбужденно вспоминают этот день, словно что-то большое и главное в их жизни случилось тогда в гостиной, словно сам Пушкин коснулся их душ...

— Однако, как мне кажется, Семен Степанович, далеко не во всех случаях может быть такой счастливый исход. Была «мода», скажем, и такая: в застойные времена широко ставились спектакли, где от имени Пушкина, кто только и по какому поводу только не объяснялся... Таким образом они хотели зашифровать собственные взгляды и идеи, далекие от Пушкина. Чем, мне кажется, наносился немалый вред и самому Пушкину...

Нуте-с, нуте-с, — оживился Семен Степанович, и явно был настроен обсудить эту проблему... — Вы говорите, такие политические спектакли были «модой»?! А как же тогда наши поэтические праздники?

— Ну, видите ли, потребность слушать пушкинские стихи со сцены огромного зала, концертного или театрального, пошла в рост давно, — не согласился я и попытался более подробно обосновать свою точку зрения. — А особенно это стало заметно в последние годы. И в этом я вижу несомненное влияние пушкинских праздников в Михайловском. Недавно мне привелось побывать подряд на четырех пушкинских поэтических вечерах, и это только в Москве!

Стихи Пушкина, особенно лирика, негромкие, незрелищные, обращены к тихим, грустным, иногда и просто печальным, но светлым проявлениям души человеческой. А чтоб собрался народ целый вечер слушать тихий лирический голос поэта, в таком огромном зале, как зал имени Чайковского, и собрался, как собирается, скажем, на модную певицу или эстрадную группу, заплатив немалые деньги за билет, надо, чтоб привело его сюда высокое веление души и сердца... Пушкин-стихотворец — демократичен. Этим нас влечет...

— Или «мода» на Пушкина?! — ехидно глянул на меня Семен Степанович. — Такого вы не допускаете?! Особенно, когда выступают модные артисты.

— Мне ближе, когда читают Дмитрий Журавлев или Яков Смоленский. Они читают стихи «в открытую», классически, без каких-либо режиссерских, звуковых, эмоциональных ухищрений. На этих концертах, действительно, властвует, пленит сам стих Пушкина. Я думаю, в силу этого, прежде всего, и популярны пушкинские публичные концерты. Трагедия идет еще от древних Афин...

— А что вы не воспринимали в модных спектаклях о Пушкине в застойные времена? — осторожно переспросил Семен Степанович. — Ведь все, что ни делалось, разве не во благо Пушкину?

— Вряд ли во благо, и вряд ли все... Что, книга Щеголева во благо? А фильм «Царь и поэт»? Подобных вещей немало привносится в жизнь и сегодня. Наверное, нам надо выяснить отношение к символу? — я вопросительно посмотрел на Семена Степановича. — Не слишком ли некоторые постановщики злоупотребляют им, создавая свой режиссерский театр?

— Важно, что вас беспокоит по существу.

— По моему мнению, символ требует вполне точного, уместного употребления, в полном согласии с мерой «сообразности», как любил говорить о художественном методе Пушкин... А намеренное отыскание в творчестве Пушкина политических заявлений, совпадающих с современной ситуацией, дабы обострить, встревожить сознание, приводит к утрате истины, а с нею и художественности... Вряд ли допустимо было спектакль о духовной драме Пушкина, скажем, в театре на Таганке, превращать в многочасовой политический митинг, где тени прошлого непрерывно произносили, якобы, «завораживающие» лозунги... Все это совсем не из области искусства. И таковым даже не должно называться, пусть это и выдается за нечто утонченное, чуть ли не стоящее выше всех наших представлений о настоящем искусстве. Еще Лев Николаевич Толстой считал, что в сценическом, формальном режиссерском эффекте неожиданности, в контрасте приемов, в ужасности нет передаваемого чувства, а есть только воздействие на нервы. А вот это физиологическое воздействие как раз нередко и выдается за действие искусства.

Мне кажется, Толстой очень верно обозначил механизм уродливой театральной формы, когда происходит утрата главного достоинства настоящего искусства — утрата чувства, которое способен пережить человек, увлеченный смелым, свободным полетом мысли художника...

Тут уместно было бы сослаться и на самого Пушкина, который считал, что трагедия, комедия, сатира — все более оды требуют творчества, воображения (fantaisie) — гениального знания природы... Пушкин имел в виду и знание природы жизни, вещей, устремлений человеческих. А гениальное знание — это как защита от фиглярства, которого на наших театральных сценах в избытке...

— Такое «осовременивание» мне тоже претит, — он пристально посмотрел, как бы желая долгим взглядом оценить мою искренность и убежденность. — И в главном, пожалуй, я с вами согласен. Пушкин — великий поэт, первый наш художественный гений, можно сказать, отец духовного возмужания нации, конечно, не для столь утилитарных целей, как эффектное «политиканство» даже в тяжелые застойные времена. Стало просто какой-то повальной болезнью рассматривать жизнь Пушкина через призму — поэт-вольнодумец и царь-душегуб, поэт-рогоносец и любовники жены, совесть России и царская цензура...

Это, конечно, контрасты навязчиво формальные, не отражающие всей сложности жизни, характера и творчества Пушкина, но поразительно живучие и весьма злобные по сути своей, разрушительные! От таких деятелей — ревнителей и радетелей, якобы, всего пушкинского целесообразнее защищать Пушкина. Я с вами согласен. Вреда от них, несомненно, больше, чем пользы...

— «Мода» на подобное изображение жизни поэта создает впечатление, — продолжал Семен Степанович, — что Пушкин не знал ни радости, ни страсти высокой и вдохновенной, ни счастливого сыновьего чувства к Отечеству. Минуты печали, тоски, скуки, дни тягот, недовольства, вспышки ярости — возводятся в главенствующие и заслоняют самую жизнь поэта, сложную и многообразную, в которой было место всему, кроме схемы, примитивной и серой...

Пушкин ведь и сам говорил, что истинное просвещение беспристрастно... А у наших просвещенцев ой, как превалируют собственные страсти. Они свою жизнь выдают за пушкинскую на сцене...

Семен Степанович помолчал и уже совсем определенно закончил свою мысль:

— Пушкин ни для кого не должен служить модной приманкой. Он требует серьезного, осмысленно-духовного проникновения в его жизнь и творчество. Его познание должно быть действительно беспристрастным, так как Пушкин как художник имел удивительно здоровые человеческие начала. Он сам, как природа, был могуч и прекрасен.

— Кажется, еще Чернышевский, а вслед за ним в более позднее время Твардовский говорили об этом...

— Нуте-с, нуте-с, — живо подхватил Семен Степанович, — давайте припомним, это интересно, — он встал, порылся на полке, достал томик статей и выступлений Твардовского о литературе, и подал мне.

— Ищите-ка, это важная мысль, надо бы ее точно воспроизвести... Нашли? Нуте-с, позвольте, я сам прочту, мне еще и глазами надо проследить за мыслью, — и тихо улыбнулся, по-стариковски тепло, поднося книгу поближе к глазам... — Так, посмотрим, как это сказано у Твардовского:

— «...Читатель, общаясь с Пушкиным, — чуть нараспев произнес Семен Степанович и скользнул пальцем по строке, — испытывает ощущение простой человечности своего собеседни-

ка и никогда не чувствует подавленности близостью гения. Таков светлый, человечнейший гений Пушкина, в этих чертах являющийся образом гармонической, ясной личности. «Гений, — говорит Чернышевский, — ум, развивающийся совершенно здоровым образом». Это замечание невольно хочется отнести к разуму, здоровью, ясности, чудесной естественности Пушкина. — Он сделал короткую паузу, молча, глазами, видно, читая дальше, а потом и вслух, — Белинский говорил, что Пушкин принадлежит к вечно живущим и движущим явлениям, не останавливающимся на той точке, на которой застала их смерть, но продолжающим развиваться в сознании общества...»

Он закрыл книгу, отложил ее в сторону...

— Как хорошо и верно Твардовский подтвердил свою мысль словами Чернышевского и Белинского. В Пушкине явилось наше духовное здоровье, укрепленное многовековым творчеством славян. Потому его поэзия продолжает жить и развиваться самым что ни на есть здоровым образом... Верно, — растягивая слова, задумчиво соглашается Семен Степанович, — верно. Оттого и для людей его имя, его поэзия имеет магнетизм особой силы и воздействия. Она ясна им, понятна, как народная песня, — сказал он уже больше для себя, видно, внутренне приняв дорогую для нас обоих мысль великого советского поэта.

РАДОСТЬ ДИЛЕТАНТСТВА

— А вы знаете, я очень люблю, когда в заповедник приходят родители с детьми, — неожиданно радостно, как будто вне всякой связи со всем нашим предыдущим разговором, сказал Семен Степанович, — и вот целый день всей семьей они ходят от Михайловского к Петровскому, от Петровского к Тригорскому. Неторопливо, чинно, в тихом семейном разговоре.

Это хорошо! Этот день в семье навсегда останется праздником. Прав Твардовский, люди, общаясь с Пушкиным, не чувствуют подавленности от близости гения. Проведя день среди поэтических холмов, лесов, озер, перелесков, полей, они неожиданно откроют, что он стал еще ближе им, дороже, понятнее и яснее...

— Это ведь естественно, наверное, Семен Степанович, не зря же псковская земля не только взрастила гений Пушкина, она дала ему представление о русском народе. И в зеркале его поэзии, как говорил сам Александр Сергеевич, отразился образ мыслей и чувствований народа, в его поэтические строки легли и народные обычаи, поверья и привычки. Это люди особенно душевно тепло воспринимают.

— Несомненно-несомненно. А вот простую рабочую или служащую семью, пришедшую к Пушкину, вряд ли можно заподозрить в моде, а?! — он улыбнулся с ехидцей, легко и по-доброму... — С ними такого не бывает, нет!..

— Но как вызволить людские души из плена застойных лет, как вернуть им добро и душевный покой, радость и гармонию жизни... Какое лекарство может быть самым благоприятным?

— Это тяжелое наследие, — согласился Семен Степанович, — и наш заповедник, и Пушкин — в этом совсем не спасение. Вы поглядите, как бушуют страсти, литераторы-оппоненты в спорах о культуре идут стенка на стенку! Значит, что-то утрачено чрезвычайно серьезное и важное в духовной жизни, что необходимо вернуть людям незамедлительно, иначе нас ждет беда...

Один инженер прислал мне письмо. Он в отчаянии, его давно мучает мысль, а сейчас особенно, поскольку многие ценности в нашей жизни вдруг потеряли всякую цену, более того, всякий смысл... Ему кажется, что он духовно беден. Он всю жизнь занимался делами, ему совсем не интересными. И вот понял, открыл, что, помимо своих инженерных знаний, он мало что знает... Масса информации, которая обрушилась на него в последние годы, его буквально раздавила, он в полной растерянности: как быть и что делать?

— А сколько ему лет?!

— В том-то и беда, что для подобного открытия — много. Тридцать восемь! У него двое детей, хорошая семья. Он вместе с ребятами своими занимается спортом, поет в самодеятельной опере, дома у него есть книги, фортепьяно...

— Вроде бы все при нем...

— Однако человек неудовлетворен, по-хорошему неудовлетворен. И понять его можно. Работа в последние годы высвободила часть его ума и души. Он получил больше времени заниматься собой. Открылись новые возможности в обществе, а вот как действовать, что делать, — он не знает. Ему нужен духовный простор. И он есть, этот простор, способный утолить любой духовный «голод»... Однако ему-то он как раз и малодоступен, несмотря на переустройство всей нашей социальной и духовной жизни...

— Почему же?! — с недоумением посмотрел я на Семена Степановича.

— А потому, что мы долго еще будем открывать и горько поражаться — какой огромный вред нанесли сталинизм, волюнтаризм и брежневщина, вред во всей нашей духовной сфере... Многие процессы в воспитании целых поколений выкорчевывались с корнями, как зловредные...

Я это знаю лучше, чем кто-либо, поскольку долго живу и захватил еще тот старый мир и первое десятилетие советской власти...

Из нас и гимназия, и университет воспитывали кого?! Дилетантов!!!

А из этого инженера? Узкого специалиста! Чувствуете разницу? Наверное, он хороший специалист, но, как человек, он должен быть еще и дилетантом, чтобы в нем с детских лет жила ненасытная жажда к тому, чем полнится человеческая душа... Мне ближе дилетанты... — Он улыбнулся печально, с горькой усмешкой в уголках губ. — Но дилетантство уже многие десятилетия — недостаток! Жуткий порок! Унизительное ругательство!

И мы оба развели руками, как бы разом оценив всю сложность создавшегося положения.

— А в пору вашей молодости дилетантов ценили?!

— В мое время дилетантов любили, ценили, считалось большим даром — знать многое, если не все... В гимназии нашей были удивительные воспитатели и наставники. Они открыли нам мир искусства. Это Николай Яковлевич Шубин, Михаил Михайлович Измайлов. Они водили нас в музеи, петергофские сады, парки. Делали всяческие душевные прививки, с тем, чтобы мы с детских лет ближе познали мир, вселенную, безграничность... Нас учили любить Землю и Людей!

Эти учителя мне особенно дороги. Они были со мной, когда я учился в университете, когда в жизни еще многое было непонятно. Я обращался к ним за советом... И надо же было судьбе так распорядиться, когда я окончил университет и приехал работать в Петергоф, туда же был принят мой бывший преподаватель истории Измайлов. И дальше мы пошли одной дорогой к познанию истины. Я вам скажу, что это чрезвычайно важно!..

Я очень многое получил в университете, где тогда преподавали историки Кареев и Платонов, языковед Перец, искусствоведы Головань, Лапшин. Это были удивительные профессора, которые знали на память и «Евгения Онегина», и «Пиковую даму», и никогда нервно не шелестели конспектами, книгами. Они все брали из подвалов памяти, и тем самым нас, тогдашних молодых болванов, удивляли и поражали своими знаниями. Иллюстраторы они были поразительные.

Они могли, рассказывая о графике, удивительно легко и изящно набросать рисунок на доске. Если они говорили о музыке, то подходили к пианино и играли, когда надо было довести до нас суть звука, гармонии, мелодии и всего того, что составляет понятие «музыка». Они видели, ценили и воссоздавали красоту, и этим заражали нас. Они были истинные дилетанты, таких уж теперь нет, наверное, ни в одном университете страны...

— Вы учились в первые годы после Октября... Что-то было в вашей студенческой жизни принципиально отличительным, особым?!

— Это были годы удивительной отваги. Университет не отапливался, все устали от гражданской войны, голода. Но все жаждали новой жизни. Я никогда не забуду: виднейший профессор Николай Севастьянович Державин читает лекции, а у него иней сыпался изо рта, потому что в зале двадцать градусов мороза...

А какое молчание, какая тишина, какое вдохновение! И у преподавателя, и у всех студентов. Как все жаждали знаний, какое было высокое чувство благодарения, какая была дружба, какое было товарищество, какая была взаимопомощь тогда.

Я не знаю, как теперь, я не бываю в вузах, но я всегда с благодарностью вспоминаю свои студенческие годы. Сколько удивительной признательности и заботливости преподавателей о своих учениках! Я просто не могу найти слов, чтобы дать характеристику той величественности, которой обладали тогдашние профессора, преподаватели.

Ведь задача состояла в том, чтобы студенты, сплошь выходцы из народа, из неграмотной, малокультурной среды, занимались не только своей узкой специальностью, но сначала бы фундаментально познали мир, физику, биологию. И когда к нам приходил виднейший ученый-физик, весь зал вставал, его встречали каждый раз аплодисментами. Было такое состояние, будто сейчас начнется торжественый концерт, а не просто учебное занятие.

Он прямо говорил нам, будущим литературоведам и искусствоведам: «Ох, какая трудная задача передо мной стоит. Я знаю, кто вы такие, вы никогда не поймете до самых глубин суть вещества. Но я хочу одного: пробудить в вас интерес к естественным наукам и насколько в моих силах укрепить веру в материальность мира».

Теперь я понимаю, насколько правильным был такой подход. Нас, действительно, надо было ввести в мир знаний, дать необходимое. И поэтому ко всем предметам читались специальные курсы введений: «Введение в изучение живописи», «Введение в изучение графики», «Введение в изучение литературы»... Эти «введения» я всегда вспоминаю с благодарностью и никогда не забуду, в них было полезное зерно, секрет гуманности и дилетантизма.

Великолепнее всех был Александр Александрович Починкин. Он так вдохновенно обо всем рассказывал, что я очень быстро понял, что такое мозаика, что такое фреска, одним словом, все жанры изобразительного искусства. И он так был настойчив в своем деле, что говорил: «Ребята, давайте съездим в Новгород!». «Александр Александрович, ведь денег-то нету». «Поедемте в порт поработаем, дрова разгрузим». Заработали деньги, поехали в Новгород, поехали в Москву...

В 1923 году нас пустили в Кремль, чтобы мы посмотрели основные элементы древнерусских архитектурных сооружений. Нас тогда повез Константин Константинович Романов, виднейший знаток истории русской архитектуры. Так же в мой мир пришел академик Федор Иванович Шмит, это удивительный был художник, писатель, который создал потрясающие книги: «Почему и зачем дети рисуют», «Музейное дело». До него такой вообще книги не было. Он сумел философски обосновать основные проблемы, с которыми столкнулся я, когда начал самостоятельную работу в качестве научного сотрудника... Он был одним из основоположников нашей музейной науки... Счастливое было время!..

А что же оказалось сегодня?! Оказалось, что все это великое наследие воспитания было в сталинские времена отвергнуто. Ты — винтик, ты — букашка, тебе надлежит знать только это и не более... Каждый горшок знай свой шесток... И к чему мы пришли? Что утвердили в жизни? «Рабов производства», узких специалистов. Утратили духовную культуру, которой русский народ владел целое тысячелетие!

Подумать только, какие беды двинулись на нас с отчуждением от творческого труда, с теорией «винтиков», как ожесточились наши души, как задубела в нас короста бездуховности... Наши души измяты, истерзаны... Как жить?! Что делать?! Как спасти душу?!

— А с другой стороны, Семен Степанович, — мне показалось, что он не учитывает одного важного требования современной жизни, — и науку, и искусство, и литературу сегодня уже невозможно охватить созидающим взглядом лишь одного, пусть и большого мастера, ученого. Происходит членение, дробление — разделение труда. Оно увеличивает спрос на «узких» специалистов. А чтобы стать таким специалистом, надо потратить годы! На изучение одной весьма и весьма узкой области в океане современных знаний, с тем, чтобы, достигнув именно в этом узком спектре знаний совершенства, суметь что-то сделать, чтобы еще на один маленький рубеж подвинуть науку, производство... И чтобы стать квалифицированным инженером, квалифицированным рабочим — сегодня тоже нужны годы!

— Верно-верно, — охотно согласился он. — Но все же нужна и сверхзадача: дать инженеру и другие знания — духовно-эстетические! Или подтолкнуть его, хотя бы в школе, к необходимости быть всесторонне развитым, точнее — всесторонне образованным. Ведь когда такой квалифицированный рабочий или инженер, или ученый приходит в круг своих друзей, таких же «узких» работников, специалистов, то говорить о деле им уже весьма сложно, слишком далеки их «специальные» интересы... Тут-то бы и поговорить о поэзии, литературе, музыке, живописи, о том, что живет для всех одинаково!

— Освободиться душой...

— Так-так, вкусить духовное наслаждение... Но ведь им не известны житницы, наполненные хлебом мудрости, поэзии и красоты, знают-то они обо всем понаслышке. Много не разговоришься... Наоборот, их десятилетиями отучали от этой духовной свободы взаимообъяснений, творческих дискуссий... Они должны были знать «от и до», и не более... — Он говорил энергично, напористо, видно, думал об этом неоднажды. — Какой же вред нанесен этими «установками»!

А общий интерес появляется только при общей эрудиции, знаниях, основательности, и немалой... Тогда и спор может возникнуть, и выяснение взглядов на искусство, литературу, тогда и вечер пролетит незаметно, и тонус жизни неожиданно повысится...

— Но они уже по-иному воспитаны, Семен Степанович, нужды в такой беседе, в споре таком они остро не ощущают, привыкнув ценить человека по его деловым качествам... «Все остальное, как бы потом, стихийно доберем», — рассуждают они. Однако стихийно-то им неоткуда взять. Школа «готовила» их в специалисты, провозглашая прежде всего «пользу» математики, физики, химии, но совсем не дилетантства, не политических и духовных дискуссий... Их, наоборот, всячески хотели уберечь математикой от злодушевных ересей. Для них, скажем, в седьмом классе стихи поэтов-современников никогда не были столь же упоительным делом, как алгебра...

— Конечно, на алгебру есть спрос, и дома, и в школе всем очевидно, что если в ребенке развить эти способности, он найдет себе применение в будущем... А от стихов какой прок?! Особенно, когда их нынешние кумиры — виднейшие ученые — еще совсем недавно с увлечением доказывали, что машина ничуть не хуже Пушкина будет сочинять стихи. Такие разговоры, несомненно, оставляют печальный след в душах молодых людей. Подталкивают их в образовании — к избирательно-жесткому практицизму, меркантилизму; в нравственности — к непомерной кичливости, высокомерию, цинизму; в духовной жизни — к ограниченности, невосприимчивости, творческому бесплодию. И урон-то нанесен огромный, с трудом поправимый. Мне нередко приходится бывать в среде физиков, математиков, и при всем обилии специальных знаний всегда поражает прямо-таки удивительная скудость, заторможенность, безрадостность в знаниях и чувствах духовных...

— А были ли в пору вашей молодости кумиры в литературе, искусстве? Как вы относитесь к кумирам нынешних молодых?

— Кумиры моей молодости — Блок, Маяковский, Есенин, Петров-Водкин, Шостакович — сегодня классики! Стало быть, мы не ошиблись в выборе...

Да и подумайте сами, как происходит теперь, — вы растете, зреете умом, душой и телом... Вас переполняют всякого рода увлечения. И выставка художника Виктора Попкова вас интересует, и концерт дирижера Геннадия Рождественского вам не хотелось бы пропустить, опять же интересно, как Елена Образцова споет романсы Мусоргского, а тут выступает с новой программой «Машина времени», вечером — фильм-концерт Аллы Пугачевой по телевидению, через день премьера во МХАТе — Иннокентий Смоктуновский в роли Иудушки Головлева... И закрутилось... Я иногда дивлюсь, сколь же в мире утех! И как тут обойтись без кумиров, без душевного пристрастия к творчеству сверстника.

Ведь неслучайно именно молодежь первой опознает талант в своем поколении и неистово любит знаменитостей из «своих». Выразить себя в искусстве — это удел немногих. Но тот, кто может, тот особо любим. Отсюда ранняя популярность Василия Шукшина — писателя мне очень близкого по мироощущению. По-своему мне интересно твор-

чество Владимира Высоцкого, его пронзительная боль за всех — такая боль не может оставить равнодушными людей молодых... Понятна и популярность Валентина Распутина, хотя его проза из ряда трудноусваиваемых духовных источников...

Кумиры всегда, в какой-то степени — открыватели нового. В их творчестве я вижу здоровую жажду к познанию и самовыражению. Так было во времена нашей молодости, так, должно быть, будет и в будущем. Кумир — тот же учитель, только из своих, сверстников...

— Но теперь кумиры чаще всего не из дилетантов, а пророки — отцы узкой специализации... Потому преуспеть одинаково во всем сегодня невозможно, с моей точки зрения...

— Ну, зачем же одинаково, — улыбнулся Семен Степанович. — Конечно, такие чудеса, как кибернетика, электроника, без больших умственных затрат не создашь. Но ведь задолго до кибернетиков гиганты человеческой мысли — пифагоры, коперники, леонарды да винчи, ломоносовы, эйнштейны — заложили великолепную традицию: преуспевать в одном — математике или астрономии, или химии, а духовно обогащаться во всем... Они ценили дилетантизм, как одно из важнейших проявлений человеческого духа, как склонность к многообразию знаний и чувств. Из больших ученых, кого я знал лично, этому правилу, пожалуй, следовал Сергей Иванович Вавилов. Может быть, он был последним из выдающихся дилетантов. А теперь само понятие «дилетант» выхолостили до неприличия, до уродства, до бранного слова...

Полюбопытствуем, откроем-ка «Словарь иностранных слов», ну, к примеру, хотя бы этот. — Он берет с полки книгу в черной обложке. — Год издания 1964-й. Вот что тут написано: «дилетант — любитель, занимающийся каким-либо искусством или наукой без достаточной подготовки, необходимой для основательного знания предмета...» Ну, ладно, это еще полбеды — любитель так любитель... Но ведь на вооружение взяли даже не эту первую часть, а вторую, которая вот как звучит: дилетант — «поверхностно знакомый с какой-либо областью науки и искусства». Откроем «Словарь русского языка» 1984-го, что-нибудь изменилось? Все то же грубоватое слово «поверхностно». Иными словами, по-русски — верхоглядство.

Хорошо ли это? Справедливо ли? Нет, несправедливо. Между дилетантством и верхоглядством — большая разница, и смешивать их прискорбно. Но с тех пор, как пошла борьба с универсальностью и широтой в образовании, у нас смешивают эти понятия на каждом шагу даже серьезные и уважаемые люди.

Ведь, скажем, для чего создаются такие уникальные коллекции, как Эрмитаж? Для основательного изучения искусства? Несомненно. Но и для развития дилетантизма. Три миллиона посетителей в год! Что, они — все специалисты-искусствоведы?! Нет же, большинство из них даже и сотни картин не запомнят из увиденных, но все, без исключения, проживут миг чудодейственный, который их подвигнет и на другие духовно очищающие шаги. Для этих же целей служит и наш заповедник...

В последние годы наметилось более реальное движение к духовному, вроде бы, проходит пора почти оголтелого увлечения техницизмом, технократством, когда математические, технические знания напористо вытесняли чувства, душевные движения. Этот бездуховный вал поднимался, нарастал, казалось, что он способен был поглотить все... И как мы, старые дилетанты, люди по образованию еще от XIX века ни упирались, но и среди нас нашлись «иноверы», те, кто свой авторитетный голос подняли против дилетантства...

— Однако, Семен Степанович, первым опомнились сами же апологеты техницизма. Они почувствовали, что в их среде происходит что-то неладное — духовного не хватает...

— Это верно, но отчасти лишь, — задумчиво покачав головой, согласился он. — Пригласить к себе бардов или рок-музыкантов — это, опять же, более веление моды, нежели интерес к духовным источникам. А именно в развитии дилетантства, а не истреблении, чем так страстно кое-кто еще занят, я вижу большое и серьезное будущее.

— Мрачные, злые силы всегда покушаются на духовный потенциал народа, хотят всячески его ограничить... Так было во времена сталинизма, так было во времена брежневского застоя... Но ведь так было и в тяжелую годину «культурной революции» Мао, в годы удушья Гитлера, в пору захлестнувшего США маккартизма... Наш век многое видел, узнал такое, что людям даже в черноте душевной прежде неведомо было...

— Но вот, казалось бы, настал день светлый — перестройка, новое мышление! — Семен Степанович вскинул посветлевшие глаза. — А почитаешь наших современных «духовников» — критиков, литературоведов, некоторых писателей и, право, потемки на душу опускаются. Сколь же они злы и мстительны! Ведь это совсем не в характере русских людей, привыкших исстари обо всем судить по совести... Значит, этот перехлест опять несут злые и темные силы, значит, они не хотят нашего духовного освобождения.., я не нахожу от этого покоя, опять душа болит и ум мается.

— Наконец, у нас заговорили, что общественные, духовные ценности должны быть переоценены еще в школе. И такие попытки робко, но делаются... Ведь сами молодые, по собственной инициативе, вряд ли откроют великий смысл, тайну и сладкую радость дилетантства, можно сказать, духовной свободы...

— Естественно, такая переоценка нужна, особенно сейчас. И происходит она мучительно не только для нас, стариков, но и для молодых! Молодость — она и есть молодость. В том и величие природы, что она дает в этом возрасте всю полноту жизни, как молодой березовой роще июльское благостное цветение. Роще и неведомо, что благости-то у нее всего на один месяц, она шумит зеленой листвой весело и беззаботно, так же и молодой человек... Он живет, набирается сил, все в нем полнится, всего через край — энергии, надежд, устремлений...

И вдруг он стал бы думать, каким будет в сорок, пятьдесят лет, а каким в старости — умным или глупым, удовлетворенным или неудовлетворенным, духовно богатым или бедным?! Вот это противоестественно!

Но ему надо напомнить, что все на свете быстротечно. И весна его жизни тоже. Чем раньше это он усвоит — тем больше полезного сделает на земле. Словом, думай, когда он еще в колыбели. И духовные устремления, и любовь к родной природе, и неиссякаемый интерес к духовным источникам — все это надо в нем воспитать старшим, приложив немало труда. Это и есть пробуждение интеллекта...

Кстати, само понятие «интеллект» теперь тоже весьма заужено, приспособлено, опять же, к оправданию технократства, подавляющей власти бюрократии. Неслучайно в последние годы обрушились на бюрократию. Ущерб, который она нанесла в культуре, в сфере духа, необозреваемо велик! Интеллект — это принадлежность не только ума, как у нас постоянно внушают и сейчас, но и души, чувств человеческих, которые пробуждать надо, воспитывать терпеливо и демократично, свободно и уважительно... Хорошо хоть эти слова снова стали у нас в обиходе.

— И воспитывать чем раньше, тем лучше...

— Только так... С давних времен ведется: как бы человек ни услаждал себя благополучием, какие бы новоизобретенные машины ни употреблял для этого дела, он всегда остается один на один со своим духом. И если мелеет дух, мелеет, мельчает человек. Дух прежде — потом все остальное. А у нас утилитарно все толкуют. Мол, обойдется он без Пушкина, Рокотова и Лермонтова, Шекспира и Чайковского... Я глубоко убежден, не обойдется...

Они ему нужны не с целью, чтобы поучать. По наставлениям и поучениям человек душой не тоскует. Душой он тоскует по прекрасному, хоть и не всегда может понять причину гнетущей, казалось бы, безысходной неудовлетворенности собой...

Инженеру, как всякому человеку, у которого частично освободилась голова и руки от его прямых занятий на работе, нужна духовно богатая жизнь (его сполна уже не могут удовлетворить ни самодеятельность, ни спорт)... Причем теперь эта жизнь нужна так же остро и потребно, как хлеб, как когда-то нужна была работа, специальность... Вот ведь штука-то какая... А мы только в последние два-три года в связи со школьной реформой об этом заговорили всерьез. Как опоздали!..

— Но сама истина, Семен Степанович, известна давно. И опасность эту русская мысль предвидела еще на рубеже XX века. А мы ее открываем, будто что-то совсем неведомое, прожив с тех пор целый век...

— Нуте-с, что вы имеете в виду?! — он озадаченно посмотрел на меня.

— Русский философ Николай Алексеевич Бердяев, кстати, хорошо знакомый с марксизмом, довольно основательно и аргументированно критиковавший его слабые стороны, ёще в 1922 году писал... — Я достал записную книжку. — Поскольку мысль эта мне дорога, то я ее как афоризм мудрости ношу при себе...

Семен Степанович улыбнулся:

— Вооружены на все случаи жизни...

— На все невозможно, а на некоторые, пожалуй... Цитата великовата, но ее небесполезно знать целиком. Она из книги «Смысл истории», написанной Бердяевым еще в России, до высылки за границу... Это случилось в 1922 году...

Вот что он писал:

«Машина и техника порождены еще умственным движением культуры, великими ее открытиями. Но эти плоды культуры подрывают ее органические основы, умерщвляют ее дух. Культура обездушивается и переходит в цивилизацию. Дух идет на убыль. Качества заменяются количеством... Такова трагедия исторических судеб, таков рок. Познание, наука превращаются... в исключительное средство для торжества техники жизни, для наслаждения процессом жизни. Искусство превращается в средство для той же техники жизни, в украшение организации жизни. Вся красота культуры, связанная с храмами, дворцами и усадьбами — переходит в музеи, наполняемые лишь трупами красоты. Цивилизация — музейна, в этом единственная связь ее с прошлым. Начинается культ жизни вне ее смысла... Жизнь организма более медлительна, темп не столь стремительный. В цивилизации жизнь выбрасывает изнутри вовне, переходит на поверхность... Цивилизация есть подмена целей жизни средствами жизни, орудиями жизни. Цели жизни меркнут, закрываются. Сознание людей цивилизации направлено исключительно на средства жизни, на технику жизни. Цели жизни представляются иллюзорными, средства признаются реальными. Техника, организация, производственный процесс — реальны. Духовная культура не реальна. Культура есть лишь средство для техники жизни... В самой действительности обнаружилось господство экономизма, в ней вся духовная культура превратилась в «надстройку»... Машина получила магическую власть над человеком, она окутала его магическими токами... Дух цивилизации — мещанский дух, он внедряется, прикрепляется к тленным и преходящим вещам; он не любит вечности...»

Такова мысль Бердяева, по-моему, довольна ясная и глубокая...

— Да, он прав, конечно, прав,— задумчиво повторил Семен Степанович,— техника жизни, ее вездесущая похоть нас подминают. Помните, я вам как-то говорил, почему живу в старом доме. Это я сопротивляюсь современной технике, желанию лежать на теплом диване и смотреть в телеящик...

Но ведь важно найти выход из этого положения, не идти же на поводу у мещанского духа?! — Он явно сердился...— Да, именно эти мещанские, ошибочные установки на жизнь возобладали и в нашем обществе. Они породили духовную бедность, из которой нестерпимо хочется вырваться инженеру, только ли ему...

А не тут-то было! Вот где беды нашего воспитания, антигуманистического, я бы сказал. Ведь вкуса к хорошей книге ему недостает (научная фантастика, приключения, детективы уже надоели), к хорошей музыке — тоже вкус не воспитан, и к живописи, природе... Все это создано, чтоб душа человеческая дышала ровно и потребно, чтобы она не погрязла всуе вещей незначительных, приходящих, как теперь говорят, «модных», чтобы она легко воспринимала прекрасное. А оно ведь существует, живет, развивается, оно прекрасно само по себе, как звезды в небе. Но это человеку надо открыть! А мы давно соединили два понятия — политика и культура — в одно. Оказалось, что политики все годы было больше, чем культуры, чудовищно больше! Она задавила все, гуманистические идеалы отступили на задний план... А в жизни счет идет по-другому...

Я прожил здесь целый век. И всякое было, жизнь на примеры не скупа. Вот, скажем, сразу после войны рядом с Пушкинским заповедником был детский дом. И многие ребятишки из детдома бывали постоянно в музее. При скудности той жизни (голодно жили все тогда), мы старались их обогреть душой, устраивали вечера, читали стихи Пушкина, музицировали, поили чаем, чтоб они почувствовали, что жизнь, несмотря на жесточайшие утраты, несет им добро, свет...

И спустя четверть века «возникают» иногда в заповеднике повзрослевшие и постаревшие детдомовцы и через слово: «А помните это?! А это?» И вспоминают они не голод, не политику тех лет, нет, вспоминают стихи Пушкина, музыку, эти редкие прекрасные часы прожитой жизни, прожитой и безвозвратной... И так с человеком бывает всегда, надо уметь только посеять в нем эти семена добра и света, чтоб они согревали его всю жизнь и пробуждали в нем интерес к духовным устремлениям.

К ДОБРУ И СВЕТУ...

Мне вдруг припомнилось, как ездили мы с Семеном Степановичем в Петергоф на встречу с учениками школы, в которой он учился более полувека назад...

Нас пригласили в зал, битком набитый шумливыми учениками, жаждущими услышать прадедушку, бывшего воспитанника этих стен. Гул смолк... Но прежде чем он стал рассказывать, ребята по-школьному заученно-старательно читали стихи Пушкина, стихи о Пушкине и Михайловском. Голоса звучали звонко и взволнованно, им очень хотелось оказать честь дорогому гостю... Потом говорил он, как всегда интересно и с пониманием, кто его слушает, потому не назидательно, но по делу — и о смысле учебы, о хороших книгах и умении их читать, о музыке, о картинах... Прибавил, что всему этому его давным-давно учили именно здесь, в этой школе, учили терпеливо, настойчиво, незабываемо, на всю жизнь...

Ребята слушали его завороженно, так, как возможно, никогда не слушали своих учителей, чутко внемля каждому его слову...

Потом, вернувшись к нему домой на Васильевский остров, отогреваясь горячими чаями и вспоминая встречу, разговор с ребятами, мы невольно вернулись к книге, к чтению... Семен Степанович легко подхватил мысль...

— Скажем, с малых лет пробудить читательскую избирательность, с моей точки зрения, это ведь научить человека жить! — горячо произнес он.— Это дать ему душу, сердце, добро, любовь, дать ему правду, совесть, все человеческое... А, казалось бы, какая малость — любить хорошую книгу, уметь ее найти, выбрать из миллионов книг...

Я, например, большей радости, чем от хорошей книги, в жизни не испытывал... Есть ли глупая книга? Конечно, есть. Но тем не менее при слове «книга» сразу возникает синоним — премудрость. Вы помните, с чего началась жизнь человека, созидающего, изобретающего... Со слова. Оно было вначале...

Эта формула ни в коей мере не устарела, дело тут совсем не в боге. Мудр человек от слова, от добра, от дела, которое он творит. А все это собирает, обдумывает книга, она — хлеб наш духовный, поспевший после праведных трудов. И по глубине мудрости ничто не превосходит книгу, хотя в наше время соперников у нее появилось немало, только книгу работающую, а не лежащую, спрятанную под толстой бездуховной броней современных «горок» и «стенок»... Хорошую книгу я ценю выше всех богатств, она для меня — главный учитель жизни. И пробуждение с малых лет таких чувств, как любовь к мудрой книге, неизбывного интереса к таким апостолам духовной жизни, как Пушкин, Толстой, Достоевский, Чайковский, Прокофьев, Репин, Петров-Водкин, помогает в дальнейшем стать человеком духовно богатым...

— Война и разные беды унесли все мои библиотечные собрания,— с печалью в голосе сказал он.— Но, осев в Михайловском, я снова взялся за собирание книг. Это уже была четвертая в моей жизни личная библиотека. Сегодня, как видите, в ней порядочно толковых книг. Хотя в отцовском доме библиотеки не было. Была только Библия, которую отец иногда читал вслух, призвав нас послушать...

— Давно ведется, что сельского книгочея не сравнишь с городским, сельский и больше читает, и больше знает, и вкус к книге у него более устойчивый,— заметил я.

— Так-так. У нас в Пушкинских горах хорошая, большая библиотека, о какой только мог в свое время мечтать Пушкин.

— А какой библиотекой пользовался Пушкин в Михайловском?

— В его распоряжении здесь было четыре библиотеки. Он собрал свою, пусть и небольшую, в Михайловском. Великолепная библиотека была в Тригорском, еще деда Осиповых-Вульф, в Петровском — библиотека арапа Петра Великого, а в Святогорском монастыре — древняя библиотека, которую еще легендарный Пимен, похороненный там же, где лежит Пушкин, начал собирать...

Раньше в каждой русской церкви была библиотека минимум двести томов. Это были удивительные библиотеки, редкостные. И все разорены. Какое богатство уничтожено! Когда после войны я разыскивал осколки этих библиотек, то в одном месте нашел книгу из библиотеки легендарного Симона Ушакова. Вы только подумайте, какие бывали в селах книги! И это все было открыто для Пушкина. Он стал ходить в Святогорский монастырь, рыться в архиве, в библиотеке. И началась та жизнь, которая привела его к «Борису Годунову» — уникальному явлению в русской литературе... Пушкин ценил и любил хорошую книгу. Помните, как в последний миг перед смертью он обвел грустным взглядом свою библиотеку, любимые книги и сказал: «Прощайте, друзья!» Ведь они были его желанные прижизненные спутники и сам он со своей литературой становился в их ряд — вечных спутников человечества.

Я давно отметил про себя, что интерес к книге у Семена Степановича особый, пожалуй, ни с чем не сравнимый, чрезвычайно пристрастный... Сначала я относил это за счет того, что живет он долгую зиму уединенно, особенно ранними сумеречными вечерами. И тогда, конечно, самый занимательный, никогда не наскучивающий собеседник — книга...

Но с годами я был вынужден изменить свое мнение. Книга остается неотъемлемой и необходимейшей частью его жизни и тогда, когда дом полон гостей — самых интересных собеседников из Москвы, Ленинграда, Киева... Глядишь, он урвал минутку и, прикрыв дверь в кабинет, листвет, смакует в одиночестве, потом вытащит томик в гостиную, почитает вслух, подивится вместе со всеми и опять погрузится уединенно в книгу... Глядя на него, я иногда думаю об утраченной нами страсти такого чтения... При случае высказываю ему эту мысль вслух.

— Нет-нет, вы еще книгочен, хотя уже и вам приятнее послушать, о чем телеящик воркует. А почему?!

Ведь что происходит, мой друг?! Теперь многие люди, жаль, что особенно молодые, потеряли веру в грядущее счастье, надежду на зиждительство, веру в себя, а некоторые через это утратили и интерес к книге — единственному, стариннейшему собеседнику, спасшему стольких людей от тоски, печали, виселицы... Ныне, чаще всего, ищут утешения у механического собеседника — радио, теле, кино, видео... Часами просиживают перед экраном, растопырив глаза и уши, но часто даже и не понимают, что к чему, зачем и почему...

Сегодняшнее теле-видео — современная форма «Сверчка на печи». Или как раньше говорили в народе: «Мели, Емеля, да не завирайся». Домашний экран стал клистиром, наркотиком... А почему сие?! Ленца человека одолела: глотай себе непрожеванную пищу, зарабатывай всякие болезни... До книги ли тут, ведь она-то требует самостоятельности ума, возвышенности чувств, а не только развитых жевательных мышц...

Нет, брат, эти электронные ящики — совсем не книга, далеко не книга. Они жуют-жуют, вроде бы, все уж тебе объяснили, а сердце не согрели, душу не тронули... А книга, хорошая, конечно, всегда согревает. У нее диапазон сердечных чувств другой, как я понимаю...

— А в вашей библиотеке какая книга лежит к вам ближе?

— Книга для меня — не предмет эстетического наслаждения, я не просто книгочей, книголюб, у которого книга, как брошка, модный фрак; нет, для меня книга — пособие, добрый советчик, превосходный, увлеченный собеседник, источник всего сущего, способный обогатить, одушевить, скрасить бытие. И поэтому я знаю, где что у меня лежит.

Ближе всех книги о Пушкине, заповеднике, исторические труды, которые являются для меня своеобразной энциклопедией. Личная библиотека всегда своего рода — энциклопедия хозяина. Особенно, если он занимается научным книжным трудом. Так и у меня, на главенствующем месте, там, где моя рука, там, где мое «писало»,— Пушкин. Ну, а там, где я засыпаю, где, полусонный, протягиваю руку, когда у меня бессонница, ко мне приходят Джек Лондон, О'Генри и сегодняшние фантасты, разного рода нехитрые развлекатели...

— И все же книге теперь уже трудно самой вести борьбу,..— замечаю я.— Компьютер наступает повсеместно!..

— Только не на творчество. Оно всегда будет выше,— сердито огрызнулся он.— Можно ли забывать, что творчество в любой области — научной, технической, производственной — немыслимо без знания области духовной, без опоры на широкие книжные знания. Да и вообще-то, вдохновение, страсть, эмоциональный и сознательный поиск ближе и роднее дилетанту. А вдохновение нужно в поэзии, как и в геометрии. Это говорил еще Пушкин, не знавший наших чудо-компьютеров. Вдохновение есть расположение души к живейшему принятию впечатлений, следственно, к быстрому соображению понятий, что и способствует объяснению оных. И дилетант к этому живейшему принятию и объяснению более восприимчив и чуток, равно как и ко всякому душевному проявлению, к человеческим добродетелям, касается ли это родной природы, культуры, истории, традиций семьи, государства, народа...

Словом, духовное здоровье каждого без исключения — это здоровье, благополучие в целом всего народа, страны... Все же хорошая, духовно богатая семья — верный барометр духовного здоровья и здоровых духовных интересов... Горький когда-то говорил: не минуйте первоисточника, начала всех начал — не минуйте Пушкина, чтобы не обидеть самих себя!.. И каждое время словословит о Пушкине по-своему, и каждое отдает своих детей в учение ему...

— Семен Степанович, это очень интересная мысль, мимо нее, можно сказать, не проходил ни один русский художник и мыслитель, каждому из них по-своему был нужен Пушкин, для одного — высший взлет поэтического духа, для другого — осмысление исторической судьбы России и русского человека. Вот как замечательно и вдохновенно писал Николай Алексеевич Бердяев в той же книге, что я уже называл, в разгар революционных духовных схваток в 1919—1920 годах...

«В России мы переживаем конец Ренессанса и кризис гуманизма острее, чем где бы то ни было на Западе, не пережив самого Ренессанса. В этом — своеобразие и оригинальность русской исторической судьбы... Вся великая русская литература...— не ренессансская по духу... Одна вспышка, когда блеснула возможность Ренессанса — это явление пушкинского творчества, это — культурная эпоха Александра I. Русская литература XIX века, в начале которой стоял чарующий гений Пушкина, была не пушкинская; она обнаружила невозможность пушкинского творения и пушкинского духа. Мы творим от горя и страдания; в основе нашей великой литературы лежала великая скорбь, жажда искупления грехов мира и спасения... Никогда не было у нас радости избыточного творчества...»

— Бердяев удивительно верно определил место Пушкина в нашей духовной жизни... Да, Пушкин соединил в себе обращение русского человека к природе и обращение к вечным ценностям античности, то есть к природным основам человеческой жизни... Он увидел Татьяны милое семейство, Татьяны милый идеал. А идеал русского человека — его душа! Вот почему в наше время, когда возникает духовная жажда у миллионов людей, Пушкин — живая и постоянно действующая сила. Пушкинское неистребимо, оно бессмертно. Оно — радость жизни, утешение в трудный час. И люди идут и едут к нему отовсюду. Им нужен Пушкин... Вот когда поэт воистину становится любимым и народным, а его творчество — духовно Соборным... Вот почему так много помощников у нашего заповедника — и партийных, и беспартийных, известных мастеров культуры, и тысячи, тысячи людей, желающих свою, пусть маленькую лепту, внести в вечную память о Пушкине.

Признаться, меня всегда несколько смущает, как свободно размышляет Семен Степанович о вечности и вечном. Но, с другой стороны, сегодня он уже и сам — частица вечности... Явится ли еще человек, которому на роду будет написано так много сделать для любимого сына русского народа, для любимого сына Земли нашей... Вряд ли. Все же Семен Степанович пришел в заповедник в ситуации бедственно-исключительной, которая не повторяется даже каждое столетие... И создал уникальный образец познания Пушкина, своеобразную школу, единственную по традициям и методу обучения, единственную

по своему духовному и эмоциональному заряду, в чем-то схожую с древними школами Сократа, Платона и Аристотеля... Это, пожалуй, без преувеличения, единственное явление в пушкиноведении и музееведении XX века...

Однако вечное всю жизнь занимало и Пушкина. Он смотрел в грядущие века русской и мировой жизни. Эти приметы не только в его стихах, но и во всем образе жизни. Именно их пытается расшифровать Семен Степанович, чтобы духом вечности сегодня наполнить все окружавшее Пушкина... Вот тут-то ему, несомненно, необходима полная свобода и универсальный взгляд на вечное — в духе ли, в мире ли вещей...

Он долго молчит, словно пытается еще раз про себя измерить всю неоглядную даль памяти народной о Пушкине и его вечной жизни...

И УЧИТЕЛЯ, И УЧЕНИКИ...

— Пушкин, конечно же, в последние сорок лет,— прерываю я молчание,— первый ваш учитель. Но, кроме школьных и университетских учителей, были люди, которых вы бы по праву доброй памяти и честного сердца могли назвать своими учителями, из тех, кто помогал вам в деле, открывал тайны искусства, литературы, мудрость житня и вместе с вами открывал Пушкина?!

— Их было на моем долгом веку много, и это были самые разные люди. Скажем, я тридцать лет встречаюсь с Дмитрием Николаевичем Журавлевым, народным артистом СССР, известным мастером художественного слова. Он обладает даром проникновенного понимания пушкинской строки, мысли... А поскольку одна из разновидностей моей работы здесь — беседа с затерявшимся путником, экскурсантом, туристом, человеком, который жаждет встречи с Пушкиным, то такой мастер, как Журавлев, меня, конечно, многому научил.

Мы проводим праздники поэзии, и сюда приезжают поэты, художники, деятели культуры разного толка. Когда я им показываю Пушкинский заповедник, без выразительной подачи живого пушкинского слова мое выступление было бы в известной мере блеклым. Люди, попадая в Михайловское на большой праздник, требовательны, им не важно, кто ты — директор или экскурсовод, лектор или просто научный сотрудник, но, объясняя, разговаривая, ты должен уметь все произнести в рамках торжественности и величания Пушкина. Без огромного труда и обучения такого не постигнешь...

Я очень люблю музыку. Она открывает для меня часто то, что я никак не могу открыть другими средствами. Сколько бы я ни читал, сколько бы я ни созерцал произведения изобразительного искусства, все равно иногда чего-то не понимаю. И тогда приходит музыкальное познание.

Никогда не забуду встреч с английским композитором Бриттеном. Он в то время работал над циклом лирических произведений на стихи Пушкина. Мы вели с ним очень интересную беседу о таинственной сущности стихотворения Пушкина, сочиненного ночью во время бессонницы. Он сел за рояль и стал мне объяснять словами и звуками, открывать что-то совершенно таинственное. И я почувствовал то, что заставило меня потом, при встрече со Свиридовым, другими композиторами, найти дорогу к пониманию музыкальной сущности лирических произведений Пушкина. Без этих людей, без встречи с ними я, может быть, этого не понял бы никогда...

В моей жизни очень помогли встречи с писателями. Я был близко знаком с Николаем Алексеевичем Клюевым, у него я встретился с Есениным. В моем доме бывал Ярослав Смеляков... Дудин стал почти родственником, потому что он каждый год живет в Михайловском по месяцу-полтора.

Я могу назвать многих писателей, которые, приезжая в Михайловское, приезжают прежде всего к Пушкину, но приезжают и ко мне. У нас очень интересные бывают разговоры о судьбах культуры, современной поэзии.

Будучи искусствоведом, я подружился со многими художниками. Екатерина Федоровна Белашова, создавшая замечательный памятник Пушкину, была мне близким и дорогим другом. Я дневал и ночевал в ее мастерской. Я дружу с Михаилом Аникушиным — поразительным знатоком Пушкина, Андреем Мыльниковым, одним из ведущих наших живописцев. Вот уже более тридцати лет я дружу с Василием Звонцовым — тонким графиком, певцом Пушкинского заповедника. Все эти люди — мои духовники, мои братья по искусству. Они всю жизнь учили меня хорошему, открыли свое таинственно-благородное понимание многих явлений, подвигнули меня к добру!.. Вот этому я не устаю учиться и в свои восемьдесят семь лет, я — жадный до добра, до дружеского участия, до истины, до правды!

Всю свою несколько подзатянувшуюся жизнь я служу у людей любознательным и благодарным учителем и учеником. Иначе нельзя, иначе главное твое дело не подвинется и не преуспеет, такова диалектика жизни. Учись неутомимо — это одна из основных заповедей блаженства, жизнеустройства, познанных и Пушкиным...

Я и сегодня не стыжусь учиться, теперь, правда, чаще у вас, у тех, кто моложе меня лет на тридцать — сорок...

ДО ГРАНИЦ ВЛАДЕНИЙ ДЕДОВСКИХ

Как-то я спросил у Семена Степановича, мол, что предпочтительнее в заповеднике: пространственное освоение памяти о Пушкине или вещественное — углубленное вглядывание в предмет...

— И то, и другое,— сразу же ответил он, как это бывает, когда речь заходит о мыслях, давно им обдуманных,— важно соблюсти разумную пропорцию. В стенах нынешнего заповедника нам уже тесно; чувствуя духовную жажду людей к Пушкину и ко всему пушкинскому, мы должны, обязаны помочь утолить ее... Скажу вам, задача непростая, много лет у меня ушло на ее обдумывание...

Семен Степанович — большой жизнелюб, мечтатель... Но я хорошо помню немногие, редкие дни его радостей. Звоню ему в Михайловское накануне дня рождения... А он, не выслушав моих поздравлений, кричит: «Арсенюшка-батюшка, свершилось.. Проект утвержден, ура! К черту все, забудь про мои семьдесят восемь лет! Начинаем строить научно-музейный пушкинский центр!»

А сейчас пишу об этом и думаю, как же давно все было...

Сначала проект-мечта был только в его голове, потом им жили мы, его друзья, потом Министерство культуры РСФСР, потом все поднялось до правительства России. Специалисты советовались, спорили, отвергали, сомневались... А он, несмотря на свои отяжелевшие годы, не отступал, приезжал в Москву и большую часть времени тратил на осуществление своей грандиозной затеи... Пять лет «обивал» пороги. И добился. А потом была закладка первого камня...

Совсем недавно у нас зашел разговор об экспозиции научно-музейного центра, строительство которого завершается.

— Думал, не доживу?! — хитро улыбается он. — Я и сам мало надеялся. Что бы сделал я один, глубокий старик, без большого пешего хода и ловких рук, умеющих открывать все двери. Но мне удалось своей мыслью о необходимости такого центра заразить сначала десятки, а потом сотни и тысячи добрых, заботливых, думающих о будущем людей, не только ведомства, но и руководителей партии, правительства...

Представьте себе — Пушкин, закончив земную жизнь, оставил неизменные десять томов сочинений. Но какую духовную культуру выпестовали эти скромные, небольшие по объему десять книжек! Назовем хотя бы несколько имен: Гоголь, Лермонтов, Толстой, Достоевский, Горький, Чехов, Блок, Глинка, Чайковский, Рахманинов, Свиридов, Коненков, Белашова, Лактионов, Мыльников, Моисеенко... Он по праву стоит во главе этих имен, а, стало быть, и во главе мировой культуры!

А ведь этот список можно продолжать и продолжать. И все они осенены его великой лирой... Все они, в какой-то, большей или меньшей, степени, коснулись Михайловского. Многие из них приезжали сюда на поклон и уезжали, потрясенные скромной деревенской жизнью его, глубочайшим проникновением в дух и участием в этом проникновении здешней природы, людей сельских...

А рассказать эту послеземную жизнь его уже невозможно в тесном кабинете, маленьком зальце деревенского дома по-

та, таких невероятных масштабов и свершений она достигла. В музее мы привносим только импульс, а жаждущему получить полноценные знания, во всем объеме, можем их дать лишь в научно-музейном центре, где к нашим услугам будут просмотровые залы, библиотека, огромное хранилище, лаборатории... Мы к этому вселению в храм знаний, храм света и добра, готовимся много лет... И уже немало сделано. Разработана экспозиция. Десятки художников трудятся над нашими заказами. Эти познавательные «одежды» центра должны быть увлекательны, в них мы хотим вложить весь накопленный опыт наших диалогов с паломниками...

Так, от маленькой светелки Арины Родионовны, где Пушкин познавал народный дух — песни, сказки, притчи, побасенки, — мы пришли к познанию, во всей полноте взлелеянного и облагороженного десятками гениальных художников, всечеловеческого духа...

— Семен Степанович, масштабы сегодняшнего заповедника намного превышают те, что были определены декретом, подписаным Лениным в 1922 году?

— Иначе и быть не могло! — По-юношески энергично ответил он. — Тогда под охрану взяли только Михайловское, Тригорское и могилу Пушкина в Святогорье. А за последние двадцать лет практически вся земля, где жил и часто бывал поэт в годы ссылки, стала территорией заповедника. Это старинные городища Савкино и Воронич, оба нами благоустроены и приведены в порядок, усадьба Ганнибалов в Петровском, село Бугрово, где мы восстановили водяную мельницу, озера Маленец и Кучане, с прилегающими землями. Кстати, оба озера также нами возаращены к жизни. Много мы положили труда, чтобы вырвать их из состояния уже наметившегося угасания.

— Можно сказать, что сегодня заповедник находится в своих истинных границах?!

— Нет, нам предстоит обжить еще несколько мест, очень важных для понимания сельской жизни поэта, — глаза его загорелись вдохновенно. — Около десяти лет по заказу Псковского облисполкома лучшие ленинградские реставраторы работали над проектом дальнейшего развития и благоустройства Пушкинского заповедника. Теперь этот проект, разработанный «Ленгипрогором», принят облисполкомом с высокой оценкой. Он открывает заповеднику большие перспективы...

— Какие?!

— Мы впервые получили в руки научно обоснованный, разработанный во всех деталях с учетом всех факторов (экологических, мемориальных, социальных, нравственных) долгосрочный план дальнейшего развития, — в голосе его звучали горделивые нотки, — предусматривающий расширение нашей сферы влияния. Нам предстоит обжить жемчужину Пушкиногорья — озеро Белогулье с его островами (место удивительное по красоте), а также старинное городище Велье, пожалуй, самое оригинальное из окружающих Михайловское, еще одну усадьбу Ганнибалов в Воскресенском...

— Оправдано ли такое расширение?!

— Наши оппоненты столь же придирчивы к этому! — Улыбнулся Семен Степанович. — Но если думать о будущем, то надо расширяться, причем не теряя времени... Пушкин эти места любил, бывал и на Белогулье, и в Велье, и Воскресенском... А при растущем потоке паломников надо думать и заботиться о непересекающихся маршрутах, чтобы не возникал налет захоженности и засмотренности. В доме можно заменить изношенные полы (работа в несколько недель), в изношенную, загубленную природу не восстановишь и за десятилетия...

Потому, насколько в моих силах, я всячески способствую оправданному, целесообразному расширению заповедника до границ владений дедовских, как говорил Пушкин...

Подумайте, Пушкиногорье — это не просто земля, — устыдил он меня, — способная каждый год плодоносить рожь, пшеницу, картофель, она взрастила вечную красоту — поэзию великого Пушкина. И имеет полное право на охрану... Таких мест на планете немного, не надо себя обманывать... И для нас они должны быть священны, как древняя земля Эллады.

...Его всегда глубоко огорчает, если пушкинское место в запустении. Помню, ездили мы с ним как-то в подмосковное сельцо Захарово, где он много лет не бывал. Ходили по сиротливо запущенному парку, вдоль обмелевших и заросших прудов, осматривали липы, которые могли помнить юного Пушкина... Потом молча долго сидели у кособочного дома, построенного на фундаменте бывшего ганнибаловского дома... И сиротливо было на душе, печально, сумрачно...

— Несправедливо держать такое место в запустении, Пушкин его очень любил, — с грустью и досадой заметил он. — Может быть, здесь и родился в нем поэт, не мог не родиться, гляньте-ка на окрестности, их видел Пушкин... Какое диво, какая ширь, какая воля глазу!.. Плохие мы наследники духовного, нерадивые...

Я попытался тогда поддержать Семена Степановича и напечатал материал в газете, как мы ездили с ним в сельцо Захарово. Посетовал, что память наша о Пушкине весьма избирательна... Но результат был невелик, даже ничтожен... Благоустроили кое-как большое поле возле парка, на котором стали проводить пушкинские праздники, и перенесли памятный знак... Потребовалось еще не раз и не раз выступать в центральной печати, прежде чем внимание наших влиятельных пушкинистов было обращено к Захарову, а следом за ними — и партийного, и советского руководства Подмосковья и России... Но зато теперь нет издания, которое бы не писало о «детской» пушкинского дома, как будто по команде, вдруг кем-то данной, все заговорили... А смысл претензий таков, что тут соорудят нечто нам доселе неизвестное. Горькое возникло у меня предощущение, как бы не появился еще один Версаль, вроде особняка на старом Арбате... Слишком велика подобная опасность, когда за дело берутся громогласные и вездесущие люди, для которых удовлетворение собственных амбиций выше возвращения к жизни простой и скромной «детской» поэта... А делу нужен подвижник, любящий Пушкина и пушкинское больше себя...

Или в другой раз, он вернулся из Болдина, куда ездил на 150-летний юбилей «болдинской осени»... И был столь же печален и расстроен, как и в Захарове.

— Сколько там надо сделать! — Озабоченно вздыхал он, — годы на это нужны... А ведь я думал, что они живут лучше нас... Место для заповедника превосходное, только твори, делай, не уставай... Что же мы за народ?! Срам какой-то!

— Ну так еще сделают, — попытался я успокоить его...

— Верно, когда-нибудь и Болдино не оставят забытым. Но люди-то не хотят ждать, вы же чувствуете это, как же так? — Он осуждающе покачал головой. — Все пушкинское они хотят видеть в состоянии наилучшем... За пушкинское они болеют душой больше, чем за свое, личное... Когда мы этого не понимаем или недопонимаем, или не хотим понимать, такое тоже еще не редкость, то, несомненно, душевному самочувствию людей приносим немало волнений... Лишаем их веры, крепкой, надежной в наше будущее. А за этим — жизнь внуков, правнуков, Отечества... Что касается Родины, ее духовников и апостолов, особенно забытых, поруганных, незаслуженно обойденных вниманием, в этом народ, как праведник, справедлив. Выждет, но вернет, хоть поздно, но вернет! Хорошо бы помнить это...

Конечно же, Семен Степанович в этом глубоко прав. У себя в заповеднике он тратит много душевных и физических сил, бывает ворчлив, привередлив и неугомонно-настойчив во всем, даже в таких, казалось бы, мелочах: засыпан ли чистый песок утром на дорожках...

— Свежесть жизни, неувядание ее — вот что должен встретить, прежде всего, паломник в заповедном месте!.. — не устает он повторять...

МИЛОСТЬ СЕРДЦА

А этот разговор случился у нас недавно, когда общество наше вновь всерьез задумалось о человеческой судьбе, а с ней — и о добродетелях, которые мы выбираем. На мой вопрос — какие из добродетелей он ценит, каким сам служит, какие воспитывает в других, Семен Степанович ответил:

— Добродетелей много, и все они важны в жизни. Я хочу сказать о тех, что всегда исповедовал сам.

Как только ты становишься богаче, чем окружающие тебя люди, как только на твоем столе, в обиходе появляется что-то излишнее, не складывай это в сундук, не береги, как скупой рыцарь, а постарайся поделиться с теми, у кого этого нет. И радость к тебе придет, и умиление тебя не оставит, и ты даже поднимешься, как говорится, еще выше над всею земною юдолей. Это я давным-давно понял.

Человек, который лишен чувства умиления сердечного, участия в трудностях другого — это тяжелый челоаек и для себя, и для семьи, и для общества, и для государства. Что предполагает участие? Оно прежде всего предполагает милосердие. Пушкин, подводя итоги своей жизни, писал: «И долго буду тем любезен я народу, что чувства добрые я лирой пробуждал, что в мой жестокий век восславил я свободу и милость к падшим призывал...» Милость, милосердие. Все люди — братья!

С этой мыслью пришла новая эра сознания людей — социалистическая. Что же роднит людей?! Добрая мысль, мудрость, взаимоуважение, а уж никак не двойная мораль, которая буквально захлестнула наших руководителей в застойные времена. И оказалась столь живучей, что мы до сих пор никак от нее не можем избавиться... И когда же мы только будем относиться друг к другу с чувством добра, помощи, сострадания?! Крепко же мы измяты, истерзаны за эти долгие годы. Нет нам успокоения ни в чем! Каково так жить? Надо искать согласие и понимание...

Это гигантское, архитрудное дело, чтобы люди стали братьями, — на которое только Ленин, явление исключительное во все времена, мог решиться. Хотя я понимаю, что чувства добрые были созвучны всем вершителям человеческих надежд, счастья, веры, как Толстому, Достоевскому, Ленину, твк и до них, Пушкину. Ведь это он сказал, что счастие моих друзей мне было сладким утешением... Вот чего нам не хватает!

— Но из всех добродетелей — правда, честь, совесть, счастье, долг, любовь, работа... Какое у вас на первом месте?

— Работа. С самых ранних лет, в доме у меня были нужные и действительные обязанности: принести воды, напилить дров, накормить уток и кур, отправиться на лошади в ночное... Я все делал охотно, без напоминаний, и испытывал от этого удовольствие...

Чувство удовольствия от работы, от сделанного, от полезного не только мне, а прежде всего — людям, моим близким, я пронес через всю жизнь... Какая же это великая радость!..

Ведь и Пушкин самой высокой добродетелью, самым дорогим на земле считал труд. Когда его друг, поэт Вяземский попытался оценить, а что же, собственно, Пушкин явил миру, как личность, невиданная до сих пор, то пришел к выводу: Пушкин явил высочайший образец трудолюбия, блаженства в труде!

И написал в своей книге, что в Пушкине глубоко таилась охранительная и спасательная нравственная сила. Это сила была — любовь к труду, потребность труда, неодолимая потребность творчески выразить, вытеснить из себя ощущение, образы и чувства, которые в груди его просились на свет божий и облекались в звуки, краски, в глаголы, чарующие и поучительные.

Труд был для него святыня, купель, в которой исцелялись язва, немощь, уныние, после которой он обретал бодрость и свежесть, восстанавливал ослабленные силы... Когда он принимался за работу, он успокаивался, мужал, перерождался...

По-моему, мысль Вяземского замечательна, она всеохватывающа! Я всегда представлял Пушкина таким неутомимо работящим. Иначе мог ли он за свой короткий век свершить столь великое... Наши возможности, конечно, значительно скромнее... Но в радости трудиться кто нам откажет?!

— Вы знаете, Семен Степанович, у Розанова Василия Васильевича есть одно любопытное замечание на сей счет. Он писал, что бывает вид работы и службы, где нет барина и господина, владыки и раба: а все делают дело, делают гармонию, потому что она нужна... И это понимал Пушкин, когда не ставил себя ни на капельку выше капитана Миронова из Белогорской крепости. Розанов считает, что капитану было хорошо около Пушкина, а Пушкину было хорошо с капитаном...

Это, конечно, гармония добродетелей. А мы ныне столь злобливы, вгрессивны друг против друга, столь капризно-ревностны к своему положению, которое должно быть обязательно хоть на чуточку выше положения другого, причем, как правило, это возвышение ничем не подкреплено, ни умом, ни талантом, ни трудоспособностью одержимой...

— Эта гармония шла от самого Пушкина. Его необыкновенный дух творил ее, потому ни одив строчка Пушкина не устарела, каждая и через сто пятьдесят лет нам интересна и необыкновенно свежа. Он творил эту гармонию как бы против жизни, потому что в жизни-то хватало подлости, свинства и жуткого крепостничества. Все это мучило его... Пушкин для нас еще по-прежнему тайна за семью печатями... Он знал о нас больше, чем мы сегодня сами о себе...

— Так в чем же нам-то искать утешение?!

— Утешение?! В труде! Если работа вам в тягость, какое может быть утешение. Вы сами себе в обузу... А если вы торите свою тропу, выбранную по сердцу, тогда и преклонный возраст — не самая большая помеха. Сил меньше — это верно.

Но труд и сегодня — мой исцелитель, моя последняя задержавшаяся радость!..

Здоров ли я был, или болен — моим распорядителем всегда был труд, движущая сила моего бытия. Я еще не оглупел, память меня не оставила, и тормоза болезненного состояния еще не пришли в действие. По-прежнему активно работаю, как всегда требователен к себе...

И жизнь мне, как это вам ни покажется странным, дарит еще открытие маленьких «америк», я теперь, пожалуй, ближе к таинам Пушкина... Мне кажется, что я даю добрые советы молодым людям, окружающим меня... И порой с грустью смотрю на некоторых своих товарищей по работе. Им всего-то тридцать лет, а они уже кряхтят, стонут, они уже перетрудились... А ведь им тоже хочется дойти до зрелого возраста, до мудрости и многоопытности, но как, если морально они уже старики?!

— К сожалению, это стало довольно распространенным правилом!..

— А зря... Надо кое-что изменить в наших жизненных правилах. Слава богу, что об этом заговорили всерьез, законодатели наши посмотрели на это зрячими глазами. Ведь в самом деле, кого воспитываем?! Нельзя, чтобы человек начинал работать в двадцать пять — после института или в восемнадцать — после ПТУ. Наша родительская опека принимает, порой, болезненные, уродливые и безнравственные формы! Чем раньше ребенок откроет и поймет, что главное благо в жизни — труд, тем крепче он будет стоять на ногах... А у нас здоровые дети отдыхают, бездельничая, в пионерских лагерях... От какой такой усталости они отдыхают? Разве так испокон веку велось?! В семь лет он был уже помощник. И давно ли?!

А в жизни-то мы везде и во всем нуждаемся в помощниках. Сколько вокруг работы, совершенно посильной для ребят. Вон какие дылды, а что они умеют? Может, прополоть поле, грядки, посадить дерево, убрать валежник, почистить двор?! Что они умеют, если до двадцати лет, а то и старше, никакой инструмент у них не бывал в руках?! Стыд, гвоздь забить не могут, чтобы по пальцу не стукнуть...

И во всем этом прежде всего я вижу вину родителей, которых это не беспокоит, а потом и школы, и многих наших ведомств, которые нуждаются в помощи, но от помощи взрослых детей всячески открещиваются, чтобы только не нести ответственности... Каких же мы вырастим работников, а ведь богатства-то нам не с неба упадут, их надо руками создать. Русского мужика всегда обвиняли в лени, но так его еще никогда не опустошали бездельем, да еще сызмальства...

— У вас нет впечатления, что забота об отдыхе сегодня у всех, включая и профсоюзы, и комсомол, стала бóльшей, чем забота о напряженном созидательном труде? И пока, несмотря на перестройку, в этом никто еще не перестроился...

— Конечно, именно так. Чаще всего слышишь — подай отдых, как в худшие застойные времена! И что же это за отдых — пустое времяпрепровождение, ослабляющее душу и дух?! Да и работа в положенный, нормированый срок — для некоторых ленивое коротание времени... Могут ли они назвать ее добродетелью, скорее — наказанием... Во мне все, до внутреннего гнева, восстает против этого.

— Потому все надо начинать сначала — от первых поколений, только что пришедших в жизнь. А вам не кажется, Семен Степанович, что некоторые добродетели как-то вышли из употребления... Скажем — милосердие, оно ведь вовсе не религиозного толка? А острейшая потребность сегодняшней жизни. Вот и общество у нас такое, наконец-то, возникло, объединив людей добрых и добросердечных. А сколько еще надо сделать, чтобы освободить людей от душевной коросты...

— Согласен, милосердие имеет смысл совсем не церковно-религиозный, в мирской. Без милосердия люди жить-то не могут... Ленин это сказал давно, отвечая на вопрос, как быть с милосердием нам, революционерам... Он утверждал: надо

быть и милосердными... И в великом учении о воспитании нового человека, культурного, образованного, находящегося постоянно в состоянии творчества, горения, неустанного созидательного труда, писал также он, человека нельзя считать гармонически развитым, если он лишен чувства добросердия и милосердия. Слово-то какое — милость! Разве оно может уйти из нашего словаря?!

— Милость сердца! А ведь попытка такая была — ожесточить наши сердца, лишить их чувств добрых...

— Преступная попытка! — И голос его налился гневом. — Ожесточить людей, чтобы тиранам быть еще более жестокими! Подумайте, когда мы хотим выразить чувство благодарения, мы говорим «спасибо». Что это такое? Это спаси вас бог, — спасибо. Казалось бы, какое право имеет это слово на жизнь в наш атеистический, материалистический век. А наряду с этим, мы употребляем его. «Спасибо, дорогой, спасибо, дай я тебя обниму». Как тепло и сердечно, утепляя нашу душу, звучат эти слова...

Так и слово «милосердие». Оно относится к категории этих старомодных слов, но отражает нужную, крайне современную человеческую потребность. Без милости, без милостивого, добросердечного отношения к природе, цветку, дереву, птичке, животному, наконец, к человеку, нет в самого нового человека!

— Вам не кажется, что теперь в отношениях между людьми особенно чувствуется «дефицит» на участие, сострадание?

— Закостенели мы, — он тяжко вздохнул. — Ой, как закостенели! А сострадание — это такое же необходимое для человека состояние, как для голодного — хлеб, жаждущего пить — свежая вода, влюбленного — сердечное свидание, дружеский разговор. И вы правы, тут мы кое-что существенное утратили...

— А как теперь вернуть?!

— Надо возвращать всеми средствами, — пустой рукав взлетел вверх и энергично разрубил воздух, — всеми, чем только мы располагаем: искусством, поэзией, музыкой, широкой программой нравственного и эстетического воспитания детей, доброжелательной обстановкой в семье...

Раньше человек рождался в семье, которая была призвана дать смену поколений. И все хорошее, что было у родителей, обязательно передавалось детям... А дети шли дальше, чтобы на земле был мир, чтобы в семьях их наступило умиротворение. У нас же почти шестьдесят лет устраивают вавилонские столпотворения: коллективизация, индустриализация, жесточайшая война, целина, химизация, строительство ГЭС и АЭС, БАМ, мелиорация, переброска рек... В какие только водовороты не вовлекали людей... И десятки тысяч семей распадались, уничтожались, дети их, как и родители, мчались по свету, как перекати-поле. Это трагические картины нашей жизни, когда миллионы людей находились в мятущемся движении, в состоянии взвинченности, истерической приподнятости, наносных страстей, ненужных столкновений, сумятицы, неуравновешенности. Разве в такой обстановке в доме появится радость и все то, что является фундаментом в создании нужного, спокойного, величественного образа жизни?! Атмосфера семейного счастья должна быть наполнена оседлостью, постоянством добрых нравов, взыскательной требовательностью к детям, трудолюбием, терпением, благородством, спокойствием.

— Кстати, Семен Степанович, в ваши, давние времена, говорили «творить добро», а мы теперь чаще употребляем «делать добро», будто это какая-то машинная операция, функция. Творить и делать — все-таки суть вещи разные. В этой замене, наверное, есть замена меры действия, какая-то утрата творческого, самодеятельного выражения человека, утрата одухотворенности самого волеизъявления человека...

— Творить — это состояние духовное, это какая-то особенность творческого проявления... — Семен Степанович помолчал и настойчиво продолжил, — в ней есть и желание, и самостоятельный побудительный момент, и нравоучение, и высокое назначение добра, которое можно только сотворить, подобно богу. В творении добра — высок сам человек в своих помыслах. Так я думаю...

— Делать — это удел прагматиков, а творить — достоинство мастеров...

— Творчество — всегда предполагает возвышенность задачи, а дело бывает всякое: мерзкое, скверное дело, и всякое другое. Вон, современные авангардисты — они уж до того ушли в формы, что и забыли, что она существует для содержания. Но творчество никогда не бывает таковым, в нем смысл другой — оно немыслимо без содержания.

— Возьмите творчество души...

— Вообще творчество без души не бывает. Дело может быть и без души, механическое, заученное, а творчество — никогда. Оно происходит от слова «творец», как высшая сила, воинственно владеющая человеком и всеми возможностями, которые он может исполнить на земле. «Душа обязана трудиться» — вот неотъемлемый закон духовной жизни.

Хотя иногда я замечаю, мы, совсем неодобрительно, говорим: «опять душа!», — он круто повернулся ко мне и спросил с ехидцей. — А вот с нашей, с материалистической точки зрения, что это такое?! Почему она, действительно, в мыслях и заботах наших должна занимать так много места?! — И вдруг остановился, будто ждал от меня ответа. Но через совсем короткую паузу продолжил. — На память мне приходит утверждение, что действительность материальна, как считает современная физика, но не всегда предметна. Не все можно увидеть глазом, но наше душевное состояние отражается на всем... И Пушкин — это русский Ренессанс, наш душеоткрыватель, наш душеприказчик на все века русской жизни.

СЕМЬ ГРЕХОВ...

Семен Степанович откинулся на спинку стула, помолчал, внимательно вновь поглядел на меня... И вдруг резко и назидательно объявил:

— Наша душа, как и душа природы, неутомима и неугомонна — вот что надо помнить! Душа — это есть, прежде всего, страсть! Разве можно лишить человека поиска истины, правды, добра, гармонии, радости, наслаждения... Эти явления неисчерпаемы, так и душа не знает предела.

Только человек, вконец обленившийся, равнодушный ко всему, погрязший в себялюбии, лестелюбии, глух душой... Семь смертных грехов держат отдельных особей еще крепко в своих тисках.

— А почему семь?!

— В передаче «Очевидное — невероятное» один ученый объяснил таинственную сущность семерки и семи грехов, очень любопытные размышления...

— Но какие грехи одолевают смертного?!

— Зависть, лень, гордыня, похоть, чревоугодие, скупость, ярость, — неторопливо перечислял Семен Степанович. — Я подумал, можно ли это приложить к личности Пушкина, не будет ли это слишком вольно с моей стороны... Однако ведь он тоже был человек, наделенный от рождения всем, как и мы, достоинствами и недостатками... Я подумал, был ли в зрелости Пушкин завистлив? Нет. Страдал ли ленью? Нет... Он, конечно, был горд, но не высокомерен, гордыней не отличался. Чревоугодием страдал?! Неизвестно, пожалуй, нет. Как со скупостью? Не грешен. Похоть?! Эти грехопадения его очень преувеличены злыми языками!

— А ярость?!

— Ярость у него была... Иначе он не погиб бы на дуэли... Но все же в преодолении человеческих испытаний Пушкин был могуч, он показал, что многое дурное и гадкое человек в себе способен одолеть, выказав высокую щедрость и полноту душевного. «Да, жалок тот, в ком совесть нечиста...» Эти бессмертные слова мог произнести только рыцарь совести и нравственной чистоты.

А сам он видел людские пороки и взыскательно, как художник, раскрывал. Это он открыл в Сальери — губительную зависть, а в Скупом рыцаре — трагическую жадность и душераздирающую скупость, а в Дон-Жуане — хищника любви, раба любовной страсти... В своих маленьких трагедиях Пушкин обнаружил гениальную способность властвовать над страстями...

— Однако, куда как сложнее ему было властвовать над собственными страстями, — напомнил я Семену Степановичу, — взять только многолетнюю борьбу с издателем, критиком и редактором Фаддеем Булгариным... Изматывающая литературная борьба была в те времена не менее жестокой, чем сейчас. Пушкин по собственному опыту знал и брань завистников в печати, и попытки выдать бездарное за талантливое, и наоборот — талантливое за бездарное, и рой окололитературных, продажных шмелей, зависавших над духовным явлением... Все, что в такой острой и болезненной форме коснулось нас в пору гласности, известно было Пушкину на сто шестьдесят лет раньше...

— Конечно, теперь общеизвестно, что ситуацию Моцарта и Сальери он пережил сам... Булгарин служил не совести, а зависти, потому и оказался в доносчиках... Но в ту пору обыватель и даже честный, но мало осведомленный человек, стряпню булгариных принимал отчасти за правду и сердился на Пушкина .. Уж таково общественное мнение, оно порой не ведает, что творит...

Но сам Пушкин даже в полемике с Булгариным, которого иначе, как негодяем, не назовешь, был великодушен, благороден и не опускался до сведения счетов, ограничиваясь лишь литературной полемикой. Хотя сам Булгарин был нагл, высокомерен и влиятелен. Ему даже удавалось через высоких лиц закрывать литературные издания, где печатался Пушкин и его друзья... Потому, наблюдая за сегодняшней ситуацией в литературной жизни, мы, действительно, можем сказать, что нам ведомы дикие нравы неистовых булгариных — редакторов некоторых современных литературно-художественных изданий...

— Что такое с нами случилось, Семен Степанович?!

Он хмуро и сердито посмотрел на меня, а ответил посвоему точно:

— Когда я читаю в партийной газете, изданной на русском языке, письма молодых жителей Вильнюса с требованием убрать с бульвара памятник Пушкину, поставленный благодарными литовцами — отцами и дедами авторов писем — сто лет назад, то не могу сказать, что это вызывает у меня прилив радости. Мои чувства такие же, как, когда я читаю пасквили Булгарина. А подобного в нашей жизни стало что-то много, уже мне не по возрасту переносить всю эту брань...

Больно это схоже с двадцатыми годами. Я то время помню хорошо, и никогда не забывал, как безумные рапповцы буквально хотели растоптать, уничтожить русскую культуру, называя ее «дворянской». У них чесались руки смести пушкиных и толстых, достоевских и мусоргских .. У всех гениев были найдены пороки, крикливо объявлены повсеместно, и воздух ревел: «Ату их, ату!..»

Страшная, опасная для жизни и для культуры игра!

Нынешние дни мне напоминают те, далекие и памятные, словно печальные уроки не пошли впрок...

Снова горластые нахрапом хотят спихнуть великую литературу на обочину и расположиться самим в центре всеобщего внимания, забывая, однако, что жизнь и народ в конце концов всегда окажутся справедливыми и все распределят по своим местам — и Шолохов, и Леонов, и Астафьев останутся любимыми писателями, а вот где будут клеветники?!

— Наверное, там же, где и сейчас, ведь стыд им глаза не ест... Но важно выстоять в это нелегкое время, как когда-то выстоял Пушкин. Он же против истины, против совести не пошел, он не уподобился булгариным в этой борьбе... Он сохранил достоинство и честь!

— Громогласно лает зависть, негодяйство, а совесть смиренно безмолвствует, она ждет часа, и несущий свой крест, как учит жизнь, всегда оказывается правым, совестливым и справедливым... Перед крикунами и доносчиками Пушкин не унизил гордый ум, не боготворил их восторгом чистых дум, не впал перед ними в безумство, неистовство страстей... Только иногда прорывалось в его строках: «Далекий, вожделенный брег! Туда б, сказав прости ущелью, подняться к вольной тишине, туда б, в заоблачную келью, в соседство Бога скрыться мне!» Но не уступить. Вот как думал и поступал наш гордый гений.

— Семен Степанович, и тут еще одна любопытная деталь, когда мы говорим о месте Пушкина в русской и мировой литературе. Если народ сразу же, однозначно, обожествлял гений Пушкина, видел его всегда во все времена впереди себя, то интеллигенция, точнее некоторые ее представители, всегда пытались поставить под сомнение духовные достижения Пушкина... Был ли это Булгарин, иль Писарев, иль рапповцы, иль современные леваки-неформалы — им непременно хотелось и хочется свергнуть национальные святыни... Наши святыни! Попробуй тут сговориться!

— Но Пушкин — недосягаем! — Семен Степанович тепло улыбнулся и твердо повторил, — нет, недосягаем!..

Здесь, пожалуй, уместно было бы прервать наш диалог и кое-что проговорить, исследовать самим, пока не испрашивая мнении Семена Степановича. Тем более, что и до встречи с ним этот вопрос волновал меня, а долгие беседы лишь усиливали давний интерес к этому весьма потаенному вопросу.

Речь идет о том, в каких отношениях был Пушкин с Богом?! Ведь в его времена безбожие было бóльшим грехом, чем все те семь, которые мы обсуждали с Семеном Степановичем. Был ли Пушкин безбожником?! Иль, подчиняясь общему закону, соблюдал обряды?! Иль все же верил в таинственную силу?!

Что нам известно на сей счет? Кое-что известно...

Исповедь перед смертью... Осталось тайной, о чем он говорил со священником за несколько минут до смерти. В каких грехах он повинился и в чем просил простить его, чтобы смертные поминали в молитвах?!

Но мы знаем, по воспоминаниям современников, что в молодости Пушкин не отличался набожностью.

Когда же его душу тронуло божественное провидение?

Вот этот вопрос мы обсуждали с Семеном Степановичем обстоятельно... Когда я его спросил об этом первый раз, он как-то очень дипломатично ушел от ответа... Но вскоре дал мне тоненькую книжицу, изданную в Москве в 1903 году. Она называлась «Национальное направление и религиозное настроение в поэзии Пушкина».

Это оказалась речь, произнесенная В. А. Пузицким во Владимирской Ученой Архивной Комиссии, по случаю столетия со дня рождения А. С. Пушкина. Конечно, я ее внимательно изучил, ныне такого рода писания попадают крайне редко...

И поразился, как просто и ясно прежде выражались...

«Ныне вся Россия единодушно чтит память великого поэта, светлый гений которого принес всем нам столько радости, утехи и наслаждения, дал так много уроков человеческой мудрости, пробудил столько добрых чувств к ближнему...»

И далее, выборочно, прочтем еще несколько полезных мыслей: «В произведениях Пушкина отражаются существенные свойства русского народа. По этим свойствам все мы, русские, состоим в родстве между собой, образуем один народ: отличающийся от других наций... Простота, смирение повсюду отличают русского человека: большинство героев Пушкина являются смиренными, удивительными в простоте своей русскими людьми, как старики Гриневы, Мироновы, Татьяна и др. ... Следует указать еще на одну черту творчества Пушкина, гений которого, по словам Достоевского, всемирен и всечеловечен, и поэзия которого имеет для русского народа пророческое значение. Беспристрастные критики, основательно знакомые с литературами европейских народов, единогласно говорят, что изящнее творений Пушкина нет ни в одной литературе; наш поэт, как художник, не знает соперника в мире... Могу указать на не менее важную черту его творений — необыкновенную благожелательность его поэзии... В глубине души Пушкина, повторяю, всегда таились народные начала, которые усилились и проявились в нем, когда он проживал в селе Михайловском, где он сблизился с народной жизнью и природой, «постиг таинства русского духа и мира»... Он был гениальным выразителем всего лучшего, что живет в душе русского, — выразителем его здравой мысли и нравственного чувства. Он первый заметил все величие русского духа, всю своеобразность нашего быта, всю нравственную красоту простых русских душ, и просто, также по-русски, изобразил их в своих великих творениях».

Читатель нетерпеливый, может быть, уж притомился, но все же я счел нужным привести эти мысли действительного члена Владимирской Ученой Архивной Комиссии, поскольку без них трудно понять душевное угнетение в юности, молодости и душевное освобождение Пушкина в зрелости.

Автор книжицы находит, что религиозные настроения Пушкина стали проявляться значительно раньше, чем открылись в его поэзии народные начала, а поскольку в ту пору поэт религиозные чувства таил в себе, то они и не находили отражения в юношеских стихах.

Но В. А. Пузицкий сообщает, что, будучи в ссылке в Кишиневе, Пушкин любил читать Библию, более того, там же он пишет стихотворение «Птичка»: «Я стал доступен утешенью, за что на Бога мне роптать...» А на 23-м году жизни Пушкина занимал вопрос о значении церкви в России. «Греческое веро-

исповедание, — писал он в это время, — отдельное от всех прочих, дает нам, русским, особенный национальный характер... Мы обязаны монахам нашею историей, следовательно и просвещением..»

Далее автор пишет, что в михайловском уединении (1824—1826 гг.) «поэт с сердечным умилением читал Св. Писание, изучал Четьи-Минеи и Пролог. Под влиянием таких занятий Пушкин в это время выработал в себе высокий определенный взгляд на назначение поэта, высказанный им в стихотворении «Пророк», — проповедуя Божественную истину и бесконечную любовь, жечь глаголом сердца людей и тем призывать их к жизни более высокой...»

Несколькими годами позже Пушкин говорит о Евангелии, как о замечательной книге. — «...Такова ее вечно новая прелесть, что если мы, пресыщенные миром, или удрученные унынием, случайно откроем ее, то уже не в силах противиться ее сладостному увлечению, и погружаемся духом в ее божественное красноречие!»

Пузицкий относит наиболее сильное и глубокое погружение поэта в религиозное чувство на тридцать третьем году его жизни, когда в трудные минуты он находил успокоение и утешение в чтении Св. Писания, в заучивании текстов и молитв, наиболее исполненных высокой поэзии. «Что глубоко в душе его лежало, то позже и взошло. Идет целый ряд глубоких духовных стихотворений, который завершается переложением всем известной великопостной молитвы Ефрема Сирина, написанным 22 июля 1836 года, ровно за полтора года до смерти поэта:

Владыко дней моих! Дух праздности унылой,
Любоначалия, змеи сокрытой сей,
И празднословия не дай душе моей.
Но дай мне зреть мои, о Боже, прегрешенья,
Да брат мой от меня не примет осужденья,
И дух смирения, терпения, любви
И целомудрия мне в сердце оживи.

Итожа свои размышления о религиозных настроениях Пушкина, Пузицкий утверждает, что в этих поэтических произведениях «особенно ярко выразились светлые воззрения русского гения на жизнь, греховность человеческой природы и религию; светлой и великой силой является в его твореньях религия — она очищает человека, возвышает над греховностью и облагораживает как отдельного человека, так и все человечество». «Религия, — сказал сам великий поэт, — создала в этом мире искусство и поэзию, все великое и прекрасное».

Это размышления ученого-историка, попытавшегося сделать обобщения после глубокого изучения материалов о Пушкине.

Но небезынтересно познакомиться с тем, что думал по этому поводу сам Пушкин. В воспоминаниях Александры Осиповны Смирновой (урожденной Россет), фрейлины императрицы Александры Федоровны, есть замечательные свидетельства, записанные Александрой Осиповной со слов Пушкина. Он был близко знаком, а потом и дружен с фрейлиной и ее мужем, часто с ней встречался, был постоянным посетителем ее литературного салона, где бывали и Жуковский, и Гоголь, и Вяземский... Очень часто с ней советовался, ценил как тонкого знатока поэзии, литературы, искусства, доверял ей сокровенные мысли...

Пушкин знал, что Александра Осиповна ведет дневник, и кое-что читал из него, что касалось его самого...

Здесь же мы приведем некоторые пушкинские мысли, высказанные им в разговорах о религии и боге, в том порядке, как они приводятся в воспоминаниях А. О. Смирновой. Сначала две выдержки о нем...

«Он (Пушкин. — А. Л.) признался мне, что он всегда служил панихиду по декабристам в день именин их, но что не хочет говорить об этом, так как уверен, что его обвинили бы в желании выставлять напоказ свою религиозность, а это надо делать втихомолку...»

«Он (Пушкин. — А. Л.) говорил о Риме сперва идолопоклонническом, потом христианском, говорил также об Иерусалиме, причем я заметила, что он был взволнован. Глаза его приняли выражение, которого я не видала ни у кого, кроме него, и то редко. Когда он испытывает внутренний восторг, у него появляется особенное серьезное выражение: он мыслит... Я думаю, что он серьезно верующий, но он про это никогда не говорит. Глинка рассказал мне, что он раз застал его с Евангелием в руках, причем Пушкин сказал ему: «Вот единственная книга в мире: в ней все есть». Я сказала Пушкину: «Уверяют, что вы неверующий». Он сказал, пожимая плечами: «Значит, они меня считают совершенным кретином...»

А это со слов самого Пушкина.

«Прощение явилось вместе с христианством именно потому, что оно так человечно... Кротость христианина совсем не такая, как у язычника, который прощал из великодушия, душевного благородства и величия, но никоим образом не из сострадания или доброты. Они не знали радости прощения и смирения, которые божественно-человечны... Страсть, которая трогает, не рассуждает, она красноречива отсутствием рассуждения и тем, что Паскаль назвал «доводами сердца»...

«Я убежден, что народ более всего склонен к религии, потому что инстинкт веры присущ каждому человеку. Это имеет свою очевидную причину: то, что человек чувствует, для него существует, и это и есть действительность. Веришь — чувством, надеешься — врожденной потребностью жить, любишь — сердцем. Вера, надежда и любовь — единственные чувства для человека, но они сверхъестественного порядка, точно так же, как и рассудок, совесть и память... Я говорю о памяти, которая устанавливает отношение между предметом и мыслью и чувством. Все это, безусловно, сверхъестественно: я хочу этим сказать, что все это стоит вне определенных и правильных законов материи и не зависит от нее, потому что материя подвергается этим законам, а сверхъестественное — нет. Человек очень непостоянен, изменчив, полон противоречий, но его нравственные условия постоянно управляются его волей, у него есть выбор действий. И он рожден с инстинктом сверхъестественного, которое находится в нем самом, — вот почему народ везде склонен к религии. Я хочу этим сказать, что он чувствует, что Бог существует, что Он есть высшее существо вселенной, одним словом, что Бог есть... Религия должна быть присуща человеку, одаренному умом, способностью мыслить, разумом, сознанием. И причина этого феномена, заключающегося в самом человеке, состоит в том, что он есть создание Духа Мудрости, Любви, словом — Бога... Человек нашел Бога именно потому, что Он существует. Нельзя найти то, чего нет, даже в пластических формах — это мне внушило искусство... Выдумать форму нельзя, ее надо взять из того, что существует. Нельзя выдумать и чувств, мыслей, идей, которые не прирождены нам, вместе с тем таинственным инстинктом, который и отличает существо чувствующее и мыслящее от существ, только ощущающих. И эта действительность столь же реальна, как все, что мы можем трогать, видеть и испытывать. В народе есть врожденный инстинкт этой действительности, то есть религиозное чувство, которое народ даже и не анализирует... Религия создала искусство и литературу, все, что было великого с самой глубокой древности; все находится в зависимости от этого религиозного чувства, присущего человеку так же, как и идея красоты вместе с идеей добра, которую мы находим даже в народных сказках, где злодеи всегда так отвратительны... Я не могу перестать быть русским, не чувствовать как русский, но я должен заставить понимать себя всюду, потому что есть вещи общие для всех людей. Библия — еврейская книга, а между тем она всемирна; книга Иова содержит всю жизнь человеческую... Недостаточно иметь только местные чувства, есть мысли и чувства всеобщие и всемирные. И если мы ограничимся только своим, русским колоколом, мы ничего не сделаем для человеческой и создадим только «приходскую» литературу...»

«Чтобы пожалеть, надо любить; мы возбуждаем жалость в тех, кто нас любит, потому что любовь держится самопожертвованием, готовностью пожертвовать собою для других. Наш народ, у которого есть столько глубоких слов, часто употребляет слово «жалеть» в смысле «любить»... Любовь может смягчать горести жизни... Бог есть любовь...»

«Годунов прикрепил крестьянина к земле в 1593 году, он заимствовал крепостное право в Польше... Крепостное право тяготит нас всех, так как оно безнравственно, ненавистно, унизительно... Рабство, крепостное право, все это, несомненно, должно было исчезнуть с появлением христианства; это — язычество, аномалия в христианском обществе...»

«Исус работал, как и Иосиф, всю жизнь и с целью поднять человечество; его струг облагородил труд и бедность... Работником был раб, надо было его поднять, возвратить ему его достоинство... Надо видеть в нем Спасителя всех человеков, ибо, чтобы спасти их, надо было их всех любить. Без этого Он не был бы Искупителем, Богочеловеком...»

Так я лишний раз убедился, что Пушкин вовсе не был таким отчаянным атеистом, как нам внушали еще в школьную пору... Его чувства глубже и философичнее, они выражают не только признание древних народных обрядов, которым он подчинялся, исполнял их, но и его искреннее раскаяние в своих вольных или невольных заблуждениях юности, в своем, порой легкомысленном, отношении к божьему дару — дару слова, которым он владел божественно, владел в упоительном совершенстве, и в то же время его влюбленность в высокое душевное состояние русского человека... Поразительно, как многое он не принимал в русском человеке, бранился подчас сердито — поденщик, раб нужды, червь земли, обзывал его тупой чернью, бросал обвинения унизительные: «Везде ярем, секира иль венец, везде злодей иль малодушный, а человек везде тиран иль льстец, иль предрассудков раб послушный». И в то же время ценил русскую душу, потому как провидением гения угадал, что душа и природа у русского человека — едины.

Таких строк и таких строф у него много, но, для примера, вспомним эту из «Онегина»: «Иные ну́жны мне картины: люблю песчаный косогор, перед избушкой две рябины, калитку, сломанный забор, на небе серенькие тучи, перед гумном соломы кучи да пруд под сенью ив густых, раздолье уток молодых; теперь мила мне балалайка да пьяный топот трепака перед порогом кабака. Мой идеал теперь — хозяйка, мои желания — покой, да щей горшок, да сам большой...»

Размышлениями своими я поделился с Семеном Степановичем, и он активно поддержал меня:

— Видите ли, не случайно Пушкин сам признавался, что здесь, в Михайловском, среди народа и природы, его осенило святое провидение... Когда, в какой час, какой день?! А, может, толчком, поводом к такому провидению было 17 июля — день прославления чудотворной Святогорской Божьей матери. Это же удивительный был обряд, величально-торжественный, всенародный...

Крестным ходом икону выносили из Успенского собора и несли до берега Сороти. Здесь ее ждала «духовная ладья» с высоким пьедесталом, на который водружалась икона под звон колоколов, установленных прямо на плаву... Собирались все живые со всего Псковского края, тысячи простого люду, и ладья плыла по Сороти в реку Великую, и по Великой — до Пскова. И везде по берегам стоял люд... «Спаси нас от нищеты. Спаси от беспутья. Спаси от шкуродерства. Дай нам радость жизни! Дай нам хорошего урожая! Дай нам хлеб! Дай нам ласку! Дай нам здоровье!»

И Пушкин видел это зрелище, слышал жизнежаждущий зов людей. И, может, тогда он понял, что такое народ. Не мог не понять! Именно народ своими страданиями и надеждами на Господа пробудил в нем сильные религиозные чувства. Он понял, что народные традиции, народные нравы, законы, обычаи, обряды — могучий организм жизни, которому нельзя не подчиниться. Он возвышает душу и утверждает правду...

— Дает ли все это нам право сказать, что Пушкин не страдал грехом безбожия?!

— Несомненно, он верил в высшие силы и считался с божественным предназначением человека...

ОГНИ, ВОДЫ И МЕДНЫЕ ТРУБЫ

— А как вы, Семен Степанович, воспринимаете такую присказку: «Порок — живописен, а добродетель так тускла...»?!

— Как считали в старину, каждому человеку надлежит пройти огни и воды, и медные трубы. Каждому надлежит открыть, сколь сладок дух добродетели после мучительных кувырканий в пороках. Пушкин не избежал этого пути. Молодой, огненный, он бросился в поток жизни... И грешил, пороки — эти огни и воды — его увлекали... Но он скоро понял, что добродетель выше, чувствительнее для души и сердца... А как медные трубы?! Как испытание славой?! Ведь для славы и во имя славы сколько надо сделать! И не случайно трубы стоят в этом перечне на последнем месте. Благозвучных похвал меди чаще всего человек и не выдерживает. Вот тут порок, действительно, живописен.

Однако Пушкин и здесь выстоял. Медные трубы не оказались для него губительными, наоборот, талант его расцвел от доброго слова знаменитых современников — Державина, Карамзина, Батюшкова, Жуковского...

Кстати, однажды я задался целью: выписать заповеди Жуковского, те самые, что он обращал сначала к Пушкину, потом Гоголю, Шевченко как старший их друг и литератор и что он говорил царю, его жене, его детям, воспитателем которых был, и среди них будущему императору Александру II, отменившему в России крепостное право...

Получился довольно любопытный документ: «Старайся делать сам себя добрым, хорошим, полезным, скромным. Будь осторожен в выборе друзей. Люби природу. Уважай человека. Люби народ, борись с жестокостью. Думай глубже, зачем тебе даны разум, воля, сердце, глаза, уши. Трудись!» Разве не это мы наказываем своим детям?! Такие добродетели не тусклы...

— Жуковский хотел видеть человека общественно полезным, не так ли?! Считая, что с гения и облеченного властью царя спрос более высокий, чем с простого смертного... А добродетель укрепляет душу!

— Верно-верно, что происходит с нами сегодня?! Перестройка, прилив общественного сознания должен вздыматься половодьем. А мы что видим? Человек, будто глух, нем и слеп. Он выжидает, осторожничает, он не торопится подхватить добродетели нового времени, будто не понимает, что добродетели вечны! Я часто думаю об этом, почему же так с нами происходит?! Какие великие испытания легли на плечи людей моего поколения!

— Что в этих испытаниях, на ваш взгляд, было решающим?

— Наша революция. Она — Великая! Это не французская, не немецкая, не итальянская революция. Это русская революция, революция Октября! Чтобы сокрушить нас, старый мир мобилизовал все вероломство и даже человеконенавистничество.

Но когда наши враги, наконец, поняли, что мы новый мир все-таки непременно построим, на свет появился фашизм — самое страшное зверство! Мое поколение все это видело, знает, но сколько нас осталось!? Мы скоро уйдем, только нам всегда хотелось счастья грядущим поколениям в веках! И мы почти век, не покладая рук, трудились на этой благодарной ниве. Не все получилось, как мы хотели... Но ведь сталинские тюрьмы и лагеря нас не сломили. Об этом надо писать! О силе духа, о нашей вере в идеалы. Нельзя, чтобы мы захлебнулись в пересудах о сталинизме.

Теперь вам предстоит все взять на свои плечи... Будьте мудрее — легкого не ждите!.. Злым силам снятся не миротворческие сны... Они и слышать не хотят, что мир может быть построен на основе братства народов, уважения друг друга, счастья, что на Земле будет мир, благоволение и радость... У них такие мысли вызывают злобу и ненависть. Отсюда и вся трагедия, вся жестокая беспощадность в выборе средств противостояния старого новому... Судя по всему, мысль о былом величии еще кое у кого крепко сидит в мозгах... Однако велик-то человек добрый, сострадающий!

— Может, в силу именно этого долгого противостояния и слово «сострадание» стало у нас в нравственном словаре словом десятого, а то и двадцатого порядка...

— Оно должно быть, несомненно, ближе, первее, по нашему душевному порыву... А его выкинули, как вредное явление, мешающее созданию «нового» человека в исключительно трудных условиях противостояния, жесткой нивелировки человеческих достоинств...

— А умиротворение нередко у нас ставят в зависимость от благополучия. Верно ли это? И вообще, в современных условиях, что такое благополучие?..

— Такая зависимость уж слишком утилитарна. К тому же, что называть благополучием? Вот мне надо ехать в Москву, а я не могу получить в кассе билет, который мне нужен! Я должен позвонить туда-сюда, чтобы дали распоряжение. Разве это жизнь?! Какая огромная пустая трата человеческих сил — национального богатства нашего...

Надо от такой практики освобождаться во что бы то ни стало, и жизнь сразу станет краше, гармоничнее и не будет этого непонятного вихря, наносных страстей, ненужных столкновений, всего, что порождает сумятицу, неуравновешенность, а

порой и вздорность в наших отношениях... Побольше бы достоинства, благородства, трудолюбия, терпения, взыскательной учтивости друг к другу.

На деле ведь что означает слово «благополучие»? Это очень интересно, кстати. Оно означает — получить благо. Но разве мы его получаем?! Нам только кое-что выдают, как в трудный голодный год. Я уверен, что такая форма удовлетворения потребностей людей — выдача, а не получение — она недолговечна, она исчезнет. Все вернется на круги своя, человек будет получать блага, выбирая их по своим потребностям...

ПРИГЛАШЕНИЕ К ПУТЕШЕСТВИЮ

— И чтоб завершить разговор о добродетелях, хочу спросить вас, Семен Степанович, как вы относитесь к долгу и как относятся люди, которые вас окружают, и как, на вашей памяти, менялось отношение к долгу?

— Долг — это обязанность. Долг — это ваше право заниматься тем, чем вы занимаетесь, это сознание обязанности того, что вы не должны уходить от дела, пока его не свершите целиком. Долг бывает перед самим собой, долг бывает перед тем, кто вам поручил дело, и долг бывает еще выше, то есть уже там, где означены слова «идея», «партия», «нация», «Родина» — долг патриота, долг интернационалиста. И тогда не только вы выбираете, но и долг выбирает вас, поднимает вас над вашими грехами...

Я считаю мою жизнь здесь моей обязанностью. Моя работа — мой долг. Другой я свою жизнь не представляю.

Теперь, приближаясь к своему последнему часу, я нередко вспоминаю солдат и крестьян весны 1945 года, когда приехал сюда директорствовать...

Еще шла война, но как только саперы малость-малость расчистили дорожки от вражеских мин, на свой страх и риск, не ожидая разрешения, в Михайловское хлынули жители окрестных деревень. Они предлагали свои услуги, готовы были помочь в любой работе. Это люди, у которых чаще всего не было даже собственного крова, многие деревни в округе фашисты сожгли... Такая любовь к Пушкину меня обрадовала, и я, сказать по правде, с легкой душой подумал о будущем заповедника.

Еще в ту пору к фронту и с фронта шло много солдат. И, наверное, не все из них — и солдат, и крестьян — были хорошо знакомы с поэзией Пушкина. Они знали имя его, возможно, что-то на слух помнили из его стихов, передаваемых народом из поколения в поколение, слышали о громкой славе самого великого из русских стихотворцев. Но этого было вполне достаточно, чтоб по сердцу, с общего согласия, они свернули с военного тракта и накоротке оглядели разоренный дом, усадьбу, поклонились праху поэта и пошли дальше, в последний бой. Возможно, для многих из них эта встреча с поэтом, полная светлой грусти, тихой печали, была первой и последней...

И, наблюдая за ними, я чувствовал, что в эти короткие минуты люди словно рождались заново, — голос Семена Степановича звучит тихо, раздумчиво, — столь обостренно чутким было их сердце и особо памятливым ко всему, что составляло честь и славу Отечества... В эти минуты Пушкин был не только дорог и близок им, он был понятен...

Вот когда я всерьез задумался о редкой судьбе Пушкина, об особом предназначении его. Я представил себе, какой же целительной, духовно созидающей является его поэзия, если самые простые люди шли к нему на поклон, как к светлому образу родной земли...

Меня захватила радостная, теплая, душевная мысль — усилить этот образ, образ Родины, образ земли и природы русской, воспетой поэтом, чтоб год от году рос людской поток в заповедные пушкинские места и уносил вместе с пушкинским духом великую мысль о Родине, о России, о любви к ней...

И если теперь окинуть взглядом все эти сорок с лишним лет, прожитые Семеном Степановичем в Пушкиногорье, то, несомненно, мы должны согласиться, что ему удалось создать этот образ и явить его нам во всей торжественно-величавой красе. Хотя все, конечно, пришло не сразу и совсем не вдруг... Но теперь об этом мы многое знаем, и пусть это послужит каждому из нас добрым, полезным уроком, который мы передадим и детям нашим, а дети — своим детям, укрепляя легенду о замечательном человеке, все отдавшем в услужение Родине, русскому народу...

Но перед тем, как нам расстаться, дорогой читатель, хочу предложить вам один полезный совет. Независимо, бывали ли в Михайловском, иль не бывали — соберитесь в дорогу к деду Семену (так его зовем мы — близкие его) и соберитесь с семьей, с друзьями, соберитесь не на туристский марафон, а в поездку вольную, чтобы погостить в Пушкиногорье три-четыре дня...

Уверяю вас, путешествие будет совсем необычным. И все вы увидите другими глазами: непримеченное раньше — обязательно приметите, неслышанное — вдруг услышите, и к вам обязательно явится преображение души, с которым вы, может быть, еще незнакомы. Только настройте себя на эту поездку и не обременяйте себя ничем, душа ваша сама откроет все, откроет и доброе, и непреходящее...

Но прихватите с собой и нашу книжицу... С легким сердцем вы вполне можете постучать в дверь деда Семена на михайловской усадьбе. И будет очень хорошо, если справитесь о здоровье его, поблагодарите за Пушкина, за встречу с чудом, которое он создал на псковской земле вместе со своими помощниками. И, наверняка, ответно вы получите не только пылкий автограф, но и гостинчик — яблочко наливное из пушкинских садов иль еще что-нибудь в этом роде... Семен Степанович доброму слову всегда рад и сам с радостью на добро отвечает добром... В его возрасте во всем надо поспешать, каждый прожитый день, как он с лукавинкой говорит сам, идет за год... Может, еще и потому для добра он не жалеет себя...

И помните! Духовное достигается огромнейшим и напряженнейшим трудом. Оно никогда не приходит само. Взять только день текущий — с какой беспощадностью и правдивостью он открывает нам разросшиеся, как зловещая опухоль, черные дыры бездуховности, которые идеологи, чиновники от культуры и литературоведы десятилетьями выдавали за оригинальность, неповторимость или некую особенность нашего искусства и литературы, а на самом деле это было прикрытое двурушничество и спекуляция, которые вели к духовному опустошению, к черным озоновым дырам в сознании и чувствах...

Но и в это тяжелейшее время были люди, которые ценой своей жизни отстаивали истинную духовность, боролись против черных дыр. Пример тому — жизнь Семена Степановича...

Выдающийся писатель и общественный деятель нашего времени Юрий Васильевич Бондарев в своем вступительном слове к книге «Пушкиногорье» (издательство «Молодая гвардия», 1981 г.), выражая мысли и чувства многих и многих поклонников таланта Семена Степановича Гейченко, вот как оценил его духовную деятельность:

«Так не раз случалось в русской культуре, когда рядом с крупнейшими творцами ее поднимался равного значения подвижник — пропагандист этих произведений. Коллекционер Павел Третьяков навсегда соединил свое имя с художниками-передвижниками, режиссер Константин Станиславский — с новым театром Горького и Чехова, дирижер Евгений Мравинский — с музыкой Дмитрия Шостаковича... Семен Степанович Гейченко в моем понимании и моем отношении ко всему, что им сделано в Пушкинском заповеднике, стоит в ряду именно таких удивительных, великих людей, которые украшают и возвышают духовно нашу жизнь».

Высокие и справедливые слова. Не случайно Гейченко, первому из музейных работников страны, было присвоено звание Героя Социалистического Труда. Судьба счастливо призвала его во служение Пушкину, породнила его с ним. И через его служение и родство еще более приблизился к нам отец наших душ, Александр Сергеевич Пушкин...

Все, что делает долгие годы и по сию пору Семен Степанович в Пушкинском заповеднике, — это, несомненно, предшествует образованию, пробуждает книжный интерес, пробуждает исподволь, незаметно, невидно... Но когда для десятков миллионов людей восстановленный, одухотворенный мир великого поэта оказывается упоительно целительным, тогда и затраты нелегкой, невидной, казалось бы, музейной работы Семена Степановича являются для нас насущно потребными.

А наша признательность и благодарность удивительным людям — неустанным носителям самой что ни на есть культуры высокого духа — бесконечны...

ЭКСПРЕСС-ИЗДАНИЯ 1989 ГОДА

Вышли в свет экспресс-издания, которые, несомненно, вызовут повышенный интерес самого широкого круга людей, ищущих в печатном слове ответы на злободневные вопросы нашей современности. Назовем некоторые из этих книг.

ШАЛАМОВ В. Т. ЛЕВЫЙ БЕРЕГ: РАССКАЗЫ. 38 л., 5 р., 200000 экз.

Варлам Шаламов (1907—1982) известен читателям как поэт. Человек сложной, драматической судьбы, В. Шаламов много и плодотворно работал и в других жанрах. Будучи незаконно репрессирован, писатель семнадцать лет провел в лагерях. Увиденное, пережитое легло в основу его рассказов. Сборники «Артист лопаты», «Левый берег», «Очерки преступного мира», вошедшие в эту книгу, составлены самим автором. Создавались они многие годы, а непосредственно записывать их В. Шаламов начал с середины пятидесятых годов.

ЖЖЕНОВ Г. ОТ «ГЛУХАРЯ» ДО «ЖАР-ПТИЦЫ»: РАССКАЗЫ. 10 л., 85 к., 100000 экз.

Популярный актер театра и кино, народный артист СССР Георгий Жженов — человек трудной судьбы. В 1938 году был арестован по ложному обвинению, прошел лагеря, ссылку и лишь в 1954 году был реабилитирован, смог вернуться к родным в Ленинград. Сейчас, спустя десятилетия, Г. Жженов решил рассказать о тех далеких годах, когда миллионы безвинных советских людей были подвергнуты репрессиям.

(Отрывок из книги и интервью с Г. С. Жженовым читайте в № 7)

ШУЛЬГИН В. ДНИ. 1920: ЗАПИСКИ. 30 л., 5 р., 200000 экз.

При подписании Николаем II отречения от престола в числе очень немногих высокопоставленных лиц, принимавших это отречение, был Василий Витальевич Шульгин. Прожив без малого сто лет, он был очевидцем самых бурных исторических событий начала нашего века: реформ П. А. Столыпина, первой мировой, распутинщины, бурь в Государственной Думе, падения династии Романовых, прихода Октября и драмы гражданской войны. Это и нашло отражение в его мемуарах «Дни» и «1920» и описано так, как все происшедшее понимал защитник монархии и один из организаторов белого движения.

Публицист И. В. Василевский писал в 1925 году: «...книги В. В. Шульгина представляются самыми яркими и наиболее талантливыми в длинном списке белых мемуаров... Это, конечно, не от той идейной позиции, которую занимает автор, а от той ценной откровенности, какая ему свойственна».

РЕКВИЕМ. СБОРНИК СТИХОВ. 18 л., 4 р., 50000 экз.

В последние годы в литературных журналах появилось немало публикаций замечательных произведений русской советской поэзии, которые слишком долго ждали встречи с читателем. В них звучат трагически напряженные голоса поэтов, в них — жестокая правда страшных десятилетий культа и застоя. Живой общественный и литературный интерес вызвали «По праву памяти» А. Твардовского, «Реквием» А. Ахматовой, «Сказка о правде» М. Исаковского, «Погорельщина» Н. Клюева. Литературными событиями стали циклы стихов Я. Смелякова, О. Берггольц, Д. Андреева, Б. Слуцкого, М. Волошина, Н. Крандиевской-Толстой, О. Мандельштама, М. Цветаевой, В. Шаламова. С глубоко выстраданными, заветными стихами, извлеченными из «запасников», выступили на журнальных страницах А. Тарковский, Н. Тряпкин, В. Боков, А. Жигулин, В. Корнилов, Б. Чичибабин, Е. Евтушенко, Б. Окуджава, А. Вознесенский, О. Чухонцев, Ю. Кузнецов и другие поэты.

ПИКУЛЬ В. ЧЕСТЬ ИМЕЮ. РОМАН, МИНИАТЮРЫ. 45 л., 5 р., 200000 экз.

Новую книгу прозы «Честь имею» Валентина Пикуля составил одноименный роман и миниатюры о русских военных деятелях конца XIX и начала XX века.

Роман «Честь имею» посвящен исторической теме. В нем освещены основные военно-политические конфликты начала нашего века — русско-японская и вторая империалистическая войны и участие в них России.

Главный герой произведения — офицер-разведчик Российского генштаба, впоследствии ставший генералом Красной Армии.

Становление героя писатель дает через изображение важных военных событий, участником которых является кадровый офицер русской армии, служивший не царю и царизму, но единственно русскому флагу и столь любезному его сердцу Отечеству.

ЧТО С НАМИ ПРОИСХОДИТ! (ЗАПИСКИ СОВРЕМЕННИКОВ). Вып. 1, 20 л., 80 к., 25 000 экз.

В сборнике отражены многие животрепещущие идеи наших дней, связанные с развитием духовной культуры общества.

Проблемы войны и мира, вопросы хозяйствования, органично сочетаются здесь с проблемами философии, литературы, музыки, архитектуры. Среди авторов сборника — крупнейший современный философ А. Лосев, писатели В. Белов, В. Распутин, А. Адамович, Ю. Лощиц, американский ученый Лайнус Полинг, известные публицисты В. Песков, А. Стреляный, советские ученые — Л. Гумилев, Ф. Шипунов, И. Толстой, Ю. Бородай, П. В. Флоренский и др.

В книге публикуются неизвестные материалы, принадлежащие перу великого русского ученого В. И. Вернадского, его ученика Р. С. Ильина, П. В. Флоренского, трагически погибшего в годы сталинских репрессий.

Подзаголовок издания — «Записки современников» — определяет тональность очерков и статей, большинство из которых пронизано чувством беспокойства за судьбу отечественной культуры.

ПО СОВЕСТИ ГОВОРЯ. 25 л., 1 р. 30 к., 50000 экз.

В сборнике представлены очерки и публицистика молодых литераторов — участников всероссийских совещаний в Пицунде, проводившихся Союзом писателей РСФСР и ЦК ВЛКСМ в 1986—1988 годах.

(См. на обороте)

ПРИГЛАШЕНИЕ К ИГРЕ

ЧТО? ГДЕ? КОГДА?

Уважаемые читатели!

Вы ознакомились с экспресс-программой издательства «Современник». Хорошие книги, но где их достать? — раздраженно спросит кто-то. Да, тиражи таких книг, равные даже двумстам тысячам, не более, чем золотая пыль. Не имея возможности влиять на тиражную политику, редакция все же обещает, что семи читателям каждого номера «Слова» не придется обивать пороги магазинов. Эта семерка — будущие победители игры, участвовать в которой мы предлагаем всем желающим. Для тех, кто первыми пришлет самые правильные, точные и полные ответы на три вопроса, связанные с литературой, объявленной в «Афише», редакция журнала и издательство «Современник» учреждают призы — одно из этих изданий.

Предлагаемые вопросы касаются личности и творчества А. Ахматовой:

1. «Итак, сударыни и судари, к нам идет новый, молодой, но имеющий все данные стать настоящим поэт. А зовут его Анна Ахматова».

Эти слова написал М. Кузмин по поводу выхода в свет первого сборника стихов поэта. Как называлась эта книга А. Ахматовой, и в каком году она была издана?

2. Кому посвящен ее знаменитый «Реквием»?

3. Где похоронена Анна Андреевна Ахматова, и какой символ венчает ее надгробие?

Уважаемые участники викторины!

За несколько лет мы успели хорошо узнать друг друга. Настолько, что сотрудники, которые разбирают редакционную почту, безошибочно определяют наиболее активных игроков «Что? Где? Когда?» по почеркам на конвертах. Вы, в свою очередь, прекрасно овладели предметом: отвечаете на вопросы и придумываете новые прямо-таки «с закрытыми глазами» — отклики на очередное задание приходят буквально через несколько дней после его опубликования. Из широких слоев «люби» постепенно сформировался отборный, стабильный по составу отряд «профи».

Призерами IV тура прошлого года стали:

1. Г. А. Воробьев из Каменск-Уральского Свердловской области (21 очко).

2. О. Н. Нагаева из Междуреченска Кемеровской области (20 очков).

3. С. К. Журиба из села Подгорное Львовской области (18 очков).

Редакция сердечно поздравляет победителей и высылает им обещанные призы.

Однако мы не прощаемся с участниками викторины «Что? Где? Когда?» Для вовлечения в игру самых широких кругов читателей журнала «Слово» предлагаем несколько новых конкурсов. Условия первого опубликованы после «Афиши» «Современника» (в дальнейшем это будут «Афиши» других издательств); остальные мы открываем в ближайших номерах. Не пропустите! Будьте внимательны!

Итак, ждем ваших ответов на вопросы первого конкурса.

ОТВЕТЫ НА КРОССВОРД, ОПУБЛИКОВАННЫЙ В № 4

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 5. «Иродиада» (Г. Флобер). 6. Тургенев («Вариации»). 8. «Пигмалион» (Б. Шоу). 11. «Анчар» (А. Пушкин). 14. «Обида» (А. Куприн). 15. Пенкроф («Таинственный остров»). 16. Маршак («Лирические эпиграммы»). 17. «Родина» (М. Лермонтов). 21. Писарев (Отвящение В. Курочкина). 22. «Ильяс» (Л. Толстой). 23. Гайде («Граф Монте Кристо»). 26. Стивенсон («Остров сокровищ»). 27. «Кирджали» (А. Пушкин). 28. Хемницер (эпитафия поэта).

ПО ВЕРТИКАЛИ: 1. Крюденер («К. Б.», Ф. Тютчев). 2. Санин («Вешние воды»). 3. Ершов («Конек-Горбунок»). 4. Тенардье («Отверженные»). 7. Пацюк («Ночь перед рождеством»). 9. Лавуазьян («Золотой теленок»). 10. Облонская («Анна Каренина»). 12. Жевакин («Женитьба»). 13. «Соловей» (Андерсен). 18. Молчалин («Горе от ума»). 19. Мастер («Мастер и Маргарита»). 20. Подъячев («Зло»). 24. «Страх» (С. Цвейг). 25. Холмс («Знак четырех»).





Николай РУБЦОВ

О МОСКОВСКОМ КРЕМЛЕ

Бессмертное величие Кремля
Невыразимо смертными словами!
В твоей судьбе — о, русская земля! —
В твоей глуши с лесами и холмами,
Где смутной грустью веет старина,
Где было все: смиренье и гордыня —
Навек слышна, навек озарена,
Утверждена московская твердыня!

Мрачнее тучи грозный Иоанн
Под ледяными взглядами боярства
Здесь исцелял невзгоды государства,
Скрывая боль своих душевных ран.
И смутно мне далекий слышен звон:
То скорбный он, то гневный и державный!
Бежал отсюда сам Наполеон,
Покрылся снегом путь его бесславный...

Да! Он земной! От пушек и ножа
Здесь кровь лилась...
Он грозной был твердыней!
Пред ним склонялись мысли и душа,
Как перед славной воинской святыней.

Но как, взгляните, чуден этот вид!
Остановитесь тихо в день воскресный —
Ну, не мираж ли сказочно-небесный
Возник пред вами, реет и горит?

И я молюсь — о, русская земля! —
Не на твои забытые иконы,
Молюсь на лик священного Кремля
И на его таинственные звоны...

[1968]

ДО КОНЦА

До конца,
До тихого креста,
Пусть душа
Останется чиста!
Перед этой
Желтой, захолустной
Стороной березовой
Моей,
Перед жнивой,
Пасмурной и грустной
В дни осенних
Горестных дождей,
Перед этим
Строгим сельсоветом,
Перед этим
Стадом у моста,
Перед всем
Старинным белым светом
Я клянусь:
Душа моя чиста.

Пусть она
Останется чиста
До конца,
До смертного креста!

[1968]

ПОЭЗИЯ

Теперь она, как в дымке, островками
Глядит на нас, покорная судьбе, —
Мелькнет порой лугами, ветряками —
И вновь закрыта дымными веками...
Но тем сильней влечет она к себе!

Мелькнет покоя сельского страница,
И вместе с чувством древности земли
Такая радость на душе струится,
Как будто вновь поет на поле жница,
И дни рекой зеркальной потекли...

Снега, снега... За линией железной
Укромный, чистый вижу уголок.
Пусть век простит мне ропот бесполезный,
Но я молю, чтоб этот вид безвестный
Хотя б вокзальный дым не заволок!

Пусть шепчет бор, серебряно-янтарный,
Что это здесь при звоне бубенцов
Расцвел душою Пушкин легендарный,
И снова мир дивился благодарный:
Пришел отсюда сказочный Кольцов!

Железный путь зовет меня гудками,
И я бегу... Но мне не по себе,
Когда она за дымными веками
Избой в снегах, лугами, ветряками
Мелькнет порой, покорная судьбе...

[1969]

О ПУШКИНЕ

Словно зеркало русской стихии,
Отстояв назначенье свое,
Отразил он всю душу России!
И погиб, отражая ее...

[1964]

Юрий ГАЛКИН

ВИДЕТЬ ЧЕЛОВЕКА

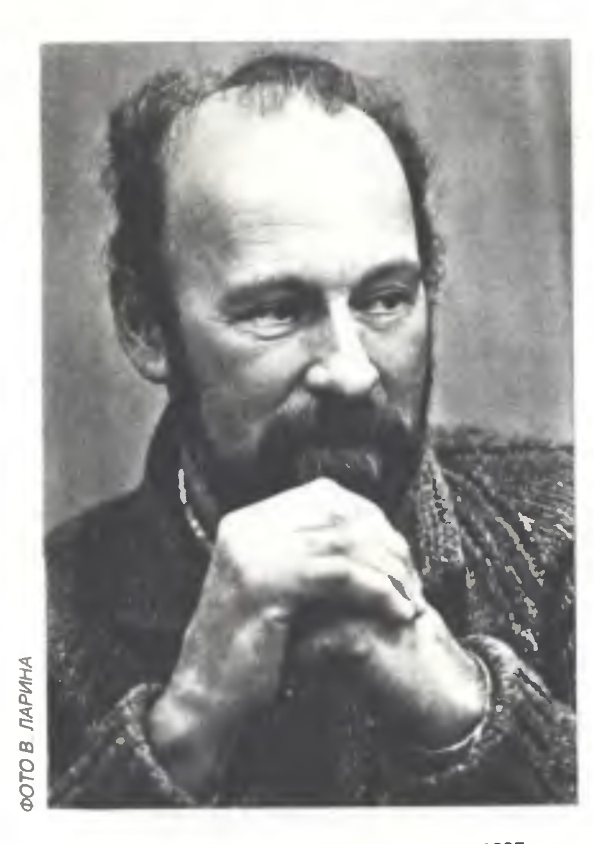


ФОТО В. ЛАРИНА

ГАЛКИН Юрий Федорович родился в 1937 году в деревне Тесовицы Архангельской области. Закончил электротехникум связи, потом служил в армии, работал в архангельской газете «Северный комсомолец».

Первая книга коротких рассказов («Брусника») вышла в Северо-Западном книжном издательстве в 1965 году. В последующие годы выходили сборники повестей и рассказов «Пиво на дорогу», «Крвсная подка», «На родных берегвх» («Советская Россия»), «Бегпецы» («Современник»), «Дорофеевский календарь» («Советский писатель»). В этом году в издательстве «Современник» выйдет его сборник литературно-критической публицистики «Слова и годы». Он постоянно обращается и успешно разрабатывает темы литературно-философские, соединяющие сегодняшнюю жизнь и традиции культуры в самых глубинных слоях сознания. Публикуемая статья — из таких.

Сейчас, когда в публичном обращении такое обилие печатного, газетно-журнально-книжного и ораторско-речевого (радио, телевидение) материала, смысл самого слова все заметнее упрощается, все заметнее его многозначность сводится — из естественной тяги к нормативу, к всеобщей моментальной потребительской доступности — к информационному, функциональному значению.

Но слово с этим нашим желанием всеобщего информационного норматива не желает мириться и то и дело выдает в нас, в нашем пафосе сокровенные, тщательно закамуфлированные замыслы по отношению к человеку и вообще к жизни. На первый взгляд, может показаться сущим пустяком разговорная приблизительность в широко употребляемых терминах и словах, некоторая условность в определениях — разве не достаточно того, что *все* поняли, о чем я хотел сказать?! Вот я, допустим, говорю так «Для таких-то и таких-то благих задач (например, продовольственных) необходимо привязать человека к земле». Все читатели или слушатели привычно, разумеется, поняли, что говорю я не о том, что человека нужно привязать к земле или фермой в прямом смысле, то есть веревкой или цепью, но способами и средствами более гуманными, благопристойными, цивилизованными. Но стоит на минуту задуматься над этим широко употребляемым, стереотипным ораторским выражением, даже и самого себя не обязательно мысленно ставить на место этого привязываемого человека, стоит на минуту лишь замешкаться на этой обычной, спокойно всеми произносимой и печатаемой везде фразе, как невозможно не содрогнуться перед глубиной вошедшего в норму государственного, административного пренебрежения к человеку...

И как же много таких вот слов и выражений уже вошло в наш общественный, административный, политический и социальный лексикон, и насколько точно такое обращение со словом соответствует не теоретическому, не мечтательному, но действительному положению человека, которого можно так легко привязывать или отвязывать, прикреплять или перемещать, снабжать или не снабжать...

Или вот в литературных разговорах очень расхоже такое выражение: изображать человека. Правда, это далеко не единственный термин, употребляются и другие, иногда можно даже встретить и такой: видеть человека. Например, Б. Шергин: «По-моему, никто так, как Чехов, не видит человека». И внешняя разница между «видеть человека» и «изображать человека» как будто ничтожна, да и все, конечно, понимают всю условность подобной терминологии, при желании можно легко, без видимого ущерба заменить одно другим.

Но, во-первых, слово уже сказано, а оно, как известно, не воробей. А во-вторых, разве можно изображать — не видя? И весь опыт литературы как будто очень определенно отвечает на такой вопрос: не только можно, но в большинстве случаев как раз это и происходит. Изображение человека, а вернее сказать — изображение ситуаций, тех или иных житейских положений вполне объясняется и оправдывается степенью художественного таланта писателя. Тем более, свое суждение

о качестве изображения и содержащаяся там информация вполне искупают нашу претензию к художественному сочинению и позволяют нам определить, что хорошо — «почитать стоит», что удовлетворительно — «читать можно», а что плохо.

Но способность изображения как таковая далеко не тождественна способности *видеть* человека, и весь опыт литературы свидетельствует об этом с не меньшей определенностью. Да и о каком человеке идет речь? — вот что нужно решить прежде всего. Чехов, но в равной степени можно говорить и о Пушкине, и о Гоголе, и о Л. Толстом, как и о любом художнике с ясно выраженным национальным характером творчества, Чехов видит не вообще человека, не условное человекоподобное существо, не всечеловека, не «гражданина мира», он видит *своего* человека, и вот это первоначальное, и даже не творческое, а родственное, по-родительски заинтересованное отношение определяет характер этого видения. Человек становится своим, близким, и плох он или хорош, но он — свой. А к такому человеку в атмосфере одной национальной морали, одних нравственных и культурных ценностей может быть только одно отношение — родственное. Как такое отношение, такое состояние души можно передать в изображении? Совершенствованием своего изобразительного ремесла художник может многого достичь, книга его может быть не только хороша, но даже и очень хороша, но как бы она хорошо ни была исполнена, только личное отношение к человеку одухотворяет талант художественный.

В то же время талант как таковой, талант как природный дар, как первоначальное условие к овладению ремеслом, — в случае литературном — это ремесло словоговорения, словописания в стихах и прозе, этот талант может быть не только маленьким или большим, но и в своей нравственной потенции он может быть различен: альтруистическим или эгоистическим, добрым или злым, веселым или угрюмым, лирическим или эпическим.

Кроме того, природные свойства таланта как личного достояния воодушевляются вполне определенными культурными, этническими и эстетическими традициями родной для таланта среды, всем строем и уровнем воспитания, воззрения на окружающий мир и людей, убеждениями, приобретаемыми от учителей, пусть даже эти убеждения будут и не философски возвышенными, а по-обывательски простыми и грубыми.

И все это вполне естественно. Естественно даже и то, что все эти свойства таланта как личного достояния направлены на человека, на его живую душу, — только *там* талант может вполне реализовать себя. И в этом устремлении они все одинаковы — большие и малые, альтруистические и эгоистические, лирические и эпические, добрые и злые. И устремления эти вполне естественны — ведь талант не виноват в том, что он рожден именно *таким*, что он *таким* воспитан

Но в таком случае есть ли у меня, человека, у моей живой души какие-то права и возможности во взаимоотношениях с талантом? Или моя душа — это всего лишь беззащитная жертва таланта, его «питательная» среда? Должен ли я, человек, отличать добрый талант от злого? — ведь это вовсе не внешнее различие, это различие принципиального свойства: одно слово помогает моей душе, укрепляет ее, другое — ввергает в уныние, бессилие, апатию, пессимизм, и я, слабый человек, начинаю видеть окружающую себя жизнь уже как что-то не подвластное моей воле, устрашающее. Кто защитит мою душу от прелести талантливого, но злого слова? Кто поможет мне распознать заключенный в талантливом слове умысел?

Но мне могут сказать: да никакого умысла и нет, а если он и бывает, то только самый лучший, например, просветительский.

Да, ремесло словоговорения в том и заключается, чтобы придать устремлению таланта соответствующий вид, независимо от того, доброе это устремление или злое. Мировая мысль о человеке знает очень много *гордых* философских и художественных воззрений, которые при этом самым убедительным образом объяснили себя и оправдали свои исключительные права. Например, блистательные аргументы ницшеанства, в котором берут ростки фашистской идеологии, возбуждают в каждой слабенькой душе дьявольское самообольщение, возводят пренебрежительное отношение к человеку из «массы» в самую высокую поэзию, и эта поэзия культивирует из многих начал в душе человека не самое достойное.

Но не менее страстными и завораживающими могут быть и иные аргументы, культивирующие в душе человека другие начала, они могут быть не только самыми неожиданными, что само по себе тоже оказывается привлекательным, как всякая реформа, но даже и самыми низменными, как реклама табака или вина, или исходить из какого-нибудь грубого обывательского рассуждения, например, рассуждения о том, что битье полезно человеку, потому что оно как нельзя лучше закаляет и мобилизует человека. Такое грубое умозаключение может подкрепляться и более тонким, как бы даже и гуманным: только такое-де суровое отношение поможет этому человеку (или людям) разбудить в себе чувство достоинства. И вот уже право силы, право власти над человеком обернуто в привлекательные слова о его благе...

При подобных философских умозаключениях, при подобных внутренних установках художественный талант *видения* человека легко и естественно подменяется талантом *изображения* желанного, удобного для системы взглядов человека, удобного для демонстрации авторской воли и миропонимания — все равно как манекенщицы в руках художника-модельера, — именно такой внешний человек, лишенный своей воли, наиболее удобен для того, чтобы навязать ему образ поведения и чувства, пусть бы этот образ поведения был бы и несвойствен, неродствен, губителен как для самого человека, так и для всей окружающей его жизни. И чем больше и эгоистичнее талант, тем на большее насилие над живой душой человека он способен, — в этом насилии состоит естественное право таланта, ведь он на то и дан, чтобы выражать его. И такое положение вещей нельзя рассудить в том смысле, что хорошо, а что плохо. Это все равно, как цвет глаз, как группа крови: они не могут быть ни хороши, ни плохи сами по себе.

Так-то оно и так, но как же быть мне, человеку, на которого направлено действие таланта? Как быть мне, человеку, которому на таких же основаниях дано право жить, и я обязан осуществлять это право созиданием прежде всего своего душевного здоровья? Кто мне скажет, где мне взять наиболее надежный материал для такого строительства? Какому совету внимать, а мимо какого пройти? — ведь печатный станок уравнял все слова, и все они так талантливы, так превосходны!..

Вот как эта проблема художественного творчества и взаимоотношения таланта с конкретной жизнью выражена в замечательном по искренности и мужеству стихотворении Б. Слуцкого:

Романы из школьной программы.
На ваших страницах гощу.
Я все лагеря и погромы
За эти романы прощу.

Не курский, не псковский, не тульский.
Не лезущий в вашу семью,
Ваш пламень — неяркий и тусклый —
Я все-таки в сердце храню.

Не молью побитая совесть.
А Пушкина твердая повесть
И Чехова честный рассказ
Меня удержали не раз...

и т. д.

Да. «романы из школьной программы» — великие художественные произведения, но ведь такими они стали на основе родственного отношения таланта к конкретной жизни, к курскому, псковскому, тульскому человеку, на основе доброго, заинтересованного отношения к его судьбе. При любом ином отношении естественно исчезает и родственное, заинтересованное чувстао, как исчезает и сам курский ли, тульский ли, русский человек, вместо него появляется некий условный человек, человек-манекен, и художественное творчество, освобожденное от родственной заботы о нем, не связанное совестью (она побита молью), не отзывающееся на гражданский или патриотический долг (о нем вообще речь не может идти при подобном взаимоотношении таланта с человеком), такое художественное творчество опирается уже только на понятия, мысли и чувства, происходящие из романов, «твердых

повестей» и «честных рассказов», либо из каких-то иных, но вторичных по отношению к живой жизни источников. При таком направлении творчества оказывается необязательным то, что эти «романы из школьной программы», «твердые повести» и «честные рассказы» возникли при самом непосредственном участии в творчестве именно совести, не побитой молью, и родственной ответственности за «неяркий и тусклый» пламень и курской, и тульской, и вообще всей русской жизни. При всяком ином порядке вещей такие романы, повести и рассказы никогда бы и не появились, несмотрв ни на какой талант.

Но ведь люди обладают не только художественными талантами. Есть таланты администратианые, инженерные, творчество бывает и техническое, и научное, и политическое, и не трудно представить, как могут выглядеть те области государственной жизни, в которых превалирующее место будет занимать талант, не только не воспринимающий всерьез живого человека, живую жизнь, но не воспринимающий уже и «романы из школьной программы», и «честный рассказ», — его совесть, «побитая молью», уже ничем не удерживается, следовательно, воля его свободна для любых проявлений, для любого личного произвола над живой действительностью. Такое свободное от всяких уз творчество может действовать не только из каких-то сознательных побуждений, или на основе неприязни к курскому или псковскому человеку, но и на основе личного эгоизма или тщеславия, либо какой-то иной страсти.

Способствовать изображать человека как «существо общественное» и не более того рождает в искусстве персонаж, соответстаующий проблемам и вопросам текущей минуты, пусть бы эти минуты растягивались и на годы, и на десятилетия, и потому даже карикатурность, даже уродство такого персонажа могут не восприниматься как художественное насилие над жизнью, над сущностью человека — ведь в данную минуту человек и на самом деле может быть больным, может быть уродом, карикатурой на самого себя точно так же, как сама социальная ситуация — карикатурой на нормвльную, здоровую жизнь, — комедии Фонвизина открывают такой ряд в русской литературе.

Но скажем: если социальная ситуация уродлива, извращена «негативным явлением», то разве это не оправдывает уродство, карикатурность, пусть и трагическую, человека? Да, правда может заключаться в таких соответствиях, но разве правда этих положений всеобща и вечна? Разве правда болезни, правда больницы, правда психиатрической или наркологической лечебницы является неким символом или неизбежным условием *всей* жизни человека? И вот искусство, констатируя нечто, имеющее отношение к злобе дня (или к дню, изуродованному злобой), уже одним этим невольно упрощает понятие о человеке, делает его неподвижным в этом насильственном положении, а потому — бездуховным. Такое упрощенное представление о человеке удобно прежде всего для администратора, для функционирования конторы, учреждения, производства и многих отношений вокруг производства, ведь производство, каким бы оно сложным ни было, естественно стремится упростить свою зависимость от всяких настроений человека, то есть упростить «человеческий фактор», хотя в перспективе такое упрощение обязательно скажется именно на самом же производстве, приведет к общественно-социальным кризисам и к необходимости перестройки.

Правда, эти будущие застойные явления и перестройки сегодня нас как бы и не касаются — нам бы разобраться со своими неотложными проблемами, осуществить свою перестройку, поэтому ничто как будто не обязывает на сегодня относиться к человеку *иначе*, достаточно того, считаем мы, что государство заботится (во всяком случае, провозглашает заботу) о все возрастающих потребностях своих граждан-иждивенцев.

Искусство как некое государственное учреждение не может не подчиняться этой прямой задаче, тем более, что задача эта не только политическая и хозяйственная, но в высшем смысле и гуманистическая. Но в своем рвении опекать упрощенного человека, вернее сказать, обслуживать упрощенное представление о человеке, и рвении тем энергичном, чем более поощряемом, искусство в своем текущем виде утрачивает вкус к человеку духовному, историческому, сложному. Иначе, кажется, и быть не может, ведь государству, занятому проблемами «удовлетворения потребностей» своих граждан-иждивенцев, *другой* человек, хотя бы просто не-иждивенец, сейчас не очень-то и нужен.

Поэтому все то в искусстве, что упорствует в духовном, сложном, и сейчас не-нужном человеке, все то, что пророчит будущие проблемы, происходящие из упрощенного понимания человека и его жизни, все это не может поощряться прагматичным государством. Это отчасти даже и естественно для государства как для *машины*, как для социальной структуры, озабоченной поддержанием порядка и дисциплины и хорошим функционированием своих учреждений, но беда в том, что эти естественные взаимоотиошення государства с человеком, следовательно, и с искусством, могут принимать самые произвольные формы — от грубого прямого насилия до способоа тонкого, мягкого воздействия на «человеческнй фактор».

Так было всегда во всей истории человечества, так оно в сущности и во взанмоотношениях социалистического государства с искусством и с челоаеком, ведь задачу организовать жизнь населения, задачу поддерживать порядок и дисциплину социализм не отменил, наоборот, задача эта стала еще более сложной, потому что в основе самого нового общественного бытия лежит уже не материальная и равнозначная для всех слоев власть денег, а *идея* желанного справедливого бытия. Уже одно это подразумевает некую высшую духовную ступень организации жизни общества.

Государство при помощи многих средств, которыми располагает, заказывает искусству определенную, нужную, необходимую сейчас модель человеческого поведения. И искусство, которое «делают» люди, такие же слабые, если еще не более, как и все другие граждане-иждивенцы, оказывается во власти минуты, во власти этого государственного заказа. И все, что не отвечает прямо и непосредственно смыслу такого срочного заказа, естественно не замечается государством, а иногда и третируется. Но проходит время, ситуация меняется, интересы экономики и полнтики настоятельно требуют новых «подходов», и вскоре оказывается, что для функционирования всей структуры необходимо другое человеческое поведенне, вообще человек с иным сознанием.

Но и сейчас требуется не *вся* сложность человека, а только та необходимая ипостась, отвечающая вполне конкретным экономическим, производственным и политическим задачам. Остальное пока не нужно, остальное пока пусть таится как резерв, а было бы еще лучше, если бы сам человек об этом резерве в себе и не подозревал до поры до времени, — ведь необходимость общественной дисциплины не отменяется при новых государственных задачах, может быть, еще и возрастает.

Из этого условия проистекает и новая задача искусству как государственному учреждению, а с ним вместе и реабилитация того, что прежде было неприемлемо, что замалчивалось. Может показаться, что произошло нечто революционное, изменившее вообще характер этих взаимоотношений, что наступила новая, небывалая эпоха. Однако снисходительное отношение государства к своему прошлому произволу еще не говорит о том, что снято существо проблемы во взаимоотношениях или то, что государство что-то осознало. Все осталось по-прежнему, поднялся только сам уровень заказа, потому что сейчас нужна другая модель человеческого поведения, другой уровень осознания ситуации.

В этом состоит смысл диалектического противоречия взаимоотношений государства, устремленного к порядку, к дисциплине, с человеком, стремящимся к осуществлению сейчас всего своего интеллектуального духовного резерва. И весьма справедливым представляется мне, что существо всей этой проблемы очень отчетливо обнаружилось (правда, в очередной раз) именно сейчас, в перестройку, ведь именно *сейчас* государству стал необходим человек с новым мышлением, с новым жизненным поведением, нужен уже интеллектуальный и сознательный гражданин-работиик, который бы мог осуществить новые политические и экономические идеи, которые не могут быть осуществлены прежними кабинетными или репрессивными методами.

Искусству гораздо легче эксплуатировать различные темы на злобу дня, и делается это под самыми благовидными предлогами, а том числе и под предлогом правды о прошлом, хотя эта правда о прошлом может искажаться по причине субъективного отношения к действительности, или по каким-либо иным причинам. Так или иначе, но этой якобы правдой о прошлом может вытесняться из искусства важнейшая позитивная мысль о человеке настоящем, живущем *сегодня*, и уже одно это закладывает ростки будущих неправд, будущих социальных пороков, негативных явлений. Во-вторых, тайна самого человека, и не только как общественного существа, но и как самостоятельной и духовной воли, не имеющей какого бы то ни было окончательного облика. В-третьих, остаются практически прежними взаимоотношения государства с искусством как со своим учреждением, хотя сам уровень таких взаимоотношений и поднимается.

Уровень поднимается, но ведь и на этом новом уровне нет нужды у искусства во всем духовном и интеллектуальном резерве, которым обладает человек, и на этом новом уровне нужен по-прежнему человек-работник с определенными свойствами. Следовательно, остается проблема *упрощения* человека — как некий «залог» будущих застойных явлений и будущих перестроек в самом художественном деле.

С XX веком само это центральное для искусства понятне — человек — стало приобретать новый смысл. Все отчетливей стало выясняться, что искусство при всем своем громкопровозглашаемом гуманизме и человеколюбии не только не уменьшает страданий простого трудящегося человека в этом мире, но оказывается едва ли не прикрытием для еще больших страданий, так что количество гуманизма в книгах, в музыке и живописных картинах мало соотносится с количестаом несчастий, унижений и страданий в реальной жизни.

Еще Толстой, предвидя, предчувствуя близкий «огромный переворот» во всем социальном укладе государства и потому, может быть, еще яснее увидевший несостоятельность именного искусства в его отношениях к человеку, как будто *понял* природу этой несостоятельности во всей изначальности. Прежде всего оказалось, что искусство («то, что мы называем искусством») со времени своего появления принадлежало исключительно привилегированным слоям общестаа и обслуживало их интересы и потребности.

Разумеется, эти интересы и потребности высших слоев не состояли только в «распущенности половых отношений», как уверял Толстой, но на все, начиная с религии и патриотизма, у этих высших классов была своя точка зрения, и эта точка зрения считалась единственно правильной, приемлемой и утверждаемой в государстве. Все другое, что даже в малой степени противоречило этому взгляду, что посягало на одну мысль о правомерности существующего порядка вещей в государстве, пресекалось.

Народу же, простолюдию, «черни», «рабству тощему», как выражались во времена Пушкина, было отказано не только в социальных правах, не только в выражении своего социального взгляда на мир и на человека в нем, но и в каком-либо самостоятельном эстетическом воззрении, отличном от воззрения барина, воззрения, с которым стоило бы считаться, — так ничтожен был «человеческий фактор» простолюдина, и настолько это было естественно в государстве, что даже лучшие представители просвещенных слоев, даже гуманисты считали само собой разумеющимся владеть человеком на правах личной собственности. И искусство с хорошо выработанным за века изяществом не замечало этого человека, не подозревало о наличии души, мысли и чувства у этого человека. И а таком незамечании не было ничего преднамеренного, не было сословной лжи, потому что такова была сословная *мораль*. И эта мораль освобождала поэтическое чувство от низких вопросов, то есть от всего того, что могло разрушать эту мораль и основанные на ней традиции, в том числе и художественные. И было бы даже странно, если бы искусство не защищало, не обслуживало эту мораль.

Отчасти оно продолжает делать это даже и сейчас, в конце XX века, что очень хорошо выражается на нашем отношении к Толстому: мы обожествляем Толстого-художника и в то же время снисходительно относимся к Толстому-мыслителю, к его открытию человека, перед лицом которого искусство («то, что называется искусством а нашем обществе»), утратило смысл, потому что «имеет только одну определенную цель: как можно более широкое распространение разврата». Хотя мы и в конце XX века относимся снисходительно к этой мысли, — нам гораздо удобнее и привычнее считать, что Толстой-де забавляется и гнет дуги, однако важнейшая мысль эта никогда всерьез не была оспорена, да и не могла быть оспорена по одной той причине, что сама жизнь *человека* в XX веке подтвердила ее. А начало этого искусства Толстой положил с Гомера, со времен Троянской войны, «возникшей из-за этой половой распущенности».

Тысячелетия минули с тех пор, изменился внешний облик земли, по которой распространялись, умножаясь, народы, возникали и рушились империи и государства, уступая место другим империям и государствам, на смену одним богам приходили другие, наконец, уютный и понятный, но тем не менее ложный, миропорядок Птолемея заменил страшноватый и непонятный, но тем не менее правдивый, космос Коперника... Все, все изменилось на земле, не изменилось при всем при этом только одно — социальная сущность жизни человека и искусство, стоящее на страже этой сущности.

Справедливости ради нужно сказать: то, что мы называем искусством, было не единственным, действовали и другие искусства — народное, например, церковное, которое в иные эпохи было господствующим а обществе, однако так или иначе искусство светское за всю человеческую историю не изменило своей природе, и со времен Троянской войны до настоящего времени посвящено, по наблюдению Толстого, только тому, «чтобы описывать, изображать, разжигать всякого рода половую любовь, во всех ее видах. Только вспомнить все те романы с раздирающими похоть описаниями любви и самыми утонченными, и самыми грубыми, которыми переполнена литература нашего общества; все те картины и статуи, изображающие обнаженное женское тело, и всякие гадости, которые переходят на иллюстрации и рекламные объявления; только вспомнить все те пакостные оперы, оперетки, песни, романсы, которыми кишит наш мир, и невольно кажется, что существующее искусство имеет только одну определенную цель: как можно более широкое распространение разврата» («Что такое искусство?»).

В редкие исключения Толстой относит три литературных имени: Диккенс, Гюго и Достоевский («лучшие произведения искусства нашего времени передают чувства, влекущие к единению и братству людей»).

Нарисовав такую беспощадную картину целей и действий искусства относительно жизни общества и уповая на некое отдаленное время, когда «будут аысланы торговцы из храма», когда художественная деятельность будет доступна не только редким людям из народа и людям из «богатых классов или близким к ним, а всем даровитым людям из всего народа» и когда, наконец, от самих произведений искусства будет требоваться «ясность, простота и краткость, — те условия, которые приобретаются не механическими упражнениями, а воспитанием вкуса», после всего этого Толстой как бы мимоходом посмотрел в сторону иную: «в последнее время все чаще и чаще встречаются попытки народных изданий книг и картин, общедоступных концертов, театров...»

Но что же предлагал строить Толстой на этих грандиозных развалинах? — по сути дела, он предложил возводить те же самые постройки новыми именами и формами. Теперь, когда прошло время, когда художественная деятельность принадлежит «всем даровитым людям из всего народа», нельзя не видеть, что в самой природе искусства не произошло существенных изменений, да и дело не могло решиться заменой одних имен на другие. Природа искусства в рааной, если не большей, степени зависит и от человека, которому искусство, как государственное учреждение, служит, от того, как и каким искусство видит человека и какую цель преследует по отношению к человеку.

То, что понял Толстой, то есть то, что искусство под предлогом прекрасного производит, и то, что должно, исходя из своих же вслух провозглашаемых идеалов — должно помогать «осуществлению добра в нашей жизни», все это было и оставалось естественным содержанием искусства народного, действовавшего в глубине народной жизни.

Соображение о несправедливом устройстве жизни, о несправедливом порядке вещей — одно из коренных и в светском именном искусстве, ведь этот порядок, как хочется думать, всегда может быть лучшим, более приятным, то есть справедливым. И соображение это выражалось преимущественно с одной надеждой: исправить существующий старый порядок вещей, то есть утвердить желанное добро, а зло, под какой бы личиной ни укрывалось, разоблачить и устранить, обезвредить. Библейские ветхозаветные притчи давали превосходные образцы для произведений искусства, где баланс

добрых и злых сил оказывался всегда в пользу добра, то есть справедливости. Потом задача несколько упростилась: оказалось, что таких же поэтических результатов можно достигать и прямым обличением пороков, выставлением на всеобщее обозрение и посмеяние уродства и злодейства. — «добро» заключалось уже в одном этом.

Так добро и зло, божеское и дьявольское стали равноправными героями именного искусства. Окончательное торжество добра оказывалось вовсе необязательно, оно могло только предполагаться, поскольку само социальное качество справедливости позволяло мириться с существующим порядком вещей в обществе, позволяло отложить решение проблемы. Но те условия — назовем их бытовым, религиозным и политическим обиходом просвещенного общества, были таковы, что произведение искусства, что бы оно ни изображало — добро или зло, прекрасное или уродство, торжество жизни или торжество смерти — само по себе должно быть приведено в соответствие со сложившимся уже понятием о красивом, в соответствие со сложившейся уже эстетической традицией и господствующей общественной моралью, а необходимость учитывать изменчивую политическую или религиозную идею минуты придала искусству гибкость и многомерность. По этой эстетической традиции, которая числит себя с древнегреческих образцов, сама борьба со злом и даже смерть должны прежде всего выглядеть прекрасно, гармонично, потому что назначение их — украшать ритуальные храмы, архитектурные сооружения, жилища, весь быт праздного человека.

Подобная традиция не отрицает искренности художника, воспитанного на определенных эстетических и этических традициях, искренности его чувства и заинтересованности в конечном торжестве «добра». И чем больше конкретного социального смысла приобретает эта борьба, тем больше страсти и пафоса обретает творчество, так что очень часто и вполне искренне представляется, что это уже нечто единое — действительная жизнь и творческое вдохновение. Гоголь называет «Мертвые души» поэмою и очень искренне недоумевает, когда видит, что его поэма не оправдывает его благих упований и не производит на жизнь России положительного действия.

Есть что-то завораживающее в попытках разрешить вопрос о положительном влиянии искусства («то, что называется искусством в нашем обществе»), о влиянии нашей литературы, поэтического слова на действительную жизнь, как будто только положительный ответ оправдывает особый общественный статус искусства и претензию художника на исключительность, на некую избранность. Но, в сущности, это очень похоже на некое самовнушение, на аутотренинг, потому что иначе неизбежно возникнут сомнения, ересь, встанет вопрос «для чего мы пишем (рисуем, поем, танцуем, играем спектакли и т. д.)?» И вопрос этот перед лицом действительной жизни, перед лицом реального порядка вещей в государстве, перед лицом, наконец, истории не получит желанного ответа и может оказаться парализующим для сознательного художественного творчества, потому что художественное творчество не может сознательно служить «как можно более широкому распространению разврата». Более того, возникнет, естественно, вопрос и по поводу общественной морали и существующего порядка вещей в обществе, в котором искусство функционирует как учреждение. А эстетика, литературная наука; критика как некие филиалы «головного» учреждения (по сути же — это люди, пристрастившиеся и отчасти склонные к подобной деятельности и получающие определенные привилегии за эту свою деятельность) со всех возможных точек зрения заинтересованы в бодром функционировании своего «головного» учреждения и потому так старательно исполняющие свою необременительную службу. Тут даже нет какого-либо личного лицемерия, какой-то преднамеренности, нет, служба эта весьма искренняя, люди, составляющие эти филиалы «головного» учреждения, очень искренне и преданно *работают* над поисками и доказательствами положительного влияния искусства на жизнь, и работа эта заключается в сочинении бесчисленных диссертаций, рефератов, книг, докладов, статей, всякого рода примечаний и комментариев. Если еще взять во внимание, что работа такая началась не вчера, а много веков назад, а сегодня она только продолжается, так что самое противоестественное за века этой кропотливой и старательной работы уже обосновалось, объяснилось и сделалось естественным, то становится само собой разумеющимся, что всякое сомнение в благотворном влиянии искусства («того, что мы называем искусством в нашем обществе») выглядит по меньшей мере наивно и достойно разве только снисходительной улыбки.

А между тем труднейшее это для творческого сознания сомнение в особых правах искусства возникло в русской литературе еще в середине прошлого века. Теперь такое совпадение вопроса с временем кажется настолько правомерным, настолько само собой разумеющимся, и столько идеологического и сугубо литературного даже смысла открывается в этом истинно художественном совпадении личного чувства с содержанием и настроением эпохи, что вопрос не кажется случайным или просто искренним, каким его воспринял современник К. Аксаков, с некоторым удивлением спросивший вслед за беллетристом М. Авдеевым: «В самом деле, господа, для чего вы пишете? Для чего пишут многочисленные авторы недурных повестей и романов?» — и не нашел ясного ответа: бог, мол, их знает, для чего они пишут, вот с Гоголем — тут все понятно, тут даже такой вопрос и не возникает.

Но ответ и не мог быть найден в пределах беллетристической практики, потому что в творческом сознании вопрос был возбужден самой жизнью, так что и ответ мог быть найден только там, а не в книжных, литературных сферах, какими бы глубокими и тонкими такие разыскания ни были сами по себе. Однако никакие внешние очевидные обстоятельства и не обязывали к поиску исчерпывающего ответа в иных, помимо литературы, пределах, потому что в жизни при всех столичных либеральных веяниях в сущности *все* оставалось на своих привычных местах, основополагающий государственный порядок на территории страны сохранялся, социальная система функционировала по-прежнему, даже после 1861 года, так что на деле не сохранились в неприкосновенности и общественная мораль, общественные устои.

Так-то оно и так, но не на пустом месте возникают и такие вопросы, такие сомнения, способные парализовать творческую волю, если становится очевидной бессмысленность, бесцельность творчества. К. Аксаков говорит, что по поводу сочинений Гоголя не возникает вопроса о том, для чего он их пишет. Да, у читающего не возникает — настолько полна и гармонична сама в себе создаваемая Гоголем картина, но ведь для него самого этот вопрос оказался трагическим. Чем было не удовлетворено его творческое сознание? В чем он сомневался? Какое сомнение вызвало в нем такое мучительное страдание? Говорили: с Гоголя начинается натуральная школа... Теперь, когда прошло время, нельзя не увидеть, что с Гоголя в русской литературе началось нечто более глубокое и важное, чем школа, с него началось страдающее сомнение. Легко разделить мир на веселый и скучный, людей — на слабых и сильных, на правых и виноватых, но не легко ответить на вопрос, почему слабый — слаб, а виноватый — виноват, и вечен ли такой порядок вещей? Блажен, кто не сомневается ни в чем, но не блаженством верящих и довольных движется человек в веках, но страданиями сомневающихся, и сомневающихся не ради того, чтобы опровергнуть, но чтобы продолжить. Всякий из сомневающихся в *ветхом* порядке вещей желал бы сказать, каков порядок лучший, но... Предтеча страдает от произвола самодовольной силы, от грубого и дикого закона, который эту силу подпирает, и око идет за око, и зуб за зуб, и сильный отнимает у слабого последнюю рубашку; и страдая за слабых и без вины виноватых, предтеча внушает людям, что так, как они живут, нельзя жить человеку. Да, так жить тяжело, но как надо им жить, как поступать с врагом и с обидчиком, он этого не говорит им, а потому люди пожимают плечами и уходят от него, принимая его за обыкновенного книжника.

Но сомнение в законе, по которому люди живут, уже посеяно в мире, и рано или поздно семена прорастут, и придет тот, кто уже *знает*, как может человек преодолеть окаянную эту вражду и междоусобицу и скажет об этом прямо и ясно: не око за око, не зуб за зуб, а вот как: не противься злому, и злоба иссякнет. Народ слушает и удивляется: вот оно как, пожалуй, тут что-то есть!.. Ведь и на самом деле: я любил брата своего и ненавидел врага, но разве меньше стало у меня врагов? Нет, их стало еще больше, но вот теперь я *знаю*, как врага своего сделать братом!..

И так сомнение в очередной раз возвысило человека над самим собой, вылившись в осознанное слово.

Может, так будет и с нами?

ПИСЬМО В РОССИЮ



НАБОКОВ Владимир Владимирович, уникальиое явление мировой литературы. Ои родился 23 апреля 1899 г., в Петербурге, в состоятельной аристократичесиой семье известного юриста и публициста, одного из кадетских пидеров, англомаиа Владимира Дмитриевича Набокова. В 1917 г. окоичии престижиое Теиишевское училище... Оитябрь перекроип судьбы, разметаи людей по бепу свету. В 1919 г. семья Набоковых эмигрирует из России, и Владимир Владимирович изучает в Кембриджском уииверситете литературу и энтомологию.

В 1922 г., после того, как террористами был убит его отец, Набоков переезжает в Берлин. Здесь, под псевдонимом «В. Сирии», практически и начинается литературная деятельность Набокоаа (если не считать стихотворных опытов петербургской поры). В 1937 г. писатель уезжает из нацистской Германии во Францию, а в 1940 г. — в США, где начииает писать не только по-русски, но и по-аиглийски.

Писал Набоков и по-фраицузски, ио это, главиым образом, авторизоввнные переводы его кииг. Первым языком Набокова был англиийский — до школы он даже не зиал русского алфавита и впоследствии таи объясиял свою «многоязычиость»: «Моя голова говорит иа английском, сердце — иа русском, ио мое ухо — фрвнцузское».)

И с 1960 г. — только по-английски и под своей фамилией. В Америие Набоков вынуждеи преподавать в Уэллслейском кояледже и Корнуэльсиом университете руссиую и западную литературу, поскольку жить только иитературным трудом ие мог. И лишь после оглушительного успеха «Лолиты» смог оставить преподаватеньскую деятеньиость и в 1959 г. переехать в Швейцарию, купив дом иа Жеиевсиом озере.

Здесь 5 июля 1977 г. Набоков скоичался. За долгую творческую жизнь Набоков создал более пятидесяти книг. Блестящий стилист и виртуозный мастер сюжета, ои был и великолепным переводчиком, и вдумчивым литературоведом. И потому не может ие радовать «возвращение» писателя на Родину.

ВЛАДИМИР НАБОКОВ

Рассказ

Друг мой далекий и прелестный, стало быть ты ничего не забыла за эти восемь с лишком лет разлуки, если помнишь даже седых, в лазоревых ливреях, сторожей, вовсе нам не мешавших, когда, бывало, морозным петербургским утром встречались мы в пыльном, маленьком, похожем на табакерку, музее Суворова. Как славно целовались мы за спиной воскового гренадера! А потом, когда выходили из этих старинных сумерек, как обжигали нас серебряные пожары Таврического сада и бодрое, жадное гаканье солдата, бросавшегося по команде аперед, скользившего на гололедице, втыкавшего с размаху штык в соломенный живот чучела, посредине улицы.

Странно: я сам решил, в предыдущем письме к тебе, не вспоминать, не говорить о прошлом, особенно о мелочах прошлого; ведь нам, писателям, должна быть свойственна возвышенная стыдливость слова, а меж тем я сразу же, с первых же строк, пренебрегаю правом прекрасного несовершенства, оглушаю эпитетами воспоминание, которого коснулась ты так легко. Не о прошлом, друг мой, я хочу тебе рассказывать.

Сейчас — ночь. Ночью особенно чувствуешь неподвижность предметов, — лампы, мебели, портретов на столе. Изредка за стеной в водопроводе всхлипывает, переливается вода, подступая как бы к горлу дома. Ночью я выхожу погулять. В сыром, смазанном черным салом, берлинском асфальте текут отблески фонарей; в складках черного асфальта — лужи; кое-где горит гранатовый огоиек над ящиком пожарного сигнала, дома — как туманы, на трамвайной остановке стоит стеклянный, налитый желтым светом, столб, — и почему-то так хорошо и грустно делается мне, когда в поздний час пролетвет, визжа на повороте, трамвайный вагон — пустой: отчетливо видны сквозь окна освещенные коричневые лавки, меж которых проходит против данжения, пошатываясь, одинокий, словно слегка пьяный, кондуктор с черным кошелем на боку.

Странствуя по тихой, темной улице, я люблю слушать, как человек возвращается домой. Сам человек не виден в темноте, да и никогда нельзя знать наперед, какая именно парадная дверь оживет, со скрежетом примет ключ, распахнется, замрет на блоке, захлопнется; ключ с внутренней стороны заскрежещет снова, и в глубине, за дверным стеклом, засияет на одну удивительную минуту мягкий свет.

Прокатывает автомобиль иа столбах мокрого блеска, — сам черный, с желтой полоской под окнами, — сыро трубит в ухо ночи, и его тень проходит у меня под ногами. Теперь уже совсем пуста улица. Только старый дог, стуча когтями по панели, нехотя водит гулять вялую, миловидную девицу, без шляпы, под зонтиком. Когда проходит она под красным огоньком, который висит слева, над пожарным сигналом, одна тугая черная доля зонтика влажно багровеет.

А за поворотом, над сырой панелью, — так нежданно! — бриллиантами зыблется стена кинематографа. Там увидишь на прямоугольном, светлом, как луна, полотне более или менее искусно дрессированных людей; и вот с полотна приближается, растет, смотрит в темную залу громадное женское лицо с губами, черными, в блестящих трещинках, с серыми мерцающими глазами, — и чудесная глицериновая слеза, продолговато светясь, стекает по щеке. А иногда появится, — и это, разумеется, божественно, — сама жизнь, которая не знает, что снимают ее, — случайная толпа, сияющие воды, беззвучно, но зримо шумящее дерево.

Дальше, на углу площади, высокая, полная проститутка в черных мехах медленно гуляет взад и вперед, останавливаясь порой перед грубо озаренной витриной, где подрумяненная восковая дама показывает ночным зевакам свое изумрудное текучее платье, блестящий шелк персиковых чулок. Я люблю видеть, как к этой пожилой, спокойной блуднице подходит, предварительно обогнав ее и дважды обернувшись, немолодой, усатый господин, утром приехавший по делу из Петербурга. Она неторопливо поведет его в меблированные комнаты, в один из ближних домов, которого днем никак не отыщешь среди остальных, таких же обыкновенных. За входной дверью равнодушный, вежливый привратник сторожит всю ночь а неосвещенных сенях. А наверху, на пятом этаже, такая же равнодушная старуха мудро отопрет свободную комнату, спокойно примет плату.

А знаешь ли, с каким великолепным грохотом промахивает через мост, над улицей, освещенный, хохочущий всеми окнами своими поезд? Вероятно, он дальше предместья ве ходит, но мрак под черным сводом моста полон и это мгновенье такой могучей чугунной музыки, что я невольно воображаю теплые страны, куда укачу, как только добуду те лишних сто марок, о которых мечтаю — так благодушно, так беззаботно.

Я так беззаботен, что даже иногда люблю посмотреть, как в здешних кабачках танцуют. Многие тут с негодованием (и а таком негодовании есть удовольствие) кричат о модных безобразиях, а частности о современных танцах, — а ведь мода — это творчество человеческой посредственности, известный уровень пошлость равенства, — и кричать о ней, бранить ее, значит признавать, что посредственность может создать что-то такое (будь то образ государственного правления или новый вид прически), о чем стоило бы пошуметь. И, разумеется, эти-то наши, будто бы модные, танцы на самом деле вовсе не новые: увлекались ими во дни Директории, благо и тогдашние женские платья были тоже нательные, и оркестры тоже — негритянские. Мода через века дышит: купол кринолина а середине прошлого века — это полный вздох моды, потом опить выдох, — сужающиеся юбки, тесные танцы. В конце концов, наши танцы очень естественны и довольно невинны, а иногда, — в лондонских бальных залах, — совершенно изящны в своем однообразии. Помнишь, как Пушкин написал о вальсе: «однообразный и безумный». Ведь это все то же. Что же касается падения нравов.. Знаешь ли, что я нашел в записках господина д'Агрикура? «Я ничего не видал более развратного, чем менуэт, который у нас изволят танцевать».

И вот, в здешних кабачках я люблю глядеть, как «чета мелькает за четой», как играют простым человеческим весельем забавно подведенные глаза, как переступают, касаясь друг друга, черные и светлые ноги, — а за дверью — моя верная, моя одинокая ночь, влажные отблески, гудки автомобилей, порывы высокого ветра.

В такую ночь на православном кладбище, далеко за городом, покончила с собой на могиле недавно умершего мужа семидесятилетняя старушка. Утром я случайно побывал там, и сторож, тяжкий калека на костылях, скрипевших при каждом размахе тела, показал мне белый невысокий крест, на котором старушка повесилась, и приставшие желтые ниточки там, где натерла вереака («новенькая», сказал он мягко). Но таинственнее и прелестнее всего были серповидные следы, оставленные ее маленькими, словно детскими, каблучками в сырой земле у подножья. «Потопталась маленько, а так, — чисто», — заметил спокойно сторож, — и, взглянув на ниточки, на ямки, я вдруг понял, что есть детская улыбка в смерти.

Быть может, друг мой, и пишу я все это письмо только для того, чтобы рассказать тебе об этой легкой и нежной смерти. Так разрешилась берлинская ночь.

Слушай, я совершенно счастлив. Счастье мое — вызов. Блуждая по улицам, по площадям, по набережным вдоль канала,— рассеянно чувствуя губы сырости сквозь дырявые подошвы,— я с гордостью несу свое необъяснимое счастье. Прокатят века, — школьники будут скучать над историей наших потрясений, — все пройдет, все пройдет, но счастье мое, милый друг, счастье мое останется, — в мокром отражении фонаря, в осторожном повороте каменных ступеней, спускающихся в черные воды канала, в улыбке танцующей четы, во всем, чем Бог окружает так щедро человеческое одиночество.

ОСНОВНЫЕ ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. В. НАБОКОВА* НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ

Проза: «Машенька» (1926), «Король, дама, валет» (1928), «Защита Лужина» (1930), «Подвиг» (1932), «Камера обскура» (1933), «Отчаяние» (1936), «Приглашение на казнь» (1938), «Дар» (1952) — романы; «Возвращение Чорба» (1930) — рассказы, стихи; «Соглядатай» (1938), «Весна в Фиальте и другие рассказы» (1956) — сборники рассказов; «Смерть», «Дедушка», «Полюс» (1923), «Событие» (1938), «Изобретение Вальса» (1938) — пьесы; «Другие берега» (1954), расширенная редакция книги «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство», 1951) — мемуары.
Поэзия: «Стихи» (1916), «Два пути» (1918), «Гроздь», «Горний путь» (оба сборника — 1923); «Университетская поэма» (1928); «Стихотворения 1929—1951» (1952).
Переводы: «Никола Персик» («Кола Брюньон» Ромена Роллана (1922); «Аня («Алиса» — Ред.) в стране чудес» Льюиса Кэрролла (1923)**.

НА АНГЛИЙСКОМ ЯЗЫКЕ

Проза: «The real life of Sebastian Knight» («Истинная жизнь Себастьяна Найта», 1941), «Bend sinister» («Под знаком незаконнорожденных», 1947), «Lolita» («Лолита», 1955)***, «Pnin» («Пнин», 1957), «Pale fire» («Бледный огонь», 1962), «Ada or Ardor: a family chronicle» («Ада», 1969), «Look at the harlequins» («Взгляни на арлекинов», 1974) — романы; «Conclusive Evidence» («Убедительное доказательство», 1951), «Speak, memory» («Говори, память», 1957: авториз. перевод «Других берегов») — мемуары; «Nicolai Gogol» («Николай Гоголь», 1941) — докум. повесть; «Lectures of Russian literature» («Лекции по русской литературе», 1981), «Strong opinions» («Твердые суждения», 1974) — сборник интервью
Поэзия: «Poems» («Стихи»; 1959), «Poems and problems» («Стихи и задачи», 1970) — сборник стихов и шахматных композиций.
Переводы: «Pushkin: Lermontov: Tyutchev. Poems» («Пушкин: Лермонтов: Тютчев. Стихи», 1947) — антология, «A hero of our time» («Герой нашего времени», 1958) — перевод в сотр. с сыном — Д. Набоковым; предисловие и примечания; «The song of Jgor's campaign» («Слово о полку Игореве», 1961) — перевод, предисловие и примечания; «Pushkin's Eugene Onegin» («Евгений Онегин Пушкина», 1964) — комментированный прозаический перевод в 4-х т.

ПРОИЗВЕДЕНИЯ В. В. НАБОКОВА, НАПЕЧАТАННЫЕ В СССР

Будущему читателю: [и др. стихи] // Октябрь. — 1986. — № 11. — С. 111 — 125. Защита Лужина: Роман // Москва. — 1986. — № 12. — С. 66 — 163. Николай Гоголь: Докум. повесть // Новый мир. — 1987. — № 4. — С. 173 — 227. Два перевода Владимира Набокова // Иностр. лит. — 1987. — № 5. — С. 162—169. Содерж.: Декабрьская ночь: Из Мюссе; Пьяный корабль: из А. Рембо. Пушкин, или Правда и правдоподобие // Юность. — 1987. — № 6. — С. 90—93. Круг: Рассказ // Огонек. — 1987. — № 28. — С. 10—11. Стихи разных лет // Дружба народов. — 1987. — № 6. — С. 170—175. Билет: [и др. стихи] // Огонек. — 1987. — № 37. — С. 8. Машенька: Роман // Лит. учеба. — 1987. — № 6. — С. 18—58. Хват: Рассказ // Даугава. — 1987. — № 12. — С. 73—79. Дар: Роман // Урал. — 1988. — № 3. — С. 71—112; № 4. — С. 79—117; № 5. — С. 65—126; № 6. — С. 76—140. Толстой: Стихи в прозе // Кн. обозрение. — 1988. — 1 апреля. — С. 5. Предисловие к «Герою нашего времени» // Новый мир. — 1988. — № 4. — С. 189—197. Музыка: [и др. рассказы] // Лит. Армения. — 1988. — № 4. — С. 56—73. Университетская поэма // Юность. — 1988. — № 5. — С. 68—72. Другие берега: Роман // Дружба народов. — 1988. — № 5. — С. 139—165; — № 6. — С. 73—136. Событие: Драм. комедия в 3-х действ. // Театр. — 1988. — № 5. — С. 163—190. Забытый поэт: Рассказ // Смена. — 1988. — № 17. — С. 8—10. Бритва: Рассказ // Лит. Россия. — 1988. — 10 июня. — С. 17. Камера обскура: Роман // Волга. — 1988. — № 6. — С. 82—103; — № 7. — С. 100—123. «Solus rex»: Роман**** // Аврора. — 1988. — № 6. — С. 47—69. «Ultime thule»: Рассказ // Аврора. — 1988. — № 7. — С. 100—118. Фиальта и др. рассказы. Стихи. Письмо Ю. Айхенвальду // Наше наследие. — 1988. — № 2. — С. 106—113. Истребление тиранов: Рассказ // Кн. обозрение. — 1988. — 15 июля. — С. 7—10. Интервью, данное Альфреду Аппелю // Вопр. лит. — 1988. — № 10. — С. 161—188. Условные знаки: Рассказ // Лит. Россия. — 1988. — 25 ноября. — С. 23. Пять рассказов: «Пильграм» и др. // Юность. — 1988. — № 11. — С. 48—63. Машенька; Защита: Приглашение на казнь; Другие берега (Фрагменты): Романы. — М.: Худож. лит., 1988. «Хорошие читатели и хорошие писатели»: Эссе // Кн. обозрение. — 1989. — 20 января. — С. 10. Пнин: Роман // Иностр. лит. — 1989. — № 2. — С. 3—87; «Лолита»: Роман. — М.: Известия, 1989; Другие берега. Подвиг. Рассказы. — М.: Книжная палата, 1989*****.

ПУБЛИКАЦИИ О В. В. НАБОКОВЕ В СССР

Михайлов О. Разрушение дара: о Владимире Набокове // Москва. — 1986. — № 12. — С. 66—72. Мулярчик А. «Феномен Набокова». Свет и тени // Лит. газ. — 1987. — 20 мая (№ 21). — С. 5. Анастасьев Н. Феномен Владимира Набокова // Иностр. лит. — 1987. — № 5. — С. 210—223. Михайлов Ал. О Владимире Набокове // Лит. учеба. — 1987. — № 6. — С. 19—20. Слюсарева И. Построение простоты // Подъем. — 1988. — № 3. — С. 129—140. Тяпугина Н. Формула причуды // Волга. — 1988. — № 4. — С. 142—145. Шиховцев Е. Театр Набокова. // Театр. — 1988. — № 5. — С. 163. Толстой Ив. Роман с продолжением Владимира Набокова // Аврора. — 1988. — № 6. — С. 46—51. Толстая Н., Несис Г. Тема Набокова // Аврора. — 1988. — № 7. — С. 119—125. Свиридов А. В. В. Набоков — энтомолог Лит. учеба. — 1988. — № 6. — С. 126—128. Долинин А. Тайна цветной спирали // Смена. — 1988. — № 17. 11. Владимир Набоков: меж двух берегов: (Круглый стол «ЛГ») // Лит. газ. — 1988. — 17 августа. — С. 5. Новак Л. Слово о В. В. Набокове // Дальн. Восток, — 1988. — № 9. — С. 54—55. Ерофеев В. Русский метароман В. Набокова, или В поисках потерянного рая // Вопр. лит. — № 10. — С. 125—159. Шаховская З. В поисках Набокова. // Юность. — 1988. — № 11. — С. 45—47.

Вот такое мощное поступательное вхождение в нашу жизнь литературы Владимира Владимировича Набокова!

Составила Ольга МЕРКУЛОВА

---

* Библиография дается по первым изданиям Набокова.

** Здесь не приводятся многочисленные авторизованные переводы Набокова, а также переводы отдельных стихов Шекспира, Китса, Ронсара, Мюссе, Гете, Рембо и др.

*** Авторизованный перевод на русский в 1967 г. Фильм «Лолита» поставлен Стенли Кубриком в 1961 г.

**** Незаконченный.

***** Выходит в конце года.

ПРИЗНАНИЕ

100
АННА АХМАТОВА



РИСУНОК А. МОДИЛЬЯНИ

Она не могла родиться в Москве: Москва — она все-таки Москва, Московия в прошлом — столица оппозиционного русского барства и купеческого патрицианства, а не та строгая северная Русь, что не любит украшательства, а просто и с хитринкой строит свою жизнь и свое жилище: не на гвоздях, а в лапу или в голландский зуб, а попробуй, сковырни! Москва-Московия — и не южная Русь, не Украина, откуда приходили в Заиконоспасский премудрые н е х а и, с их более, чем в Московии, польско-германской и средиземноморской душой — через Волынь и Карпаты — на Запад, через Понт Евксинский — в грецкие земли и турецчину. Вот и появились в Москве разные Феофаны Прокоповичи, Стефаны Яворские, Симеоны Полоцкие — Европа сквозь Польшу, польско-украинский кунтуш под московитским охабнем.

А Ахматова — она и Горенко, но и татарская кровь в ней, и греческая, да из Новороссии прямо в Царское Село, где навеки поразил ее и приковал не только как поэта, но и как пушкиноведа, он, смуглый отрок:

Смуглый отрок бродил по аллеям
У озерных глухих берегов,
И столетие мы лелеем
Еле слышный шелест шагов...

И средиземноморское в ней — вернее, черноморское —

Бухты изрезали низкий берег,
Все паруса убежали в море,
А я сушила соленую косу
За версту от земли на плоском камне...

И все-таки не южное возобладало в поэтической речи, в самой необычайной, неповторимой ахматовской просторечивой красе, а скорее северное, ильменское, новогородское. Когда бродишь по заросшим травою улочкам Господина Великого Новгорода, плывешь в утлой лодчонке к Нередицкому Спасу, рассматриваешь строгие и скупыми штрихами растененные фрески Спаса-Преображения, — как-то невольно поминаешь многое ахматовское. Вот так же просто, крепко, на совесть сработано — и уветливо. Бог этих простых кубов с апсидами — белых-белых новогородских церквей — Бог, как говаривал Лесков, «запазушный», тут же, неотрывно с тобой — легко молиться Такому совсем уродившемуся Богу. И так же непосредственно, с полной простотою, прибегает к Богу Ахматова, не как к чему-то далекому, чуть холодному — как в одах и поучениях. Для Ахматовой — Бог — Милостивец, Богородица — воистину Скоропослушница, и к ним так легко обращаться со всеми своими горестями и обидами:

...Если ты еще со мной побудешь,
Я у Бога вымолю прощенье
И тебе, и всем, кого ты любишь.

———————

Протертый коврик под иконой...
И в косах спутанных таится
Чуть слышный запах табака...

———————

Снова мне в прохладной горнице
Богородицу молить...
Трудно, трудно быть затворницей...

И потом, безо всяких высокоумных и рыбокровных кривляний, когда забрали сына, когда уводили его чекисты — обращение к Богу — и к Сталину одновременно: мать не может, если она мать, рассуждать по прописям из катехизиса: нельзя молиться Богу и маммоне. Мать запросто обращается к Богу — и молит и даже кривит душой (на то и мать!), умоляет палачей:

Семнадцать месяцев кричу,
Зову тебя домой.
Кидалась в ноги палачу,
Ты сын и ужас мой.

Да в Новгороде Великом даже такая церковь есть: во имя Уверения Неверного Фомы: и молитва — и северная мужицкая хитринка: все-таки персты в язвы гвоздные вкладывать: и вера есть — и так оно вернее... И чисто по-человечески: «е с л и ты со мной побудешь», ну, в т а к о м с л у ч а е, — «я у Бога вымолю прощенье и тебе...» И только тупой Жданов мог издеваться над протертым предыконным ковриком — и запахом табака в спутанных косах: ведь так и следует: чтобы Бог не уходил в синодальные дали, в прописи и катехизисы, а был вот тут, в самой нашей жизни с ее звериным (и таким человечьим!) теплом. Ахматова и сама-то чувствует эту свою связанность с исконно русской стороною:

...Таинственные, темные селенья —
Хранилища молитвы и труда.
Спокойной и уверенной любови
Не превозмочь мне к этой стороне:
Ведь капелька новогородской крови
Во мне — как льдинка в пенистом вине.

И вот удивительно: в русской музыке — и в русской великой прозе, а отчасти и в поэзии не Москва была носительницей национально-русского начала, а невская столица, тот самый

...старый город Питер, —
Что народу бока повытер,
(Как тогда народ говорил).
В гривах, в сбруях, в мучных обозах,
В размалеванных чайных розах
И под тучей вороньих крыл...
...И царицей Авдотьей заклятый,
Достоевский и бесноватый,
Город...

Из предисловия к Избранному Анны Ахматовой (США. 1965 г.).

Да, не Москва породила если не самих творцов, то творчество Глинки, Бородина, Мусоргского, Римского-Корсакова, Прокофьева; Пушкина, Гоголя, Достоевского, Гончарова, Тютчева, Лескова, Блока, Клюева, Заболоцкого: породил их творчество «царицей Авдотьей заклятый, Достоевский и бесноватый город»... В их ряду и Ахматова. Сколько бы ни говорили о «космополитизме» и «отвлеченности» Питера, а вот именно он и стал душой русского национального, а Москва — кроме, может статься, великого русака Толстого и российского интеллигентского Чехова, — пошла как раз по пути более космополитическому: это и русской ее барской стати не перечит: еще издавна, еще в грибоедовские времена, там в особенности было:

Кто хочет к нам пожаловать, — изволь;
Дверь отперта для званных и незванных,
Особенно из иностранных...

Вот эту генеалогию Ахматовой подчеркивает в своей неопубликованной статье Осип Мандельштам: он подчеркивает при этом, что поэтическая родословная Ахматовой — в основном идет не от русской стиховой традиции, а от великой русской прозы: «Ахматова принесла в русскую лирику всю огромную сложность и богатство русского романа 19-го века. Не было бы Ахматовой, не будь Толстого с Анной Карениной, Тургенева с Дворянским Гнездом, в с е г о Д о с т о е в с к о г о и отчасти Лескова. Генезис Ахматовой весь лежит в русской прозе, а не в поэзии. Свою поэтическую форму, острую и своеобразную, она развила с оглядкой на психологическую прозу». Типичный петербуржанин — Достоевский (пусть и родившийся, но только родившийся — не больше — в Москве), — частый гость в стихах Ахматовой, особенно за последнюю четверть века:

Россия Достоевского. Луна
Почти на четверть скрыта колокольней...

Да и сам Питер — по определению Ахматовой — «Достоевский», вернее, «достоевский».

А свою родословную — от великой прозы — Ахматова тоже подчеркивает, и очень ярко:

Мне ни к чему одические рати
И прелесть элегических затей...
...Когда б вы знали, из какого сора
Растут стихи, не ведая стыда,
Как желтый одуванчик у забора,
Как лопухи и лебеда.
Сердитый окрик, дегтя запах свежий,
Таинственная плесень на стене...
И стих уже звучит, задорен, нежен,
На радость вам и мне.

Как тут не вспомнить ее любимого Пушкина, которому посвящены не только некоторые стихи, но и очень деловые и деловитые даже, очень ученые статьи Ахматовой:

Порой дождливою намедни
Я, завернув на скотный двор...
Тьфу! Прозаические бредни,
Фламандской школы пестрый сор!

И не только «от прозы жизни», а именно от русской художественной прозы, от прозы петербургской — и главным образом от Достоевского — идет ахматовская лирика. <...>

Интересна и тоже сходна с Достоевским и предельная откровенность Ахматовой: она и очень выстрадана и глубоко пережита — она и далека от чистого автобиографизма: слишком личное преодолено без его исчезновения, и никто не скажет: «это — обобщение: это — общее место». Л и ч н о е, и н д и в и д у а л ь н о е затрагивает каждого, как о б щ е ч е л о в е ч е с к о е. И притом — в обличьи своего времени, в костюмах и обстановке своей эпохи, но без назойливости «местного колорита» и бутафории времени. Чувство высочайшей м е р ы: это тоже роднит Ахматову с Пушкиным. Народность, не переходящая в п р о с т о н а р о д н о с т ь, никогда не стилизация. Она не в таких стихах, как замечательное в своем роде «Причитание» («Господеви поклонитеся»), «А Смоленская нынче именинница», а в гениальном двустишии:

От других мне хвала — что зола,
От тебя и хула — похвала.

Почти народное присловье! А, вместе с тем, какое чистоахматовское! А сколько таких навеки запоминающихся двустиший рассыпано в лирике Ахматовой: «Лишь сердце мое никогда не забудет отдавшую жизнь за единственный взгляд»; «И вся земля была его наследством, а он ее со всеми разделил»; «Но я предупреждаю вас, что я живу в последний раз»... Да сколько еще!.. <...>

Искупление. Всемирно-исторический суд. Страшный Суд истории и совести. Затем — страшная война и «нашествие иноплеменных» — гитлеровских полчищ. Великий погром советских армий, великое отступление почти до Урала: правда, уже грезилась и отместка:

От того, что сделалось прахом,
Обуянная смертным страхом
И отмщения зная срок,
Опустивши глаза сухие
И ломая руки, Россия
Предо мною шла на восток.

Петербург-Ленинград вымирал долго и люто: в зимы осады, голодный и холодный, он как-то выстоял, но смерть унесла не менее двух миллионов: в дни и месяцы осады не было сил и средств, не было времени и возможности даже хоронить трупы, и многие дома города представляли собою чудовищные морги: в первую очередь вымирали, конечно, «осколки разбитой вдребезги» старой петербургской культуры, но смерть косила всех без разбора. И все-таки Ленинград выстоял: Ахматова писала в те дни:

А вы, мои друзья последнего призыва!
Чтоб вас оплакивать, мне жизнь сохранена.
Над вашей памятью не стыть плакучей ивой,
А крикнуть на весь мир все ваши имена!
Да что там имена!
Захлопываю святцы,
И на колени все!
Багряный хлынул свет.
Рядами стройными выходят ленинградцы —
Живые с мертвыми: для славы мертвых нет. <...>

Но Ахматова отнюдь не вопленница над мертвыми, — она оплакивает их, но захлопывает святцы с их именами, чтобы заговорить о вечно живом, о вечной жизни и тех, что отошли. Она знает, что —

Когда погребают эпоху,
Надгробный псалом не звучит.
Крапиве, чертополоху
Украсить ее предстоит.
И только могильщики лихо
Работают. Дело не ждет!..

А дело — это великое дело. Дело любви и порождения новой жизни, не только личной, но и сверхличной, не только порождения, но и воскрешения, дело бессмертия. К этой р у с с к о й идее здесь, земного — почти материалистически понимаемого, но глубоко-духовного в то же время — бессмертия Ахматова возвращается не раз: эта идея ей близка:

Разве ты мне не скажешь снова
Победившее
смерть
Слово
И разгадку жизни моей?

Не поэзии сказать это великое Слово. Она может только прикоснуться чуть-чуть, только легко намекнуть на него:

Наше священное ремесло
Существует тысячи лет...
С ним и без света миру светло.
Но еще ни один не сказал поэт,
Что мудрости нет, и старости нет.
А может, и смерти нет.

Ахматова вплотную подошла к этому Слову. В этом — путь ее духовного возрастания. В этом — ее великая жизненная сила и правда. В этом — секрет ее вечной молодости. В этом — секрет органического единства всего ее творчества, всегда беззаветно и в хорошем смысле п р о с т о воспевавшего ж и з н ь.

Борис ФИЛИППОВ



Арон СИМАНОВИЧ

РАССКАЗЫВАЕТ СЕКРЕТАРЬ РАСПУТИНА

НИКОЛАЙ II

В сущности я Николая II всегда жалел. Без сомнения, он был глубоко несчастный человек. Он никому не мог импонировать и его личность не вызывала ни страха, ни почтения. Он был заурядным человеком. Но справедливость все-таки требует подтвердить, что при первой встрече он оставлял глубоко обаятельное впечатление.

Он был прост и легко доступен, а в его присутствии совершенно забывался царь. В своей личной жизни он был чрезвычайно мало требователен. Но его характер был противоречив. Он страдал от двух недостатков, которые в конце концов его погубили: слишком слабая воля и непостоянство. Он никому не верил и подозревал каждого. Распутин передавал мне как-то следующее выражение царя: «Для меня существуют честные люди только до двух годов. Как только они достигают трехгодичного возраста, их родители уже радуются, что они умеют лгать. Все люди лгуны».

Распутин на это возражал, но безуспешно.

Вследствие этого к царю никто не верил. Николай II во время разговора казался очень внимательным и предупредительным, но никто не мог быть уверенным, что он сдержит свое слово. Случалось очень часто, что приближенные царя должны были заботиться о выполнении им данного слова, так как он сам об этом не заботился. Николай жил в убеждении, что все его обманывают, стараются перехитрить и никто не приходит к нему с правдой. Это был трагизм его жизни. Поэтому очень трудно было у него что-нибудь провести. В сознании, что он ненавидим собственной матерью и родственниками, он жил в постоянной боязни от двора императрицы-матери, т. е. так называемого старого двора, об отношениях которого к царю предстоит еще речь. Он считал даже свою жизнь в опасности. Привидение дворцового переворота постоянно носилось перед его глазами. Он часто высказывал опасение, что его ожидает судьба сербского короля Александра, которого убили вместе с женой и трупы выбросили через окно на улицу. Видно было, что убийство сербского короля произвело на него особое впечатление и наполняло его душу содроганием за свою судьбу.

Царь проявлял особый интерес к спиритизму и ко всему сверхъестественному. В этом лежала большая опасность. Когда он слышал о каком-нибудь предсказателе, спирите или гипнотизере, то в нем сейчас же возникало желание с ним познакомиться.

Этим и объясняется, что столько жуликов и сомнительных личностей, при других условиях и мечтать не смевших о царском дворе, сравнительно легко получали доступ к дворцу.

Достаточно лишь назвать имя Филиппа, который имел весьма большое влияние на Николая.

Также Распутин в первую очередь своим беспримерным успехом был обязан склонности царя к сверхъестественному. Много лиц занимались подыскиванием темных личностей для представления царю как людей со сверхъестественной силой. Таких личностей считали сотнями и только о немногих стало известно общественности.

Среди лиц, которые умели заинтересовать Николая II в сверхъестественном еще до появления Распутина, особое место занимала графиня Нина Сарнекау, незаконная дочь принца Ольденбургского.

Николай II постоянно устраивал с ней спиритические сеансы и запрашивал через нее духов о своей судьбе. Я попробовал однажды, но безрезультатно, использовать эту склонность для моих целей при следующих обстоятельствах. Мой хороший друг, румынский скрипач Гулеско, любимец петербургского света, устраивал по какому-то случаю вечер. Он пригласил своих знакомых на тарелку «румынского супа». Среди гостей находились кавказский князь Николай Нишерадзе, камергер царя Иван Накашидзе, член главного правления Красного креста, князь Уча-Дадиани, флигель-адъютант царя, князь Александр Эристов, кутаисский генерал-губернатор и отец известной придворной дамы князь Орбелиани и другие. После здоровенной выпивки мы чувствовали потребность продолжать в другом месте. Мы позвонили графине Сарнекау и были приглашены ею на ее квартиру. Здесь начался настоящий кутеж. Мы все, включая и нашу хозяйку, были уже сильно выпивши, когда вдруг к дому графини на дворцовом автомобиле подъехал царский фаворит князь Алек Амилахвари с предложением Его Величества графине немедленно ехать в Царское Село. Хотя и очень неохотно, но все-таки графиня не считала возможным отказаться от царского приглашения. Мы же в это время шутили над спиритическими способностями графини. Вдруг мне пришло в голову просить ее похлопотать перед духами в пользу русских евреев.

Духи должны были повлиять на царя в смысле отмены ограничительных законов для евреев в России.

Моя мысль была поддержана офицерами-грузинами. Однако к крайнему сожалению, графиня не осмелилась заняться политическим вызовом духов. Может быть она вообще не желала осуществления моей затеи, так как она принадлежала к высшему петербургскому обществу, которое всегда было враждебно настроено к евреям.

Антисемитизм среди высшего петербургского общества вообще не так трудно было бы искоренить, как принято думать. Враждебное отношение к евреям Николая II объясняется его воспитанием...

Распутин неоднократно говорил, что царя настраивают против евреев его родственники и министры. Сам царь рассказывал ему, что его министры во время своих докладов постоянно высказываются против евреев и таким образом и его восстанавливают против них. Его постоянно забрасывают рассказами о так называемом «еврейском засилье». Не удивительно, что эта травля имела свои последствия. Императрица вообще не имела понятия о еврейском вопросе и только потом узнала, что такое антисемитизм. При царском дворе были всегда заняты евреи и никто не видел в этом ничего предосудительного. Известно, что царь немедленно после принятия командования над армией отменил практиковавшиеся Николаем Николаевичем бесчеловеческие притеснения евреев.

Распутин передавал мне, что царь сделал это по собственной инициативе и допускал возможность, что царь довольно охотно внимал просьбам евреев, когда к нему обращались.

Молодые придворные дамы были вообще чужды антисемитизма и, во всяком случае, он не был у них заметен. Даже для Вырубовой этот вопрос был мало знаком, и при разговорах о нем она только пожимала плечами.

Николай II был сторонником строгого абсолютизма, но его сильно стеснял обязательный для него, как монарха, придворный этикет. Он охотно обходил его. Для него было большим удовольствием разговаривать с завсегдатаями петербургских увеселительных домов, которые не всегда вели себя к нему подобающе. Я не хочу здесь рассказывать подробности, но могу только заметить, что царю очень нравился румын Гулеско.

Главной причиной этому было то, что он сочинил песенку, в которой распевалось про офицеров царского конвоя, забывших в публичном доме уплатить по счету. Песенка кончалась припевом: «Отдай мне мои три рубля», и царь по поводу этой песенки много смеялся.

Младший брат царя, Георгий, который до рождения Алексея считался наследником престола, умер от туберкулеза в Абастумане. Непосредственной причиной смерти послужило переутомление, последовавшее за велосипедными гонками, участвовать в которых уговорил его спутник Гелльштрем, который дослужился в русском флоте до чина капитана второго ранга. Его считали незаконным сыном Александра III и одной придворной дамы. Он был на него удивительно похож. Вдовствующая императрица никогда не могла видеть его без волнения. Он получал пенсию от императорского двора и кроме того неоднократные денежные вспомоществования от вдовствующей императрицы и великого князя Михаила. Вследствие его вины в смерти великого князя Георгия императрица Мария была против него сильно озлоблена, но все-таки принимала его довольно часто. Он постоянно сетовал на свое незаконное рождение, которое у него отнимало права на царский трон, и вел весьма легкомысленный образ жизни.

ДВА ДВОРА

Между двором царя Николая II и двором его матери существовала острая, непримиримая вражда, последствия каковой оказались роковыми. Почти вся родня царя находилась на стороне старого двора.

Вражда эта не относилась ко времени Распутина, но была значительно старше. Знающие обстоятельства объяснили начало этой вражды нежеланием старой императрицы видеть на престоле своего старшего сына. Рассказывали, что в Крыму составлялся даже заговор с целью возвести на престол второго сына Александра III, Георгия, любимца матери. В этом заговоре должны были участвовать также некоторые гвардейские полки. Но план этого заговора почему-то расстроился.

Не было секретом, что вся родня Николая была против предоставления прав народу участвовать в управлении государством. Когда Николай II в 1905 году все-таки подписал конституцию, все были страшно возмущены против него. Такое отношение родни много способствовало колеблющейся политике Николая в последующие годы. Это подтверждал мне неоднократно граф Витте, творец конституции 1905 года, сам боявшийся мести старого двора. Каждый в Царском Селе знал, что вследствие данного отцу обещания мать и родня Николая II требовали безусловного соблюдения самодержавия. Ему даже довольно откровенно намекали на то, что в противном случае последствия для него могут оказаться весьма нежелательными. Эти обстоятельства понудили некоторых друзей предложить царю потребовать от своей родни вторичной присяги.

Все приверженцы царя, поддерживающие его в борьбе со старым двором, порицали его за попустительство по отношению к его явным врагам. Распутин также в этом отношении не соглашался с царем. Он знал, что его близкие отношения к Николаю являлись опасным оружием в руках его врагов и был уверен, что родственники царя ненавидели его не меньше, чем самого царя. Это делало Распутина злейшим врагом старого двора и всех царских родственников. Он при каждом удобном случае восстанавливал царя против великих князей, но Николай не осмелился предпринять серьезные меры против своих родственников. Он боялся их и старался все недоразумения и ссоры улаживать мирным путем. Распутин не скрывал своего недовольства и часто упрекал царя за это.

— Почему ты не поступаешь, как должен поступать царь? Ты же царь. Если бы я был царем, я бы показал, как должен действовать царь, и как это делается. Никто не думает о тебе, никому ты не нужен. Все стараются тебя только застращать. Твои родственники тебя убьют. Ты не умеешь привлечь к себе людей. Все находятся с тобой во вражде, а ты только молчишь...

Так примерно говорил Распутин с царем. Он хотел понудить его к сопротивлению. Но царь не мог решиться на борьбу со своими врагами. Если кто-нибудь из царской семьи провинился уже слишком, то он накладывал взыскания, но до того незначительные, что все поражались его мягкости. Его слабость лучше всего характеризуется его поведением после убийства Распутина: он даже не посмел привлечь к ответственности виновных.

Николай не имел доверия также к своему личному конвою. Он всегда боялся заговора в пользу старого двора. Поэтому он привлекал в конвой татар и грузин. Его лично всегда охраняли кавказские князья. Он любил их и был спокойнее с тех пор, как они находились при дворе.

Мысль о привлечении кавказцев к дворцовой службе исходила от императрицы-матери, которая предполагала, что кавказцы помогут возвести на престол ее сына Георгия. Однако Николай опередил ее и привлек кавказцев на свою сторону.

Царь знал слабости своих верных. Он видел, что они не особенно культурны и склонны к кутежам и излишествам. Но зато он был уверен, что каждый из них готов за него умереть и убьет по его приказанию любого. Он гордился этим, и кавказцы стояли высоко в его глазах. Они вели при нем великолепную жизнь, но часто злоупотребляли его добродушием. Он часто платил их картежные долги и их выступления даже забавляли его. Любимец царя, князь Дадиани, изумил после какой-то попойки царя заявлением, что он заложил свои эполеты, что означало, что он поручился своим честным словом об уплате карточного долга.

Император часто закрывал глаза на проделки своих любимцев. Случалось, что офицеры конвоя безобразничали в разных общественных местах, но они были душой и телом преданы своему царю. К счастью для генерала Рузского и депутатов Шульгина и Гучкова, они отсутствовали при требовании отказа от престола. Без сомнения, ни один из этих господ не остался бы в живых. Говорят, что генерал Рузский угрожал царю даже револьвером. Это мог лишь допустить всегда пьяный дворцовый комендант Воейков.

Я поддерживал со всеми офицерами царского конвоя наилучшие дружественные отношения.

Однажды я получил приглашение от дежуривших офицеров конвоя явиться в их дежурную комнату, где должна была состояться карточная игра. Я последовал приглашению, и мы играли в макао. Вдруг неожиданно в ночном костюме явился царь. Он сперва был недоволен и разнес нас за карточную игру, но затем раздал нам каждому по десять рублей новыми двугривенниками и сел сам за карточный стол.

Продолжение. Начало в № 5.

ТАЙНА РОЖДЕНИЯ НАСЛЕДНИКА ПРЕСТОЛА

История, рассказанная мне о рождении наследника, до того фантастична, что верить ей действительно не легко. Но я слышал ее от лиц, заслуживающих безусловного доверия.

Известно, что в первые годы супружества у царицы рождались лишь дочери. Это служило поводом многим насмешкам. В конце концов царская чета сама почти перестала верить в возможность рождения сына. Вину в том, что у его супруги рождались лишь девочки, царь приписывал себе и эта мысль была, наверно, навеяна царю каким-нибудь предсказателем. Поэтому он будто бы пришел к невероятному решению на время отказаться от прав мужа и предоставить свою жену другому мужчине. Надежда, что рождение наследника помешает планам его родственников о его низвержении с престола, могла быть решающей в этом вопросе.

Выбор царицы пал на командира уланского ее имени полка, генерала Орлова, очень красивого мужчины и при том вдовца. Как утверждали, царица с согласия своего мужа вступила в интимную связь с Орловым. Цель этой связи была достигнута и царица родила сына, который при крещении получил имя Алексея.

Но за это время, как передавали, у царицы развилась сильная любовь к своему вынужденному любовнику. Отец ее сына, к которому она привязалась со всей силой своего материнского сердца, также покорил ее сердце женщины.

Но Николай II не был подготовлен к такому исходу этого странного способа получения наследника.

Роды были очень тяжелы и потребовалась операция, так как ребенок имел ненормальное положение. Так как царица была очень недовольна своим лейб-акушером проф. Отт, то на консультацию был приглашен также лейб-медик царицы Тимофеев, который не был женским врачом. Он сообщил царю об опасности положения и запросил его указания, кого в случае крайности спасать — мать или дитя.

Царь ответил: «Если это мальчик, то спасайте ребенка и жертвуйте матерью». Но благодаря операции были спасены и мать и дитя. Однако операция была сделана недостаточно удачно и благодаря ей царица перестала быть женщиной. Что в крайности при родах пожертвовали бы ею, стало известно царице и произвело на нее удручающее впечатление. Ее отношения с Орловым продолжались. Назревал открытый скандал, и царь решил услать Орлова в Египет. Перед отъездом он пригласил его на ужин. Что на этом ужине произошло между царем и Орловым, я не мог узнать. Но мне передавали, что после ужина Орлов был вынесен из дворца в бессознательном состоянии. После этого его в спешном порядке отправили в северную Африку, но он, не достигнув ее, по дороге умер. Его тело было доставлено обратно в Царское Село и там с большой пышностью погребено. Царица была уверена в виновности царя в смерти Орлова и не могла никогда этого забыть.

Страдания царицы были для нее непосильны, и она долгое время оставалась после этого чуждой своему мужу. Потом, хотя опять постепенно восстановились между ними хорошие отношения, но все же по временам царица не разговаривала со своим мужем.

В такие дни они посылали через своих приближенных друг другу письма. Флигель-адъютант Саблин, комендант царской яхты «Штандарт», бывал в таких случаях примирителем и царь и царица после этого оставляли впечатление внутренне связанных людей. Она имела очень сильное влияние на него. Но кто его не имел?

После трагической смерти Орлова царица целый год посещала его могилу, украшая ее великолепными цветами. На могиле она много плакала и молилась. Царь не мешал ей.

С тех пор она часто страдала сильными истерическими припадками.

ПОКУШЕНИЕ НА НАСЛЕДНИКА

Нельзя обойти молчанием страшный случай, происшедший в Царском Селе, который послужил исходным пунктом дальнейшим осложнениям. В связи с этим нельзя не вспомнить о болезни наследника, странностях царицы и других болезненных явлениях, к которым необходимо причислить историю с Распутиным, увлечение разными спиритическими личностями и интерес к лицам со сверхъестественными способностями. Возможно, что царившая при дворе болезненная напряженность имела и другие причины, но во всяком случае происшествие, о котором будет в дальнейшем речь, играло большую роль. Мне известны подробности страшного события из первоисточников. Российская общественность об этом, насколько мне известно, ничего не знала. Я не хочу никого обвинять и поэтому не стану передавать всех подробностей. Но правильность моих сведений подтвердил мне также Распутин, перед которым и при царском дворе не было никаких тайн.

Многие из читателей, наверно, видели фотографию наследника, на которой он изображен на руках своего дядьки, рослого матроса. В свое время рассказывали, что наследник упал на императорской яхте «Штандарт» и при падении повредил себе ногу. Вскоре после этого газеты сообщали, что капитан «Штандарта» контр-адмирал Чагин (предшественник Саблина) покончил с собой выстрелом из винтовки. Самоубийство Чагина связывали с несчастным случаем, происшедшим с наследником. Говорили, что адмирал Чагин вынужден был покончить самоубийством из-за того, что на командуемом им судне случилось несчастье с наследником.

Все же эта причина не достаточна для самоубийства. По моей информации, с наследником вообще никакого несчастного случая не было, а мальчик стал жертвой произведенного на него в Царском Селе покушения. Мне рассказывали, что родственники царя обратились к адмиралу Чагину с просьбой рекомендовать двух матросов для службы в Царском Селе. Они должны были поступить туда в качестве чернорабочих. При дворе был заведен порядок, по которому для исполнения и самых простых работ принимались лишь такие люди, которые уже раньше работали в одном из дворцов или известных домов... Это был хороший метод для подбора надежного персонала.

Оба рекомендованные Чагиным матроса были сперва использованы для садовых работ в Аничковом дворце. В Царском Селе они были также назначены садовыми рабочими. Никому и в голову не могла прийти мысль, что оба матроса имели задание убить царевича.

Однажды мальчик играл в присутствии одного камердинера в дворцовом саду, где как раз оба матроса были заняты обрезкой кустов. Один из них бросился с большим ножом на маленького Алексея и ранил его в ногу. Царевич закричал. Матрос побежал. Находящийся поблизости камердинер нагнал матроса и задушил его тут же.

Второго матроса также поймали и по приказу царя, без суда, повесили.

Было установлено, что оба матроса попали в Царское Село по рекомендации Чагина. Этот случай до того потряс Чагина, что он покончил самоубийством, так как мысль быть заподозренным в участии в покушении на наследника была для него невыносима. Он наполнил ствол винтовки водой и выстрелил себе в рот. Его голова в буквальном смысле была разнесена на куски. Чагин оставил письмо императору, в котором изложил всю историю этого дела.

После покушения царская чета переживала страшное время. Положение Алексея было весьма опасным, и он поправлялся очень медленно. После этого родители постоянно опасались за жизнь своего сына. Они боялись новых покушений со стороны своих родственников и не смели никому его доверять. Мать почти никогда не оставляла его одного. Ее материнская любовь становилась болезненной. Царь также был сильно потрясен и не находил выхода. Этим объясняется многое в его странных поступках.

Все царствование Николая II было заполнено событиями, пригодными для сенсационного романа. В этом отношении он превзошел всех своих предшественников. Во многом он сам виноват и многое лежит на его совести.

Громадный клубок кровавых событий и преступлений сплелся при его участии, и многое из него ждет своего объяснения. Эту задачу я должен предоставить будущему историку, и я хочу лишь ограничиться передачей моих впечатлений и наблюдений последнего десятилетия перед революцией. Очень трудно отделить факты от окружающих их легенд. Так обстоит также вопрос с историей рождения наследника.

ЕВРЕЙСКИЙ ВОПРОС

Мною была создана обширная организация для собирания материалов о положении евреев во всех частях России. В последние годы перед революцией работа была закончена. Я не скупился в средствах. У меня были зарегистрированы все раввины, все еврейские политики, все купцы и даже еврейские студенты. Я был осведомлен не только о политическом положении и общественной жизни евреев, но знал также многое из личной жизни видных еврейских деятелей. Этим я больше всего импонировал моим клиентам, когда они ко мне обращались. Обычно я вперед знал, по какому делу они ко мне обращались, что производило еще большее впечатление. Ежедневно ко мне обращались евреи со всех концов России. Они ждали моей помощи и участия в самых разнообразных делах. Чтобы быть в состоянии им помочь, я наладил хорошие отношения со всеми соответствующими учреждениями и должен сказать, что не было в России учреждения, в котором я не мог бы провести мои дела.

Больше всего работы мне давала еврейская молодежь. Известно, что евреи в российских высших учебных заведениях принимались с большими ограничениями. Осилить эти ограничения стоило очень много труда и денег. Ежедневно меня забрасывали телеграммами, письмами и личными просьбами похлопотать о еврейской молодежи, жажда к образованию которой была ущемлена существующими ограничительными законами. Часто случалось, что люди приезжали за тысячу верст, чтобы только посоветоваться со мной. Большинство из них не были богаты, но отдавали свои последние гроши, лишь бы дать возможность своим детям попасть в соответствующее учебное заведение.

Всем, ко мне обращающимся, я давал точные указания, к кому они должны были направиться и что предпринять. Но это было еще недостаточно. В большинстве случаев я должен был ходатайствовать лично. Для этой цели я обзавелся рекомендательными письмами Распутина к влиятельным лицам, известным петербургским профессорам, придворным дамам, духовным и т. п. Просьбы о принятии одного или нескольких евреев в высшие учебные заведения передавались нередко даже от имени императрицы.

Перед началом занятий меня ежегодно посещали целые вереницы молодых евреев, которые добивались приема в Петербургский Университет или другие высшие учебные заведения. Я снабжал их письмами Распутина, водил к министрам и сообщал, что царица поддерживает эти просьбы. Обычно молодые люди тогда принимались, несмотря на установленную норму.

Я сам диктовал Распутину его письма и они гласили примерно следующее:

«Милый, дорогой министр, Мама (т. е. царица) желает, чтобы эти еврейские ученики учились на своей родине и чтобы им не приходилось ехать за границу, где они становятся революционерами. Они должны остаться дома. Григорий».

Ограничение места жительства для евреев также причиняло мне много хлопот. Я ежедневно получал телеграммы исхлопотать их отправителям разрешение проживать в Петербурге или Москве, или предпринять поездку вне черты оседлости. Для удовлетворения этих просьб у меня существовало специальное бюро. При таких условиях я мог до тех пор, пока я имел в Петербурге влияние, добиваться того, что покровительствуемые мною лица могли спокойно проживать в Петербурге.

Права жительства я доставал всем без исключения евреям, которые ко мне обращались.

Еврейские ремесленники имели право жительства всюду, где они хотели заниматься своим ремеслом. Все евреи, которые хотели воспользоваться этим правом, подвергались испытанию, которое особых трудностей не представляло. Поэтому я много хлопотал о том, чтобы утвердиться в Петербургской ремесленной управе, которая в этом вопросе была решающей и в конце концов добился того, что я при выборе правления управы имел решающее значение. Всегда проводились мои кандидаты, которые потом и были моими верными сотрудниками.

Я добывал разрешения на право жительства не только лицам, которые действительно хотели заниматься своим ремеслом, но и таким лицам, которые и понятия не имели о ремесле, по которому они экзаменовались. Они заносились в регистр подмастерьев. Как ювелир я также имел право держать подмастерьев и пользовался очень широко этим, хотя в Петербурге я не имел мастерской. В моей квартире находились несколько рабочих столов в пустой комнате, где никогда не работали. Мои подмастерья занимались всевозможными делами, но только не ювелирным делом. Среди них были артисты, писатели, учителя и др. Когда министр внутренних дел Хвостов выслал меня в Нарымский край, о чем я еще буду рассказывать впоследствии, то среди опекаемых мною таким образом лиц возникла настоящая паника. Все боялись, что их также вышлют. Но я скоро вернулся и был встречен целой толпой бурно меня приветствовавших евреев. Они радовались не только за себя и меня, но и за то, что простой еврей мог выйти победителем в борьбе с всесильным министром внутренних дел.

Мое возвращение из ссылки являлось лучшим доказательством, что я у царя находился в большой милости. По этому поводу я получил массу поздравительных телеграмм со всех концов России.

Причины моего влияния были только не многим известны. Таинственные легенды окружали мою личность. Одни считали меня что-то вроде министра по еврейским делам, другие же думали, что я являюсь представителем американских евреев.

Если какой-нибудь местности угрожал еврейский погром, то мой тамошний корреспондент меня об этом уведомлял. Условленный уже заранее текст телеграммы обычно гласил: «Беспокоимся вашем положении. Телеграфируйте».

После получения такой телеграммы я немедленно принимал все меры, чтобы заставить центральные власти предписать местным властям прекратить погромную агитацию. Таким путем мне удавалось предотвратить погромы в Минске, где губернатором был Гирс, и в Вильно, где губернаторствовал Любимов. Как только мне удавалось добиться желаемых результатов, я немедленно посылал местному раввину или другому известному еврею в угрожаемый город короткую опять условную телеграмму.

«Надеюсь завтра выздороветь. Сообщу немедленно, как только смогу оставить дом». Это означало, что губернатору и полицейским властям срочными телеграммами предписано остановить погромную агитацию. В таких случаях, вследствие моих настояний, директор департамента полиции предписывал соответствующему губернатору лично посетить угрожаемую местность и лично там успокоить евреев. Это обычно делалось в такой форме, что губернатор просил к себе раввина и еще несколько представителей еврейства, которых уверял, что он не допустит погрома.

Кроме ремесленников также купцы пользовались правом жительства вне района оседлости или совершать соответствующие деловые поездки. Для меня было легко доставать для них право въезда в Петербург. Но бывали и случаи, что проситель не имел никакого формального права для приезда в Петербург. В таких случаях я телеграфно предлагал просителю выслать прошение в двух экземплярах: один для меня, а другой петербургскому градоначальнику. Проситель от меня получал телеграмму: «Вам сообщат, что впредь до распоряжения вы причислены к канцелярии градоначальника».

Этот способ обычно применялся градоначальником тогда, когда другим путем не было возможности обойти правила об еврейской оседлости. Фиктивно причисленные к канцелярии градоначальника евреи могли со своими семьями совершенно беспрепятственно проживать в Петербурге.

РАСПУТИН И ЕВРЕИ

Конечно, не приходится распространяться о том, что при улаживании еврейских ходатайств, вскоре ставших моим главным занятием и поглощавших массу времени, дружба Распутина была для меня весьма ценной. Он никогда не отказывал в своей помощи.

Правда, в первое время он в еврейских делах проявлял некоторую сдержанность. Он охотнее со мной соглашался, если дело касалось других вопросов, и у меня создалось впечатление, что с еврейским вопросом он мало знаком.

Он также мне часто рассказывал, что царь сетует на евреев. Так как министры постоянно жаловались на еврейское засилье и участие евреев в революционном движении, то царю еврейский вопрос причинял немало забот, и он не знал, как с ним поступить.

Это было недолгое, но для евреев весьма опасное время. Я уже начал опасаться, что Распутин сделается антисемитом, и применял все мое умение и энергию, чтобы направить мысли Распутина по другому пути.

В известном смысле я должен был противопоставить мое влияние на Распутина царскому, так как царь посвящал Распутина во все свои заботы и постоянно жаловался на евреев. Вопрос касался того, вникнет ли Распутин в мои пояснения по еврейскому вопросу или поверит жалобам царя. Представители еврейства, которых я считал нужным посвятить в создавшееся грозное положение, были в большой тревоге и обязали меня принять все меры, чтобы предотвратить переход Распутина к антисемитам.

Для нас всех было ясно, что такой поворот имел бы ужасные последствия.

В то время Распутин находился уже на высоте своей славы и царь вполне находился под его влиянием. Николай в то время увлекался реакционными организациями и состоял сам членом Союза русского народа, устроившего еврейские погромы. Если бы Распутин присоединился к реакционным деятелям, которые очень об этом хлопотали, то для евреев настали бы последние времена. После долгого колебания он стал на нашу сторону. Его здоровый человеческий рассудок победил. Он сделался другом и благодетелем евреев и беспрекословно поддерживал мои стремления улучшить их положение.

Руководящие еврейские круги прониклись большим доверием ко мне и моей деятельности. Они поняли, что при моих связях и моих способностях я мог бы побудить правящие круги окончательно разрешить в положительном смысле еврейский вопрос. Я имел много конференций с представителями еврейства, и мне была дана задача стремиться к еврейскому равноправию и, если только возможно, добиться его. Это означало также, что мною намеченные пути и применяемые средства для достижения этой цели были признаны правильными.

Я принял к исполнению данное мне поручение, но революция в завершении его меня опередила. Во всяком случае я горжусь тем, что мне было суждено помочь евреям в столь тяжкое для них время и хоть отчасти облегчить их судьбу.

Самым горячим и энергичным защитником еврейства был Мозес Гинцбург, который в Порт-Артуре нажил большие деньги и в Петербурге занимался еврейским вопросом и еврейскими делами.

Как-то раз во время войны Гинцбург по телефону просил зайти к нему для переговоров по очень важному делу. Я нашел его очень озабоченным. Он пояснил мне, что положение еврейского вопроса вызывает очень сильные опасения и необходимо принять в срочном порядке меры, чтобы предотвратить нависшую опасность. Во всяком случае должны быть приняты меры к прекращению страшных преследований евреев в полосе военных действий.

(Продолжение следует)

ПИСЬМА ИЗ БРАТИСЛАВЫ



В мастерской Яна Кулиха. Ноябрь 1985 г. М. Анинушин, Я. Кулих, Ф. Луцки.

Через много лет в нашей стране возродилась добрая традиция — вновь возникло сообщество славянских культур. Только теперь оно называется Фонд славянской письменности и славянских культур. Его учредителями и попечителями выступили Союз писателей РСФСР, Научный совет АН СССР по проблемам русской культуры, Советский комитет славистов, Институт славяноведения и балканистики АН СССР, Музыкальное общество СССР, Всероссийский Фонд культуры, Министерство культуры РСФСР, Госкомиздат СССР, Русская православная церковь и целый ряд других организаций, выразивших на учредительной конференции в Москве (10—11 марта 1989 г.) свое желание содействовать успешной деятельности Фонда.

Редакция нашего журнала, со своей стороны, намерена всячески содействовать успешной деятельности вновь образовавшегося сообщества и для материалов, рассказывающих о славянских культурах, открывает новый раздел «Истоки».

Ян Кулих и Феро Луцки живут в Братиславе.

Ян Кулих — скульптор, его работы можно встретить на улицах словацкой столицы, его имя широко известно в Чехословакии и Европе, выставки его скульптур устраивались во многих городах мира, трижды он выставлялся в Советском Союзе — Ленинграде, Киеве, Москве. Среди его работ многие посвящены советским солдатам-освободителям, которых он мальчишкой встретил осенью 1944 года в Карпатах... Не меньший интерес у него вызывают и славянские деятели культуры, просвещения. В 1963 году он создал скульптурную композицию из сварного металла, посвященную создателям славянской азбуки—кириллицы, великим просветителям братьям Кириллу и Мефодию (см. 4-ю обложку). Он же был одним из организаторов огромного духовного праздника в городе Нитра, на который собрались почитатели и исследователи славянской литературы и письменности со всего мира по случаю 1100-летней годовщины со дня смерти Мефодия.

Феро Луцки — искусствовед, исследователь памятников славянской старины, подвижник и историк-фольклорист. Изучая жизнь и деятельность великих духовников древности Кирилла и Мефодия, он совершил паломничество во многие европейские страны и собрал интересные народные свидетельства о священных братьях.

Зрелая часть их жизни была тесно связана с Великой Моравией. Князь Ростислав обратился к византийскому императору Михаилу III, чтобы он прислал учителей, способных обучить народ славянскому языку. Князь хотел спасти Моравию от натиска немецкой культуры, хотел развивать свою — славянскую. Из Византии приехали со славянскими книгами Кирилл и Мефодий. Случилось это в 863 году.

Их деятельность была благотворной и распространилась на всех южных славян и двинулась через учеников в Киевскую Русь... Кирилл умер в Риме в феврале 869 года, а Мефодий вернулся в Моравию и продолжал свою просветительскую деятельность до апреля 885 года. Он умер среди славян, признанным и высокочтимым Учителем...

Две легенды о Мефодии и рассказ о книгах в Ватикане нам любезно предложил Феро Луцки из книги, готовящейся к изданию в Братиславе.



ЛЕГЕНДА О СМЕРТИ МЕФОДИЯ

В то время Мефодий уже был тяжело болен. И собрал он всех на Вербное воскресенье в храме и сотворил такую молитву:

Осени, Господи, милостию своею
царствие наше. И не отдай чужестранцам
того, что наше есть. И не отдай нас
во власть народов языческих.
Милостию...

Потом благословил он императора, короля, духовенство и весь народ. Простился со всеми и сказал, что через 3 дня умрет.

И было так.

Умер он на утренней заре лета 6 393 от сотворения мира (885 г.) месяца апреля шестого дня.

На похоронах священники пели по-гречески, по-латински и вместе с народом, которого собралось великое множество, и по-славянски.

Потом положили его в могилу с левой стороны в стене за алтарем в великом храме Моравском.

И шли люди к его могиле. Здесь у могилы на языке своем пели, сюда несли просьбы свои, здесь жаловались на беды свои. И ширилась молва, что у могилы Мефодия просящим милости даруются. Хворые выздоравливают, у опечаленных сердца радостью наполняются.

В то время послушался король Сватоплук злых советов чужестранцев, которых в народе из-за незнания языка немцами называли, а также их повелителя епископа Вихинга. И приказал он всех славянских священнослужителей по всей стране схватить и в городе Нитре в тюрьму бросить. Здесь он отдал их всех во власть епископа Вихинга. Воины Вихинга сняли с них ризы, издевались над ними, а когда наступила суровая зима, погнали их нагими из Нитры за Дунай.

Так король Сватоплук изгнал из своей страны всех, кто на языке славянском учил народ правде и законности, кто на этом языке писал и жил по заветам Мефодия.

С тех пор и в храме, где был похоронен Мефодий, вершили службу лишь чужеземные священнослужители. Сердца их наполнились злобой против людей, которые приходили к его могиле и все время лишь на своем языке просьбы и беды свои выражали и по всей стране за святого его почитали.

По причине такого отношения народа к Мефодию боялись чужеземные священнослужители принизить значение его могилы либо наложить запрет на то, чтобы люди приходили сюда. Потому решили они изъять Мефодия из могилы и при этом не нарушить римского канона.

Глубокой ночью, как воры, полные страха и злобы, вынули они тело Мефодия из могилы его в храме и ночами несли его до тех пор, пока не вынесли за пределы страны. Потом шли с ним дальше против течения реки Дунай аж до города Ратисбона (Регенсбурга-Резно). Здесь, в монастыре, передали его в руки монахов. Те подготовили для тела Мефодия место под храмом, где хоронили аббатов этого монастыря, и здесь, рядом с ними, предали его тело вечному покою.

И при этом крест славянский на груди Мефодия передвинулся ближе к сердцу, да так и остался лежать.

Узнала обо всем этом жена священнослужителя, владыки, которая с глубоким почтением относилась к Мефодию. Когда пришел ее последний час, пожелала она, чтобы положили ее на вечный покой в ту могилу, где раньше почивал сам Мефодий. Волю ее исполнили.

Когда славян лишили таким образом всего, что было мило их сердцам, когда они не смели уже на языке своем ни просьбу выразить, ни петь, чужой же язык они не понимали, покинули они храмы, старались не бывать в них. Они ходили в другие места, оставшиеся для них памятными и священными после предков, здесь они исполняли свои обычаи старинные в соответствии с волею своею.

ЛЕГЕНДА О СЛАВЯНСКИХ КНИГАХ И МЕФОДИИ

Мефодий видел, что люди епископа Вихинга ходят по стране, славянские книги ищут, а когда находят, бросают их в огонь, либо письмо водой смывают и таким образом лишают слова их жизни.

Все это его очень мучило. Непрестанно напоминал он о том, что письменность и язык славян сам папа римский Адриан, наряду с тремя священными языками света, то есть еврейским, греческим и латинским, провозгласил четвертым, равным им, и дал свое согласие на то, чтобы на этом языке восхваляли, службу служили, учили, приказывали и общались. Папа римский Адриан славянские книги на алтаре благословил, а некоторые из них даже повелел оставить при своем престоле. В те дни в римских храмах звучали службы и пение на языке славянском, что до той поры никакому другому народу света не позволено было.

Но король Сватоплук, после того как священников славянских с великим унижением за границы страны, и даже за реку Дунай Вихингу изгнать позволил, уже не слушал этих речей Мефодия.

Видя в том великую опасность для науки, народа и страны, повелел Мефодий, чтобы все книги славянские вновь тщательно переписали. Когда сие было сделано, прибавил он к этим книгам и свою собственную. В ней он описал все события со времен избрания и прихода обоих братьев к князю Растиславу в Моравию, описал также путешествия в Рим, трехлетнее заключение в тюрьму у короля немецкого, другие события упомянул, а себя там с Иовом сравнил.

Потом повелел все книги в своем храме на алтарь положить и, подняв лик и руки к небесам, так сказал:

Господи, сохрани навеки эти хрупкие свидетельства
о Твоей силе, мудрости и славе.
И те, которые об истории страны
и житии слуг Твоих покорных
они на языке славян написали.
Сделай так, чтобы не нанесли вреда им
ни огонь, ни вода, ни рука злая —
ничто, что могло бы погубить скрытое
в них живое слово, милостию...

Потом позвал он некоторых близких ему людей, которые его ранее в Рим сопровождали, и приказал им, чтобы все эти книги и другие редкости отнесли в вечный город и там обратились бы с великой просьбой к папе римскому принять их под охрану святого Петра. Желая послам этим облегчить их путь и дело, полные разных ловушек и опасностей, дал им знаки своих званий. Потому как сам папа римский провозгласил Мефодия духовным князем и своим заместителем по всей Моравии.

Когда прошло время, и послы вернулись из Рима, поведали они, что все сделали так, как повелел Мефодий.

Радостью тогда наполнилось его сердце и с великим вдохновением вершил он благодарственную службу. Взял в руки свою книгу, прочитал из нее благую весть и в восторженности духа так поведал:

Господи, пусть это письмо и речь славян
несут на своих крыльях дух твой, дух мира и покоя.
Либо наполнят они поверхность земную
и коснутся всего мира...
Милостию...

И удивились все тому, не поняв того пророчества.

После событий этих и в последние дни своей жизни не переставал Мефодий благодарствие выражать за то, что речь и книги славян под охрану святого Петра приняли и тем их на будущие века для всех поколений сохранили.

ПОЕЗДКА В ВАТИКАН

В июле 1979 г. ректор Института художеств в Братиславе, скульптор, профессор Ян Кулих послал меня и Йозефа Порубовича в качестве своих представителей в чехословацкое посольство в Риме, чтобы нам была оказана помощь в поиске древнейших книг нашей культуры и истории для создания «Памятника».

В то воскресенье чехословацкий посол в Риме Коуцки умер от инфаркта, и в понедельник в связи с этим возникли сложности со встречей в посольстве.

Тем не менее нас, как послаицев ректора, принял атташе по вопросам культуры д-р Жидек для трехминутной аудиенции.

После того как мы вручили ему письма и некоторые памятные предметы, а также объяснили цель приезда, он, несмотря на недостаток времени, рассказал следующее:

— Был у нас кардинал Касаролли. Он упомянул о том, что в святейшем тайном архиве Ватикана хранится множество памятников, относящихся к древнейшему периоду появления письменности, культуры и государства времен Великой Моравии. Однако у них нет специалистов, которые бы все это были способны изучить, классифицировать и опубликовать. Он предложил воспользоваться этой возможностью специалистам из Чехословакии. Напомнил, что болгарская Академия наук имеет в Ватикане четырех своих членов, которые уже много лет работают в архиве, занимаясь обработкой источников, касающихся древнейшего периода болгарской истории. Он добавил, что письмо об этом послал в Прагу.

Наша беседа с атташе продлилась почти три часа. Мы узнали, что в ватиканской библиотеке имеется выставка грамот, карт и рисунков, относящихся к древнейшей истории болгарского государства, причем болгарская Академия наук является ее совместным организатором.

Мы испытывали усталость, но в первую очередь нас взволновало известие о том, что легенда о книгах славянских и Мефодии оказывается истинной. Что приблизился тот день, когда из глубин прошлого тысячелетия на сцену европейской и всемирной истории письменности выйдут первоначальное письмо, язык и другие свидетельства ума и рук наших предков, великоморавских славян. Что засверкают письменность и речь, из которых выросла культура, распространяющаяся сегодня от Тихого океана до Атлантического. Опоясывающая земной шар. Посылающая послаицев на космические планеты. Та, которая 12 сентября 1959 г. первой доставила написанное азбукой Кирилла и Мефодия слово «мир» с Земли на планету Луна...

На основе источников древнейших и познаний новейших во славу предков своих и земли нашей записал легенды и перевел со словацкого на русский язык **ФЕРО ЛУЦКИ.**

C

ROCK

Ведут рубрику Павел БОНДАРОВСКИЙ, Александр НАЛОЕВ

Продолжение. Начало в №№ 6—11/1988 и №№ 1—3, 5/1989.

The Cadets
Кэдетс

Американский вокальный ансамбль. 1954—1956.

Начальный состав: Aaron Collins, George Felton Hollis, Ted Taylor, Will «Dub» Jones.

Один из популярнейших американских ансамблей, исполнявших рок-н-ролл. Основан в 1954 году в Лос-Анджелесе. Дебютный сингл, «Don't Be Angry» (фирма «Modern Records»), имел средний успех, зато второй, «Why Don't You Write Me» (фирма «RPM Records», 1955), сразу попал в национальный хит-парад. Эту композицию группа записывала с участием певца Ллоида МакГроу (Lloyd McGraw) и в данном случае изменила свое название на «The Jacks». 23 июня 1956-го вышел лучший сингл коллектива, «Stranded In The Jungle». Этой песней ансамбль был позднее представлен на диске-антологии классики рок-н-ролла 50-х «The Many Sides Of Rock'n'Roll» (фирма «United Artists»). Здесь же в составе «Кэдетс» впервые выступил Willie Davis, заменивший Джорджа Холлиса. Вскоре коллектив распался. В 1958 году Уилл «Даб» Джонс стал членом ансамбля «The Coasters», а Тед Тэйлор начал сольную карьеру. Джордж Холлис и Аарон Коллинз в 1959-м основали группу «The Flares» (хит 1961 года — «Foot Stomping — Part I», фирма «Felsted Records»). Коллинз также сотрудничал с дуэтом «The Teen Queens», в котором выступали его сестры Betty и Rosie; в соавторстве с Мэксуэллом Дэвисом (Maxwell Davis) он сочинил для них песню «Eddie My Love», в январе 1956-го вошедшую в национальный хит-парад.

The Cadillacs
Кэдиллэкс

Американский вокальный ансамбль. 1953—1960.

Начальный состав: Earl «Speedo» Carroll (2.XI.1937), Robert Phillips (1935), Laverne Drake (1938), Gus Willingham (1937), «Papa» John Clark (1937).

Один из пионеров рок-н-ролла, этот коллектив возник в нью-йоркском Гарлеме в 1953 году как квартет «The Carnations» (Кэролл, Филлипс, Дрэйк и Уиллингэм) и в течение первых месяцев выступал в небольших местных клубах. В 1954-м менеджером ансамбля стала писательница, композитор и аранжировщица Esther Navarro, предложившая изменить название группы на «Кэдиллэкс». Тогда же к квартету примкнул еще один вокалист, Джон Кларк. В нью-йоркской студии «Beltone» ансамбль сделал демонстрационные записи четырех композиций: «I Wonder Why», «Gloria», «Wishing Well» и «I Want To Know About You» (аккомпанировала инструментальная группа «Rene Hall's Band»). В июне 1954-го сингл «Gloria» вышел на независимой фирме «Josie Records» (владелец — менеджер фирмы «Jubilee Records» Jerry Blaine). Уиллингэма и Кларка вскоре сменили Charles Brooks и Earl Wade. В обновленном составе «Кэдиллэкс» записали песню Эстер Наварро «Speedo», посвященную Эрлу Кэроллу, и, выпущенная на сингле, она 23 ноября 1955 года попала в национальный хит-парад США. (Впоследствии на основе этой композиции певец и гитарист Пол Саймон — Paul Simon — создал блестящую рок-балладу «Was A Sunny Day»). В 1958-м Кэролл покинул группу (через два года вошел в состав ансамбля «The Coasters»), а в 1959-м «Кэдиллэкс», наряду с такими звездами рок-н-ролла, как Chuck Berry, Eddie Cochran, снялись в музыкальном фильме Элана Фрида (Alan Freed) «Go, Johnny, Go», премьера которого состоялась 22 апреля. Однако, лишившись лидера, ансамбль в 1960 году распался. Последними имевшими успех синглами «Кэдиллэкс» были «Jay Walker» (январь 1959) и «Please Mr. Johnson» (март 1959).

J. J. Cale
Джей Джей Кейл

Американский гитарист, пианист, композитор, певец. 5.XII.1938, Tulsa, Oklahoma.

Вместе с Леоном Расселлом (Leon Russell) начинал музыкальную карьеру в небольших клубах разных городов штата Оклахома, затем основал группу «The Valentines», исполнявшую рокабилли. Группа вскоре распалась, и Кейл, отправившись в Нэшвилл, решил добиться признания как кантри-гитарист, однако успеха не имел. В 1965 году сочинил и записал песню «After Midnight», но и она не принесла ему удачи (в 1970-м композиция завоевала огромную популярность в интерпретации Эрика Клэптона — Eric Clapton). Кейл вернулся в родной город, где в перерывах между выступлениями в клубах делал демонстрационные записи. В конце 1967 года знакомый музыкант Carl Radle переправил несколько пленок в Нэшвилл продюсеру Оди Эшуорту (Audie Ashworth), которому песни настолько понравились, что он решил стать менеджером Кейла и устроил ему контракт с фирмой грампластинок «Shelter Records» (филиал фирмы «A&M Records»). Дебютный альбом музыканта, «Naturally», вышел в 1972 году. С этого времени Кейл регулярно, в среднем один в два года, выпускает новые диски. Концертным выступлениям он предпочитает работу в студии. Участвовал в записи пластинок Леона Расселла, Арта Гарфанкела (Art Garfunkel), Боба Сигера (Bob Seger). Отличительные особенности его исполнительской манеры — мягкий, «камерный» голос на фоне бурных и сложных гитарных пассажей, в которых ощущается влияние творчества Би Би Кинга (B. B. King). Сегодня Джей Джей Кейл и сам является одним из лучших блюзовых музыкантов

Дискография: Naturally (1972, Shelter Rec.); Really (1973, A&M Rec.); Okie (1974, A&M); Troubadour (1976, A&M); Shelter / Five (1979, A&M); Shades (1981, A&M); Grasshopper (1982, A&M); La Femme De Mon Pote (1984, A&M).

John Cale
Джон Кейл

Английский мультиинструменталист, композитор, певец, аранжировщик, продюсер.
3.XII.1940. Garmant, Wales.

Уже в 8 лет Джон выступал по радио с фортепьянными пьесами собственного сочинения. Получив классическое музыкальное образование, переехал в США, где совершенствовал свое мастерство как пианист и скрипач. В середине 60-х годов увлекся рок-авангардизмом, особенно популярным в среде нью-йоркских музыкантов, сгруппировавшихся вокруг художника Энди Уорхола (Andy Warhol, крупнейший представитель американского поп-арта). В 1965 году Джон вошел в состав группы «The Velvet Underground», привнеся в ее музыку элементы минималистических концепций (по аналогии с minimal art — «минимальным искусством» в живописи, скульптуре), впервые возникших в произведениях Ла Монте Янга (La Monte Young) и Эрла Брауна (Earle Brown), использовавших предельно простые шумовые эффекты и монотонные риффы как мелодическую основу для приведения слушателей в определенное эмоциональное состояние. Аналогичные приемы Джон Кейл включил в композиции «European Son (To Delmore Schwartz)» и

«Sister Ray», вошедшие, соответственно, в дебютный (1967) и второй (1968) альбомы «Велвет Андерграунд». Вскоре он покинул группу и начал сольную карьеру, частью которой стала продюсерская деятельность. Например, Джон Кейл руководил записью дисков представителей раннего панк-рока, таких как Iggy Pop и его группа «The Stooges» (альбом «The Stooges», 1969), бывшая солистка «Велвет Андерграунд» Nico (альбом «The Marble Index», 1969, и ряд других). В создании первого самостоятельного альбома Кейла, «Vintage Violence» (1970), участвовал нью-йоркский ансамбль «Grinderswitch», второго («Church Of Anthrax», 1971) — звезда авангардистского рока Terry Riley, третьего («Academy In Peril», 1972) — филармонический оркестр «The Royal Philharmonic Orchestra», четвертого («Paris 1919», 1973) — музыканты группы «Little Feat». Стилистику этих пластинок журнал «Melody Maker» определил как «синтез вечной прелести классики, современной рок-музыки и музыки будущего». С годами Джон Кейл сотворил свой собственный, оригинальный и неповторимый музыкальный космос. Когда в 1974 году, заключив контракт с фирмой «Island Records», он вернулся к концепциям минимализма, его произведения стали организованнее, но не беднее. 1 июня 1974-го Кейл принял участие в совместном концерте с Нико, Кевином Эйерсом (Kevin Ayers) и Брайаном Эно (Brian Eno), состоявшемся в лондонском зале «Rainbow Theatre» и составившем материал альбома «June 1, 1974», где Джон демонстрирует виртуозную технику игры на скрипке и фортепьяно и, в частности, предлагает необычную версию знаменитой хит-композиции из репертуара Элвиса Пресли (Elvis Presley) «Heartbreak Hotel». В том же году он выпускает диск «Fear», записанный вместе с Брайаном Эно и Филом Манзанерой (Phil Manzanera, гитара, «Roxy Music»). Наибольшую популярность завоевали песни «Fear Is A Man's Best Friend», «Gun» и «Ship Of Fools» с этой пластинки. Импульсивность ритмики, жесткость и агрессивность звучания, характерные для панк-стиля, значительно расширили аудиторию Кейла. В работе над следующим альбомом, кроме Эно и Манзанеры, участвовал гитарист Chris Spedding (экс-«Battered Ornaments», «Sharks»). В 1975-м без Манзанеры, но с ударником и певцом Филом Коллинзом (Phil Collins), те же музыканты помогли Джону Кейлу записать диск «Helen Of Troy», наиболее удачными композициями которого стали «Pablo Picasso» (автор — Jonathan Richman, основатель группы «The Modern Lovers») и «Leaving It All Up To You». Однако в целом тексты песен этой пластинки отличались мрачными, декадентскими настроениями. В том же году Кейл продюсировал дебютный альбом певицы Patti Smith «Horses». В его же собственном творчестве наступил период спада (за три года вышли только мини-альбом «Animal Justice», 1977, и сборник лучших песен трех первых дисков «Guts», 1977). Лишь в июне 1979-го он записал новый (концертный) альбом «Sabotage — Live», где исполнил только новые композиции. В 1981-м он впервые отошел от установленного самим же собой правила и для работы над диском «Honi Soit» пригласил продюсера со стороны (Mike Thorne), да и в качестве сешн-музыкантов на этот раз выступили не суперзвезды, а совсем молодые студийные инструменталисты. Альбом «Music For A New Society» (1982) выделяется «эстрадностью» звучания: здесь Джон Кейл (снова впервые) активно использовал в аранжировках поп-шлягерные элементы, особенно подчеркнув партии клавишных. Однако большого коммерческого успеха, на который явно была рассчитана пластинка, добиться не удалось: угрюмые, исполненные тоски и отчаяния тексты песен скорее отталкивали, чем привлекали слушателей. О духовном кризисе музыканта свидетельствовал и диск «Caribbean Sunset» (1984). Чтобы выйти из тупика, Кейл создает экспериментальный альбом, являющийся одновременно и концертным и студийным, и новой работой и сборником старых. Пластинка («John Cale Comes Alive») открывается и завершается студийными записями, основу же составляют сценические варианты лучших песен прежних альбомов. Эксперимент имеет успех: критика отмечает даже, что концертное исполнение удается музыканту лучше студийного. Во многом новаторским стал и следующий диск Кейла, «Artificial Intelligence» (1985). В его записи участвовало инструментальное трио в составе: James Young, Graham Dowdall и David Young. Авторство текстов на этот раз принадлежало не только Джону, но и Рэтсо Слоумэну (Ratso Sloman, поэт, журналист, продолжатель поэтических традиций Боба Дилана — Bob Dylan). По склонности к постоянному самообновлению и способности к радикальным стилистическим решениям Джона Кейла нередко сравнивают с Фрэнком Заппой (Frank Zappa), подчеркивая при этом, что по уровню исполнительского мастерства и оригинальности музыкального мышления его трудно с кем-либо сравнивать.

Дискография: *с группой «Велвет Андерграунд»* — The Velvet Underground and Nico (1967, Verve Rec.); White Light/White Heat (1968, Verve);

с Кевином Эйерсом, Брайаном Эно и Нико — June 1, 1974 (1974, Island Rec., live);

Джон Кейл, соло — Vintage Violence (1970, Columbia Rec.); Church Of Anthrax (1971, Columbia); Academy In Peril (1972, Warner Brothers Rec.); Paris 1919 (1973, Warner Bros.); Fear (1974, Island Rec.); Slow Dazzle (1975, Island Rec.); Helen Of Troy (1975, Island Rec.); Animal Justice (1977, Illegal Rec., EP); Guts (1977, Island, hits); Sabotage — Live (1979, Spy Rec., live); Honi Soit (1981, A&M Rec.); Music For A New Society (1982, Island/Passport Rec.); Caribbean Sunset (1984, Island); John Cale Comes Alive (1984, Island, live/studio); Artificial Intelligence (1985, Beggars Banquet Rec. PVC Rec.).

Randy California
Рэнди Кэлифорниа

Американский гитарист, певец, композитор.
20.II.1951.

Профессиональную карьеру начинал в 1965 году в лос-анджелесской группе «The Red Roosters», принявшей в 1967-м название «Spirit». Коллектив исполнял жесткий вариант джаз-рока. В 1972 году Рэнди вместе со своим отчимом Эдом Кэссиди (Ed Cassidy, 4.V.1931), также игравшим в «Спирит» (ударные), основал новый коллектив — «Kapt. Kopter and The Fabulous Twirlybirds». Кэссиди участвовал только в концертах ансамбля, поэтому официальный его состав — Рэнди Кэлифорниа (гитара, вокал), Charlie Bundy (бас-гитара, вокал) и Tim McGovern (ударные, вокал). Как лидер группы Рэнди намеревался построить ее деятельность наподобие супертрио «Cream», но в духе экспериментального джаз-рока. Ансамбль, однако, выпустил только один альбом («Kapt. Kopter and The Fabulous Twirlybirds», 1973, фирма «Epic Records») и распался. Тим МакГоверн в 1974-м стал участником группы «Neil Merryweather's Space Rangers» (стиль хард-энд-хэви), а Рэнди и Эд Кэссиди вместе с бас-гитаристом Лэрри Найтом (Larry Knight, 9.IV.1949) образовали новое трио, «CCK», явившееся в августе 1976 года ядром воссоединившейся группы «Спирит»... Сольная карьера не принесла Рэнди большого успеха, но это не умаляет его достоинств как одного из лучших гитаристов стиля хэви-метал, разработавшего столь распространенную теперь манеру гитарной импровизации, близкую к джазовому свингу.

The Call
Колл

Американский ансамбль. Основан в 1982 году.

Постоянного состава у этой студийной группы нет. Основал ее в Калифорнии певец, музыкант, поэт и продюсер Michael Been, в одиночку записывающий методом наложения почти все инструментальные и вокальные партии своих композиций и лишь в отдельных случаях приглашающий в помощь известных рок-исполнителей. Например, в работе над первыми тремя альбомами участвовал пианист Garth Hudson (экс-«The Band»), над четвертым — Robbie Robertson (гитара, клавишные, экс-«The Band»), вокалисты Jim Kerr и Peter Gabriel (экс-«Genesis»). В произведениях Майкла Бина гармонично сочетаются элементы поп-рока и гитарные пассажи в духе английской группы «Dire Straits». Первые диски вызвали интерес только у специалистов, но затем пластинки нового ансамбля стали пользоваться успехом и у широкой публики. Большую популярность завоевали песни «Scene Beyond Dreams», «The Burden» и «Heavy Hand» с диска 1984 года; «Everywhere I Go» с альбома «Reconciled» (1986), во многом обязанного успехом блестящему вокалу Джима Керра и Питера Гэбриэла.

Дискография: The Call (1982, Mercury Rec.); Modern Romans (1983, Mercury); Scene Beyond Dreams (1984, Mercury); Reconciled (1986, Elektra Rec).

Camel / Peter Bardens
Кэмел / Питер Барденс

Английский ансамбль. Основан в 1972 году.

Начальный состав: Peter Bardens — клавишные, вокал, Andrew Latimer — гитара, флейта, вокал, Doug Ferguson — бас-гитара, Andy Ward — ударные.

Питер Барденс начинал профессиональную карьеру в 1964 году в группе «The Cheynes», затем несколько месяцев играл в ансамбле «Them», после чего в середине 1965-го образовал собственный коллектив под названием «The Peter B's» (первоначально — «Peter B's Looners»). В состав группы входили ударник Mick Fleetwood, гитарист Peter Green и бас-гитарист Dave Ambrose. Выпустив самостоятельно только один сингл («If You Wanna Be Happy», фирма «Columbia Records»), музыканты в конце 1966 года сменили название на «Shotgun Express» и стали аккомпанировать певцам Роду Стюарту (Rod Stewart) и Берилу Марсдену (Beryl Marsden). Вскоре, однако, коллектив распался. В 1967—1972 годах Питер Барденс играл в группах «Love Affair», «The Mike Cotton Sound», «Village», «On», выпустил два сольных альбома — «The Answer» (1970) и «Write My Name In The Dust» (1971). В 1972-м он основал квартет «Кэмел», пригласив в него музыкантов, до этого выступавших как трио «The Strange Brew». Стилистическим кредо ансамбля стал сложный синтез джаз-рока и симфо-рока, наиболее удачно осуществленный в композициях «White Rider» и «Lady Fantasy» со второго альбома, «Mirage» (1974). В записи третьего диска, «The Snow Goose» (1975), представляющего собой инструментальную рок-сюиту, участвовал Лондонский симфонический оркестр (London Symphony Orchestra). В 1976 году ушедшего Дага Фергюсона сменил бас-гитарист и певец Richard Sinclair (экс-«Caravan»). В работе над диском «Rain Dance» (1977) с ансамблем сотрудничал Mel Collins (экс-«King Crimson», «Snape»). В 1978-м Питер Барденс вышел из состава группы и с тех пор лишь консультировал ее участников. В коллективе его заменили пианисты David Sinclair (экс-«Caravan») и Jan Schelhaas. В 1982-м, в результате новых изменений состава, к ансамблю примкнули вокалист Chris Rainbow (экс-«The Alan Parsons Project») и пианист Ton Scherpenzeel (из голландской группы «Kayak»). При всем этом стиль композиций «Кэмел» оставался в целом таким, каким был разработан Питером Барденсом в самом начале.

Последний состав: Лэтимер, Рэйнбоу, Шерпензеель, Colin Bass — бас-гитара, Paul Burgess — ударные.

Дискография: Camel (1973); Mirage (1974); The Snow Goose (1975); Moonmadness (1976); Rain Dance (1977); A Live Record (1978, 2LP, live); Breathless (1978); I Can See Your House From Here (1979); Nude (1981); Chameleon — The Best Of Camel (1981, hits); The Single Factor (1982); Stationary Traveller (1982); Pressure Points — Live In Concert (1984, live);

Питер Барденс, соло — The Answer (1970, Transatlantic Rec.); Write My Name In The Dust (1971, Transatlantic).

Cameo
Кэмио

Американский ансамбль. Основан в 1976 году.

Состав: Larry Blackmon, Tomi Jenkins, Nathan Leftenant.

Все участники трио — музыканты-мультиинструменталисты, а Лэрри Блэкмон является и основным вокалистом, композитором, аранжировщиком и продюсером записей группы. Как автору и исполнителю успех ему принесла песня «Cardiac Arrest» (1976). В том же году он основал ансамбль «Кэмио», в который первоначально входили 11 музыкантов. Коллектив заключил контракт с фирмой «Club Records», но далеко не сразу сумел привлечь внимание к своим синглам и дискам. Лишь в августе 1979-го композиция «I Just Want To Be» заняла третье место в национальном хит-параде США по категории соул. 27 октября в таблицу популярности попал еще один сингл группы, «Sparkle», через двадцать недель поднявшийся до десятого места. С этого времени группа неизменно фигурирует в числе лучших коллективов стиля электро-фанк-соул. В 1981 году Блэкмон сократил количество участников ансамбля до пяти человек; таким составом был записан первый действительно удачный альбом, «Knights Of The Sound Table», 20 июня вошедший в хит-парад и вскоре занявший в нем второе место по категории соул. Высоких позиций достигли и две песни с этой пластинки, выпущенные на синглах — «I Like It» (№ 25) и «Freaky Dancin'» (№ 3). В Европе ансамбль завоевал популярность благодаря одноименным синглу и альбому «She's Strange» (1984). К этому времени группа становится вокально-инструментальным трио и обосновывается в Атланте, штат Джорджия, где экспериментирует в рамках собственного самобытного стиля, синтезируя его с жестким фанк-роком при балладно-напевном звучании вокала, близком к традициям госпелз. В результате появились чрезвычайно оригинальные синглы «Attack Me With Your Love», «Single Life» (оба — 1985) и выдержанный в том же экспериментальном ключе альбом «Word Up» (1986). Заглавная композиция диска попала в американский хит-парад, а в начале 1987 года трио дебютировало с ней в престижном британском телешоу «BBC-TV Top Of The Pops», после чего музыканты совершили длительную гастрольную поездку по городам Англии. Значительного успеха добились и еще две композиции с того же диска — «Don't Be Lonely» (поп-баллада) и «She's Mine» (стиль рэп), — а сам альбом в апреле 1987-го стал в США «платиновым». В дальнейшем группа сочетала в своем творчестве элементы рок-баллады, стилей джаз-рок и хард-рок.

Диски: Knights Of The Sound Table (1981, Club/Phonogram Rec.); She's Strange (1984, Club/Phonogram); Word Up (1986, PolyGram Rec.).

Glen Campbell
Глен Кэмпбелл

Американский гитарист, певец.
22.IV.1938, Delight, Arkansas.

Играть на гитаре начал в 4 года, в 6 лет уже выступал в радиопрограммах родного города Дилайт, штат Арканзас. Увлекался творчеством певцов Нэта Коула (Nat «King» Cole), Фрэнка Синатры (Frank Sinatra), гитаристов Джанго Рейнхардта (Django Reinhardt), Тэя Фарлоу (Tal Farlow). Подростком вошел в состав ансамбля «Dick Bill's Band», которым руководил его дядя, а в 1958 году примкнул к группе «The Champs», но вскоре основал собственную — «Glen Campbell and The Western Wranglers». В 1960-м переехал в Лос-Анджелес, где быстро приобрел известность как сешн-гитарист. В студиях грамзаписи и на концертах аккомпанировал таким звездам, как Bobby Darin, Johnny Cash, Dean Martin, Merle Haggard, сотрудничал и с кумирами своего детства — Нэтом Коулом и Фрэнком Синатрой. В среднем в этот период он участвовал в 600 концертах ежегодно, находя время и для сольной работы. Первый самостоятельный сингл, «Turn Around, Look At Me» (автор — Jerry Capehart, более

известный благодаря другой песне, ««Summertime Blues», записанной Эдди Кокрэном — Eddie Cochran), он выпустил в октябре 1961-го на фирме «Crest Records», но в 1962-м заключил контракт с фирмой «Capitol Records», с которой сотрудничал на протяжении 19 лет. В августе вышел его сингл «Too Late To Worry, Too Blue To Cry», попавший в национальный хит-парад США. В 1965 году Глен Кэмпбелл на полгода стал участником группы «The Beach Boys», а в сентябре вновь привлек к себе внимание как исполнитель-солист, выпустив сингл с собственной интерпретацией знаменитой композиции Донована (Donovan) «The Universal Soldier». Следующие записи — «Gentle On My Mind» (июль 1967, автор — John Hartford) и «By The Time I Get To Phoenix» (октябрь 1967, автор — Jim Webb) — имели огромный успех и принесли Кэмпбеллу статус звезды. В ноябре 1968-го его сингл «Wichita Lineman» (еще одна композиция Джима Уэбба) попал в десятку лучших национального хит-парада и 18 ноября стал «золотым», а 21 декабря одноименный альбом возглавил американскую таблицу популярности. 29 января 1969 года певец и гитарист дебютировал в персональном еженедельном телешоу (корпорация «CBS-TV»), регулярно выходившем в эфир в течение трех лет. В этот период Глен Кэмпбелл заявляет о себе и как талантливый киноактер: вместе с Джоном Уэйном (John Wayne) он снимается в фильме «True Grit» («Настоящая выдержка», 1969), исполняет главную роль в картине «Norwood» (1970). На музыкальном поприще его тоже не покидает удача: крупными тиражами разошлись синглы, записанные совместно с такими звездами, как Bobbie Gentry, Anne Murray, Rita Coolidge, Tanya Tucker... 6 сентября 1975 года сольный сингл Глена Кэмпбелла «Rhinestone Cowboy» (автор — Larry Weiss) возглавил национальный хит-парад, аналогичное признание получил 30 апреля 1977-го сингл «Southern Nights» (автор — Allen Toussaint). В 80-е годы Кэмпбелл больше времени уделял концертной деятельности, выступал в престижных ночных клубах Лос-Анджелеса. Одна из его гитар является экспонатом нэшвиллского «Зала Славы музыки кантри» («The Country Music Hall of Fame»), позолоченная звезда с его именем украшает «Аллею Славы» («The Walk of Fame») в Голливуде. Лучше всего творчество Глена Кэмпбелла представлено на диске «20 Golden Greats» (1976), являющемся сборником хит-композиций разных лет и в год выхода (27 ноября) на четыре недели возглавившем в Великобритании таблицу популярности.

Диски: Wichita Lineman (1968, Capitol Rec.); 20 Golden Greats (1976, Capitol, 2LP, hits).

Can
Кэн

Западногерманский ансамбль. 1968—1978.

Начальный состав: Irmin Schmidt — клавишные, вокал, скрипка, Michael Karoli — гитара, скрипка, вокал, Holger Czukay — бас-гитара, вокал, Jaki Liebezeit — ударные, флейта, Malcolm Mooney — вокал.

Ансамбль был образован в Кёльне в период широкого распространения психоделической музыки. Первым в Западной Европе этот коллектив синтезировал элементы современного джаза, музыкального авангардизма, концепции американских панк-рока и андерграунда, а также фольклорные мелодические традиции стран Ближнего Востока и африканскую полиритмику. Новаторским было и использование в студийной работе метода так называемого электронного коллажа для достижения особо сложной полифонии. Произведения группы ознаменовали начало нового этапа в развитии арт-рока, заметно повлияли на творчество таких музыкантов, как Jan Wobble (экс-«Public Image Ltd.»), Pete Shelley (экс-«The Buzzcocks»), John Lydon (он же — Johnny Rotten, экс-«The Sex Pistols», «Public Image Ltd.»), группы «Eurythmics». Дебютный альбом квинтета, «Monster Movie» (1969), в силу необычной сложности материала не имел массового успеха. В начале 1970 года Малколм Муни из-за болезни расстался с ансамблем, уступив место певцу Damo Suzuki. Следующий диск, «Soundtracks», являлся сборником фрагментов музыки для кинофильмов, в частности — для картины «Deep End». Пластинка, однако, имеет и самостоятельную ценность как образец оригинальной трактовки психоделического рока. Этапными в творчестве квинтета стали альбомы «Tago Mago» (1971) и «Ege Bamyasi» (1972): первый выдержан в духе хэви-психоделик-рока (heavy psychedelic rock), второй — раннего неопанк-рока. На обоих дисках активно присутствует электронный коллаж, причем на втором он дополнен сложной реверберацией (позднее этот прием повторила группа «Public Image Ltd.» на альбоме «Metal Box», 1979). В 1973-м ушел Дамо Сузуки. Диски «Future Days» (1973) и «Soon Over Babaluma» (1974) стилистически близки к предыдущим, но композиции здесь аранжированы в традициях минимализма. Альбом «Landed» (1975) вновь демонстрирует изобретательную оркестровку (в записи участвовал саксофонист Olaf Kubler). В 1976 году в состав коллектива возвращается Малколм Муни. С ним ансамбль выпускает альбомы «Unlimited Edition» (1976), «Flow Motion» — оригинальные фантазии на темы ближневосточного фольклора. Ритмический диапазон композиций чрезвычайно широк, как и стилистика аранжировок: на второй из этих пластинок помещена песня «I Want More» в стиле диско-фьюжн, имевшая после выхода на сингле крупный коммерческий успех. В 1977-м к группе присоединились новые музыканты — Rosco Gee (бас-гитара, вокал) и Reebop Kwaku Baah (ударные, вокал, синтезатор). С их приходом в репертуаре ансамбля появились композиции с характерными элементами ямайского стиля реггей, лишь позднее зазвучавшего на пластинках групп «The Clash», «The Police» и других, традиционно считающихся пионерами реггей в Европе. В 1978 году ансамбль «Кэн» распался. Хольгер Зукей начал сольную карьеру, но большого успеха не добился. Ирмин Шмидт выпустил в 1982 году альбом «Canaxis Filmmusik, vol. 2», составленный из фрагментов фонограмм к кинофильмам, записанных им еще в 1969-м.

Дискография: Monster Movie (1969, United Artists Rec.); Soundtracks (1970, UA); Tago Mago (1971, UA); Ege Bamyasi (1972, UA); Future Days (1973, UA); Limited Edition (1974, UA); Soon Over Babaluma (1974, UA); Landed (1975, Virgin Rec.); Unlimited Edition (1976, Caroline Rec., 2LP); Flow Motion (1976, Virgin); Opener (1976, Sunset Rec., hits 1968—1973); Saw Delight (1977, Virgin/Harvest Rec.); Out Of Reach (1978, Lightning/Peters International); Cannibalism (1978, UA, hits 1968—1973); Can (1979, Laser Rec.); Incandescence (1981, Virgin, hits); Delay 1968 (1982, Spoon Rec.); Prehistoric Future — June, 1968, (1984, Tago Mago Rec., tape only);

Хольгер Зукей, соло — Movies (1980, EMI Rec.); On The Way To The Peak Of Normal (1982, EMI, with Jah Wobble); Der Osten Ist Rot (1984, Virgin, with Jaki Liebezeit & Conny Plank); is (1982, Spoon, with Rolf Dammers);

Ирмин Шмидт, соло — Canaxis Filmmusik, vol. 2 (1982, Spoon, soundtracks'69).

(См. редакционное обращение на стр. 88)

Продолжение следует

НАША АФИША

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ, БИБЛИОФИЛОВ И ПОКЛОННИКОВ СЛОВЕСНОСТИ!

Смена названия журнала ни в коей мере не отдаляет нас от книги, как это может кому-либо показаться на первый взгляд. Напротив, слово — чистое, яркое, глубокое, точное слово — остается той нитью Ариадны, с помощью которой редакция намерена выходить не только на новые, еще пахнущие типографской краской издания, но и на книги старые, забытые, по тем или иным причинам неизвестные нынешним поколениям советских людей.

«СЛОВО» — ваш верный штурман в увлекательном путешествии по стране, имя которой Книга! Не приводить одни лишь сухие цифры, не утомлять унылыми перечнями, а давать по возможности отрывки из книг настоящих и будущих, своеобразные лакомые кусочки, отведав которых, читатель определит вкус всего «пирога» — литературного, философского, исторического; как можно богаче представить нашу духовную жизнь — вот задача журнала «Слово»!

Именно ею мы и руководствовались при составлении ближайших и перспективных планов.

Итак, **«СЛОВО» — ЧИТАТЕЛЯМ!**

В номерах 7—9 мы продолжим публикации:

— отрывков из произведения Л. Фейхтвангера «Москва 1937»;

— воспоминаний А. Симановича, личного секретаря Григория Распутина;

— писем Павла Буравцева из Афганистана — любимой («Но мы не забудем друг друга»).

НАЧНЕМ ПЕЧАТАТЬ:

— «Дневник Николая II» (1916—1918 гг.), последняя запись в котором сделана за три дня до расстрела (№ 7);

— с № 8 в рубрике «Мифы народов мира» «Жизнь Иисуса» Э. Ренана (предисловие члена-корреспондента АН СССР С. С. Аверинцева) с цветными иллюстрациями шедевров мирового искусства, изображающими жизнь Христа.

ПОЗНАКОМИМ:

— с отрывком из повести народного артиста СССР Георгия Жженова «От «Глухаря» до «Жар-птицы»;

— с несколькими эссе Германа Гессе (впервые на русском языке).

Малоизвестной работой Велимира Хлебникова «В мире цифр» мы открываем рубрику «Таинства магии» (№ 7).

Во 2-й половине текущего года и в 1990 году **ЧИТАЙТЕ:**

— в рубрике «Историческая повесть» — Г. Данилевского, В. Немировича, Д. Мордовцева, В. Пикуля...

— в рубрике «Кудесники слова» и «Листая старые журналы» — Аввакума, Е. Замятина, М. Пришвина А. Ремизова, И. Шмелева...

— в рубрике «Русская мысль» — К. Леонтьева, В. Соловьева, Н. Бердяева, В. Розанова, С. Булгакова, Н. Федорова, П. Флоренского, В. Вернадского...

— в рубрике «Классики зарубежной литературы» — Р. Киплинга, К. Гамсуна, Дж. Джойса...

— в рубрике «По страницам эмигрантских журналов» — Б. Зайцева, Ив. Бунина («Окаянные годы»), В. Набокова, Г. Андреева, М. Алданова, В. Яновского...

— в рубрике «Литературное наследие» — Л. Мартынова, В. Чивилихина, В. Федорова, И. Акулова, С. Маркова...

ИЗ РЕДКИХ ПУБЛИКАЦИЙ:

— воспоминания Айседоры Дункан «Моя исповедь»;

— размышления Надежды Мандельштам;

— дневники Бориса Шергина;

— повесть Николая Гумилева «Веселые братья»...

А ТАКЖЕ:

на страницах журнала выступят писатели-современники: В. Астафьев, Л. Бежин, В. Белов, Ю. Бондарев, В. Бондаренко, И. Васильев, М. Воздвиженский, М. Вострышев, П. Горелов, Г. Торышин, Н. Доризо, Б. Екимов, Д. Жуков, С. Золотцев, В. Крупин, Ю. Кузнецов, В. Лихоносов, Ю. Максимов, О. Михайлов, Г. Немченко, П. Паламарчук, М. Петров, С. Плеханов, Ю. Прокушев, В. Распутин, М. Синельников, Н. Старшинов, А. Ткаченко...

СЛОВО ВОЗЬМУТ:

председатели Госкомиздатов: Белоруссии — М. Дедец, Казахстана — К. Закирьянов, Литвы — Ю. Неирошюс...

директора издательств: А. Авеличев («Прогресс»), В. Адамов («Книга»), Г. Анджапаридзе («Художественная литература»), Д. Евдокимов («Московский рабочий»), А. Курилко («Книжная палата»), В. Набирухин (Лениздат), Л. Фролов («Современник»)...

Таковы наши планы.

А кого и что вы хотели бы прочесть помимо указанных авторов и произведений? Просим отметить, что вас особенно заинтересовало в Афише и, не откладывая, прислать предложения, замечания, заявки с тем, чтобы редакция смогла уточнить и скорректировать свои планы. Подписаться на журнал «Слово» вы можете с любого номера и в любом отделении связи. Очень сожалеем, но в розничной продаже нашего журнала нет. В каталоге «Союзпечати» ищите журнал «В мире книг» (индекс 70110).

ВНИМАНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ, БИБЛИОФИЛОВ И ПОКЛОННИКОВ СЛОВЕСНОСТИ!

ЧИТАТЕЛЯМ «РОК-ЭНЦИКЛОПЕДИИ»

Как вы, наверное, помните, в № 6 за прошлый год, начиная публикацию «Рок-энциклопедии», редакция предупреждала, что она «идет на эксперимент» — предлагает вниманию подписчиков и издателей возможный вариант концепции книги-справочника «Кто есть кто в зарубежной рок-музыке». Сегодня с полным основанием можно сказать: эксперимент в значительной степени благодаря вашей энергичной поддержке удался! Издательство «Книжная палата» (127018, Москва, Октябрьская ул., д. 4), с которым нас связывают прямые деловые контакты, заключило с авторами-составителями энциклопедии П. Бондаровским и А. Налоевым договор о подготовке и выпуске ориентировочно в 1991 году их внушительного (порядка 70 авт. листов) труда отдельным, богато иллюстрированным изданием. Целесообразность и своевременность выпуска «Рок-энциклопедии» подтверждают многочисленные телефонные звонки и письма, поступающие в нашу редакцию.

В понятие «эксперимент», как известно, врожденно заложена возможность в любой момент оборвать начинание — и в случае его неудачи и в случае его благополучного развития, как это, например, произошло с нашей «Рок-энциклопедией». Узнав о решении издательства «Книжная палата» выпустить затеянную нами энциклопедию отдельной книгой, мы поначалу хотели полностью отказаться от дальнейшей ее публикации. Однако учитывая обязательства перед подписчиками — любителями рок-музыки и понимая, что будущая книга может не достаться всем желающим, мы все же продолжаем печатать энциклопедию, остановившись на ее сокращенном варианте, который, конечно же, не будет (и не должен) в полном объеме дублировать запланированную к выпуску в «Книжной палате» энциклопедию и который займет в последующих номерах нашего журнала более скромное место по сравнению с прежними публикациями.

В НОМЕРЕ:

Главный редактор **А. В. Ларионов**

Редакционная коллегия: **Д. С. Бисти, В. И. Десятерик, Е. П. Егорунина, В. Н. Звягин, Н. П. Карцов, И. П. Коровкин, А. В. Кочетов** (зам. главного редактора), **В. Ф. Кравченко, В. С. Молдаван, А. И. Пузиков, С. В. Сартаков, Н. В. Тропкин, В. С. Хелемендик, Ю. П. Черпелевский**

Художественно-технический редактор **Е. М. Верба**
Технический редактор **Н. Н. Козлова**

Сдано в набор 28.03.89. Подписано в печать 03.05.89. А03289. Формат 84×108/16. Бумага Знаменская 100 гр. Печать глубокая и офсетная. Усл. печ. л. 8,40+0,84+0,42. Усл. кр.-отт. 21,42. Уч.-изд. л. 12,15+0,67. Тираж 153 445 экз. Заказ 187. Цена 90 коп.

Адрес редакции: 129272, Москва, Сущевский вал, 64
Телефон для справок: 281-50-98

Ордена Трудового Красного Знамени Калининский полиграфкомбинат Госкомиздата СССР. 170024, г. Калинин, проспект Ленина, 5.



Дмитрий Арсенин.
У обелиска Минину и Пожарскому.
Из цикла «А. С. Пушкин в Нижнем Новгороде».



Дмитрий Арсенин.
Посвящается Н. Н. Гончаровой.
А. С. Пушкин с женой.